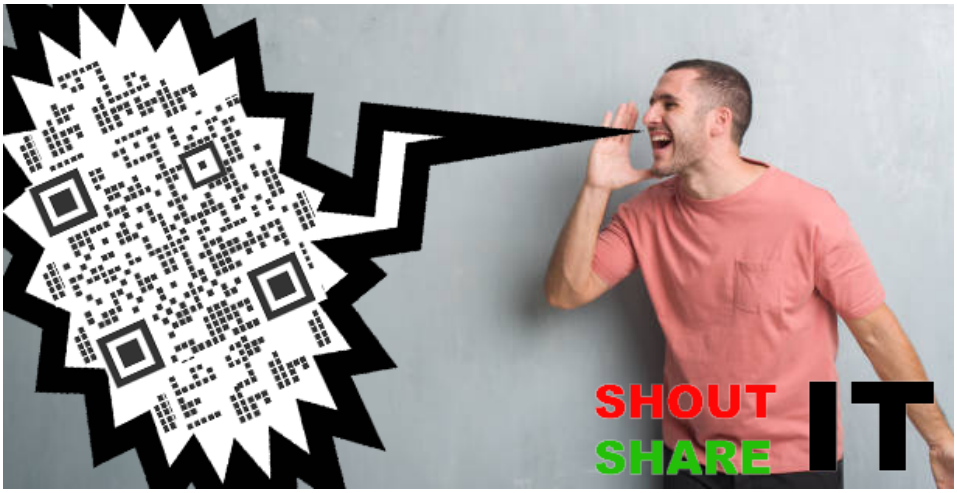
Виктор КОНЕЦКИЙ

НЕКОТОРЫМ ОБРАЗОМ ДРАМА

Виктор КОНЕЦКИЙ

НЕКОТОРЫМ ОБРАЗОМ ДРАМА

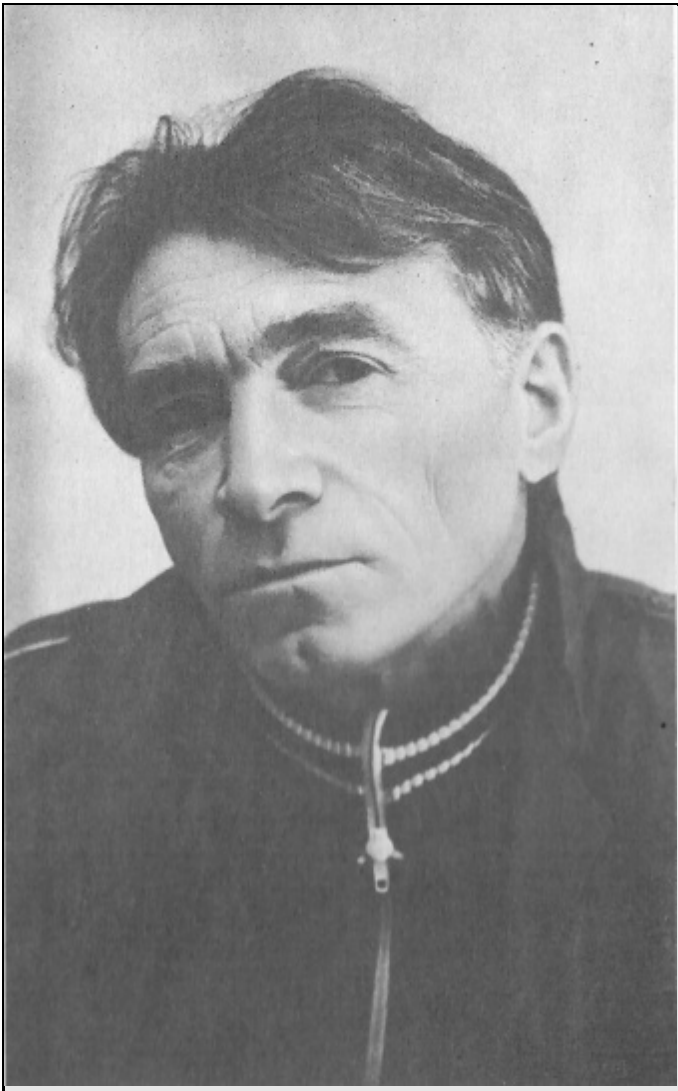
непутевые заметки, письма


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Новая, можно сказать «сухопутная», книга Виктора Конецкого состоит из трех частей. В пьесе для чтения, которая дала название всей книге, две иностранки являются в СССР для розыска могил предков, а находят многих живых родственников, которые до этого не знали друг о друге… Герои двух первых частей «непутевых заметок» — известные писатели Ю. Казаков и В. Некрасов. © Издательство «Советский писатель», 1989 г.

- ○
  - ○ Часть первая
    - ■ Начало
    - ■ Литературная обстановка конца 50-х
    - ■ Повесть о радисте Камушкине
    - ■ Критика на критическое послесловие Игоря Золотусского
    - ■ Нырок в очень далекие времена
    - ■ Из дневника боксера
  - ○ Часть вторая
    - ■ Париж без праздника
    - ■ Печальная контаминация
    - ■ Заметки любезного гражданина мира с американским паспортом
    - ■ Совсем разные письма
    - ■
    - ■ О вреде кавычек
    - ■ Смерть в чужой квартире
    - ■ И «Окопы» будут напечатаны, и даже это:
  - ○ Часть третья
    - ■ Некоторым образом драма
      - ■
      - ■ Глава первая
      - ■ Глава вторая
  - ○ Содержание
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2



Виктор Конецкий
Некоторым образом драма
Непутевые заметки, письма

Виктор КОНЕЦКИЙ

НЕКОТОРЫМ ОБРАЗОМ ДРАМА

непутевые заметки, письма

Советский
писатель
Ленинградское
отделение
1989

Ты можешь представить себе время, когда у тебя решительно все идет в печать? Я не могу. Да и скучно

это, верно…

Юрий Казаков, 1957 г.

Третье апреля 1988 года. Весна, вербное воскресенье, форточка открыта. Полдень — ударила пушка с Петропавловки.

По «Маяку» «Последние известия» — объявляют о переводе из спецхрана в открытые фонды книг Бухарина, Рыкова, Шмелева, нынешних эмигрантов. Их список начинается с Васи Аксенова и Галича. По алфавиту дуют. Здесь я с Советской властью не согласен. Надо бы все-таки Аксенова ближе к концу ставить.

А вообще-то, опередила меня Советская власть. Как будто стул из-под меня выдернули. Я-то весь последний год, что писал эту книгу, к боям готовился, к поездкам в Москву, к риску головой…

И вот вам!

Ведь честью клянусь: сей миг вычитывал рукопись, писания Аксенова против меня. Завтра сдавать надо в издательство. Везет на совпадения. Даже, как дальше увидите, иногда страшно становится.

Есть у меня дурацкая привычка: работать при шумовом фоне — вечно радио включено или ТВ. Это я на кораблях от тишины отвык, тишина на нервы действует — в морях или главный двигатель молотит, или какая-нибудь динамка, или голоса за переборкой. Вот и не могу в тиши. Вот и услышал на свою голову «Последние известия».

Но менять в рукописи не буду ни единого слова — сей миг она уже в документ превратилась — в устаревший документ. И это, конечно, замечательно!

Часть первая

Начало

Мы стояли в оцеплении с винтовками, когда вешали немецких генералов на площади угол проспектов Огородникова и Газа. Так выпускали пар из блокадников-ленинградцев. Вешали с трехтонки. Один сорвался. Держались немцы мужественно. В толпе кое-кого рвало.

Потом мы стояли в почетном карауле, когда открывали памятник Сталину в скверике у Балтийского вокзала. Было нам по 16–18 лет.

Я сочинял стихи:

Под грохот оркестра и шелест знамен
На плечи взвалили мы тяжесть погон,
Не думая, души народу отдали
И строчки присяги, спеша, прочитали.
На самом тяжелом и страшном посту
Я верность присяге и долгу храню.
Пусть тяжко, пусть тошно,
Пусть хочется жить,
Клянусь, проклиная, я честно служить…

Выписка в дневнике из газеты «Правда» за 2 сентября 1950 года:

«В Англии увеличен срок военной службы».

Фрол Романович Козлов: «Наиболее рьяными защитниками марровских антинаучных положений оказались ленинградские академики Мещанинов, Иосиф Орбели, Струве. Академик Орбели извратил павловское учение… Все его научные сотрудники обслуживают „школки“ академика…»

И разгромная заметка об Институте экспериментальной медицины, который вместо серьезных вопросов изучает «Половые различия в восприимчивости к действию вредных факторов у низших животных». (Вероятно, они должны были изучать половые различия у поклонников Марра?)

Почему я это выписывал? Неужели что-то понимал?

Потом видел, как Ф. Р. Козлов топал ногами на Федора Абрамова за «Вокруг да около».

А еще через десять лет Федор Александрович топал ногами на меня, когда спросил: «А знаешь, за что на меня туфлями в Смольном Фрол Романович топал?» Я ответил: «Знаю, Федя, за то, что ты только все вокруг да около, а ему надобно было в лоб!»

Абрамов, архангельски окая, приговаривал: «И откудо у тебя, Виктор, такой чорный юмор?!» А я ему объяснял, что все архангельские мужики — это одесситы, но только в валенках…

Как мне его сейчас не хватает, как рано ушел, как рана заживать не хочет! Из моего окна его окно видно было, и горело оно рабочим огнем все ночи напролет, и было мне маяком в зимней тьме Петроградской стороны.

*

Если сквозь слезы, бия себя в грудь, признаешься товарищу, что, когда он был в море, ты согрешил с его женой, то что это — откровенность или искренность? А если еще распахнешься шире, расскажешь товарищу, что после прегрешения от омерзения к себе решил повеситься, и не только решил, но и на полном серьезе повесился, но веревка оборвалась, а на повтор духа уже не хватило,— то что это? Искренность или откровенность? Исповедь или самореклама?

Как нужен наставник.

Величайшие русские гении, вполне способные в полную одиночку принять решение, все-таки посылали друг другу свои рукописи (даже находясь в сложных, антипатичных отношениях, — читатель, художественная истина дороже самолюбий!) и переделывали по совету коллеги концы романов, прописывали целые сквозные линии, уточняли характеры, обсуждали каждое слово. У нас такого я давным-давно не наблюдаю — со времен литобъединения.

Таю в себе мерзкое.

А если когда-нибудь расскажу и про такое — тогда только и стану не литератором, а писателем.

У хоккейных судей есть на поле пятачок-сегмент, куда они заскакивают, когда вокруг уже полная катавасия и безобразие. Если в это убежище заступит игрок, его удаляют с поля на десять минут.

У писателя такого пятачка быть не должно, и рассчитывать на него — значит проиграть матч.

———

Оставшиеся за кормой полвека сознательной жизни иногда давят смертельно. Но я хочу быть диалектиком и оптимистом. Нытики и ренегаты еще ничем не украсили вселенную. Жизнь —

интереснейшее кино. Вот ученые увидели в упорстве, с которым суповые черепахи плывут из Южной Америки на остров Асеньон, решающее доказательство дрейфа материков. Черепашьему роду 90 000 000 лет. Материки расходились очень медленно, по-черепашьи, но остров Асеньон, который был рядом с Южной Америкой, удалился уже на две тысячи километров. Когда-то черепахи добирались до него в один нырок, теперь плывут год, но считают такое дело обычным и нормальным, ибо и не заметили увеличения расстояния по причине затянутости процесса. Что-то для меня есть в таком факте жизнеутверждающее.

*

Читаю «Особый район Китая». Автор — отец тяжелоатлета и честного литератора Юрия Власова — П. П. Владимиров, был советником у Мао Цзедуна, репрессирован. Книгу украл с т/х «Эстония» в антарктическом рейсе еще в 1979 году.

Вот сам автор: «Вздор! Чепуха! Никакой восточной мудрости и хитрости нет. Это бульварщина и выдумки! Если и есть здесь особая, так называемая восточная дипломатия, то она в циничности средств».

В минуты депрессии Мао просил нашего врача Орлова делать ему инъекции пантокрина.

Хохочу, когда натыкаюсь на афоризм Мао: «Черчилль такой же демократ, как я капитан китобойного флота».

Смешно, конечно, представить великого кормчего в антарктических водах на мостике китобойца в ураганный ветер. Это не в Янцзы плавать по-собачьи.

Полезно прочитать книгу о политике и политиках-профессионалах, потому что любое судно набито дилетантской политикой до самого клотика. И литература — тоже.

Открываю «Особый район Китая» на том месте, где откроется. И натыкаюсь на: «Все мы должны держаться вместе, иначе, несомненно, будем висеть порознь…» Так сказал разбитый параличом Франклин Рузвельт во время войны. Оказывается, остряк был!

П. П. Владимиров: «Яньаньские интриги вызывают отвращение к политике. Но политика — это реальность. Жизнь вне ее — утопия. И лучше жестокая реальность, чем хоть толика утопии…» «Вредная профессия — разведчик: цирроз печени обеспечен». (Автор для пользы дела умел подпаивать собеседников.)

А в «Последних известиях» по радио сообщают, что самолет

новозеландской компании «Эйр Нью Зеланд» врезался в склон антарктического вулкана Эребус. Погибли все 257 человек, находившиеся на борту. Компания заявила, что причиной катастрофы является ошибка пилота Джима Коллинза и штурмана Грегори Кэссина.

Вообще-то, когда гибнут все, то истинные причины очень длительное время остаются в полной темноте, а чаще всего — навечно.

Полет был задуман как увеселительная прогулка с шампанским на борту.

С жиру бесятся.

Такого стихия не любит.

Звоню полярному пилоту, который когда-то в моей каюте взорвал пузырь от воблы под носом спящего австралийского зимовщика, а потом замечательно пел под гитару. Он объясняет, что в подобных увеселительных полетах с туристами пилоты вынуждены снижаться до 500–600 метров, чтобы дать возможность пассажирам насладиться сатанинским пейзажем на всю катушку. Но в полете на таких высотах в Антарктиде бывает так называемый эффект «полярного рассеяния», при котором смывается граница между льдами, заледенелыми горами и небом. И вершина Эребуса высотой 3795 метров могла показаться обычным снежным торосом на равнине…

— Какого черта всегда погибший командир виноват?! — вдруг взрывается пилот.— Если кто-то на земле напутал при введении программы полета в навигационную ЭВМ, то этот Коллинз — будь он хоть тот самый знаменитый Коллинз — уже ничего сделать не мог! Нет-нет! Вы мне скажите, почему всегда виноват пилот, который оправдаться с того света не может?!

Я говорю, что капитан, погибший вместе с судном, всенепременно тоже оказывается единственным виновником. Для комиссии по расследованию такой козел самый неободливый и потому самый удобный.

Пилот успокаивается, потому что на миру и смерть красна. В том смысле, что когда человек знает, что несправедливость распространяется не на него одного, то это приятно.

Вернемся к словам Рузвельта «…будем висеть порознь».

О военных заслугах Сталина, которые ранее для меня были вне сомнений.

Если Гитлер таил подленькую надежду удрать от смерти в какую-нибудь Аргентину с приклеенной бородой а-ля рюс, то Сталина в случае неудачной войны ждала пуля верных соратников на все сто процентов. Это только победителей не судят и не вешают. Сталин арестовал жену плененного сына: этим

пытался от будущей возможной расправы подстраховаться. Естественно, в его положении будешь ночей не спать, стратегии и оперативному искусству учиться, ну а трудолюбия и талантов ему не занимать было. Правда, хоть один раз сунуть нос под огонь — как сделал бы любой царь любого народа — ему талантов не хватило, в отличие даже от Гитлера.

*

А это уже из эмигрантской книги Виктора Некрасова:

«Н-да… я-то хорошо помню, когда „это“ началось. Очень хорошо. В 1946 году еще. Когда Сталин руками и устами спившегося алкаша Жданова нанес первый после войны удар по литературе. Зощенко был назван тогда пошляком и подонком литературы, Ахматова блудницей и монахиней, у которой блуд смешан с молитвой, и оба они, и он, и она, не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе… С этого все и началось… Постановление ЦК от 14 августа 1946 года, доклад Жданова на эту же тему и покаянная статья редакции „Знамени“ напечатаны были в том самом, десятом, номере журнала, где и мои „Окопы“, называвшиеся тогда „Сталинградом“, вторая их часть… Вот так, не успел я вылупиться, как сразу же окунули в дерьмо… Ну и что? Возмущался, кипел, протестовал? Да, и возмущался, и кипел — за поллитрой, с друзьями,— но будучи секретарем парторганизации издательства „Радяньске мистецтво“ провел все же по указанию райкома собрание на эту тему. Длилось оно, правда, полторы минуты (Володя Мельник хронометрировал!), в детали не вдавался, сказал только: „Все вы, товарищи, знакомы с последним постановлением ЦК ВКП(б) и, конечно же, как настоящие коммунисты, примете его к сведению и исполнению“, на этом собрание закруглил, все разошлись, но собрание все же провел. И соответствующую реляцию отправил в райком».

15.03.50 г. Ленинград.

Индейцы прятались в вигвам,
И у слонов тряслись поджилки,
Когда Земля, треща по швам,
Рождала в муках Прижкофилки.

Под ветра свист и плески луж

Юпитер взял его с подстилки,
Взглянул и имя рек: Ваюж!
— Ваюж! — воскликнул Прижкофилки.

С корнями вырвав старый клен
И растерев его в опилки,
Пошел, беспечен и силен,
Бродить по свету Прижкофилки.

Шли годы, отрок возмужал,
Поднакопил умишки, силки,
И славу громкую стяжал
Четырехглавый Прижкофилки.

Раз брел он полем через рожь
И встал в раздумье на развилке.
«Пойдешь направо — пропадешь!» —
Прочел на камне Прижкофилки.

«Поедешь прямо — сгинешь тож:
Сиречь убьют тебя громилки».
Волнует ветер в поле рожь.
Стоит шарагой Прижкофилки.

«Налево ж,— надпись говорит, —
В пивной готовят бак горилки
И от зари и до зари
Ждут осьминога Прижкофилки».

Возликовал тогда Ваюж
И побежал что было силки…

«Ваюж» — первые буквы имен: Виктор, Алексей, Юлий, Жорес.

«Прижкофилки» — первые слоги от фамилий: Прижимайлова, моей, Филиппова и Кирносова. Мы организовали этакую подпольную «Зеленую лампу».

Автор стихов — Алексей Кирносов.

Войну он провел в США, где его отец служил в военно-морской миссии. Кирносов знал английский, играл на рояле, очень легко писал отличные стихи и отчаянно хулиганил. Забраться в Мариинский театр по фонарному столбу — это невинная шутка, этакая проказа обаятельного шалопая. В

результате из училища его вышибли первым.

Примыкал к нашему кружку и Илья Эренбург. Илья был на курс младше, но тоже писал стихи. По слухам (сам он эти слухи не особенно опровергал), Илья был племянником настоящего Ильи Эренбурга, который нам очень нравился — «Падение Парижа»? Какая-то француженка Мадлен или Жужу?..

Илья выступил с такой декларацией:

Я хочу, чтоб цемент слов был точен,
Чтобы был отточен рифмы штык,
Чтоб, как речь вождя, был прям и точен
В душу проникающий язык.
Но удача не придет случайно,
Труден путь, победа нелегка…
Я решил найти разгадку тайны
В строгой технологии стиха.

Под вождем, конечно, подразумевался Сталин.

Илье ответил Жорес Прижимайлов:

Милый мой, запомни, что без чувства
Виршами становятся стихи,
Что основа каждого искусства —
«Сердца песнь и веянье стихий».
И не влезть тебе парнасской кручей,
Как ты льдины в строчки ни пихай,
Так что лучше ты себя не мучай
Строгой технологией стиха.

Илья совету друга внял, вскоре перестал мучить себя строгой стихотворной технологией и очутился в интендантском училище. На службе показал себя отличным офицером, командовал тылом одного из флотов, а недавно звонил мне, но почему-то мы не встретились.

У его критика судьба сложилась драматичнее. В одну из ночей перед окончанием второго курса из наших рядов исчезло несколько десятков человек. Это были ребята, родственники которых в разные прошлые годы были репрессированы или побывали в оккупации. Всех замели тайком, ночью, и отвезли в Первый флотский экипаж, где спороли курсантские погоны и отправили в разные захолустные дыры рядовыми. Жорес угодил в роту аэродромного обслуживания в Котлах. Его отец сел еще в 37 году, но семья упрямо надеялась на то, что тот жив и рано или

поздно вернется.

Помню, по просьбе Жореса я обратился к своему отцу, который тогда был помощником прокурора Октябрьской железной дороги. Отец очень не любил встревать в подобные дела, а мне было тяжело его просить, но все же я решился. Через неделю он велел передать дружку, чтобы они своего отца не ждали.

Вот письмо от Жореса, которое я получил *26.06.50* года в Кронштадте, где проходил штурманскую практику на минном заградителе «Урал»:

«Здравствуй, уважаемый! Минут 10 обдумывал, как тебя назвать. Виктором — слишком официально и крестьянством отдает. Витей — нежно, Витькой — неуважительно, Викой — неудобно. Обозвал уважаемым. Надеюсь, не обидишься. В училище я тебя просто „Вить“ звал, по-моему, но это тоже не для письма.

Теперь деловая часть.

Ни в коем случае я на тебя не дуюсь. Я не хотел писать тебе, опасаясь вредных для тебя последствий. Ведь ты, кажется, единственный оставшийся „в живых“ „член“ „Зеленой лампы“. И, кроме того, я сейчас, вообще, „дурное общество“. Илья не мог и не может попасть ни под какое подозрение: характер нашей дружбы с ним известен всем, а что я ТЕБЕ могу написать — командованию неведомо.

Юлька мне ничего не писал и, почему-то мне кажется, не напишет. Я о нем знаю, что положили его в какой-то институт с хитрым медицинским названием, похожим на гинекологический (кажется, стоматологический, не ручаюсь).

В Ленинграде я был, разговаривал с „товарищами по несчастью“. Знаю, что такое же явление наблюдается в параллельном нашему училище (виноват, вашему). Здешние сухопутные политики не знают, что со мной делать, куда воткнуть, какие идеи мне протолкнуть. На всякий случай сунули меня на политзанятия в группу первогодков, и я сейчас обалдеваю над уставами и их политическим смыслом, а также напряженно прорабатываю свержение царизма и Октябрьскую революцию в объеме 7-го класса. Русский язык понемногу забываю. Если в училище мат придавал нашей речи красочность и выразительность, то здесь в мутных облаках похабщины лишь изредка проблескивает нормальное русское слово. И кажется оно то жемчужным зерном, то белой вороной. Никогда не думал, что это так страшно. А командиры говорят: „Самы своимы глазамы…“, „Какие будуть неясные вопросы?“ И требуют „ножку“ перед остановкой строя, даже если остановка перед столовой. Ей-

богу, скоро буду выпячивать грудь по команде „равняйсь“ и записываться в очередь на „Еще десять лет спустя“ или „Как усовершенствовать свои духовные качества“. Ух, гадость!

Замполит говорит: „Один захочет в институте заниматься, другой захочет заниматься… Потом на экзамены я всю часть должен буду отпускать? А служить кто будет?“ В общем, похоже, что для меня институт накроется. Из Управления военно-морских учебных заведений сообщили, что оснований для обжалования приказа о моем отчислении нет.

Привет Лешке Кирносову».

Мне кажется, в юности Кирносов поэтически одарен был исключительно. Кроме меня из 1-го Балтийского училища угодил на профессиональную работу в литературу только он. Он бы хорошо мог написать о Подготии и что-то писал о ней, но помер по пьяной лавочке до всяких сроков. Я провожал его в ленинградском крематории и должен сказать, что более страшного покойника не видел даже среди погибших после судовых пожаров.

*

Вернемся еще разок к началу 50-х. Тогда мы все уже мечтали демобилизоваться. Удалось это одному Юльке Филиппову:

Привет тебе, морской бродяга!
Привет собратиям морским!
Даю из госпиталя тягу
Живой, здоров и невредим.
Моя карьера подкачала…
Дерзаю начинать сначала
Учебу, жизнь и любовь…
Короче: без красивых слов,
Без славы, чина и наград
Я — гражданин! И знаешь, рад!
Три лычки да дыра в кармане
И сотни, тысячи дорог!
Иди, куда тебя потянет,
Покуда не протянешь ног.
Куда? Ей-богу, я не знаю:
Не литератор, не юрист,
Пока что только оптимист.
И на распутье выбираю,
Припомнив всех, с кем был когда-то:

«Ханыгу», «Юрку-мудреца»…
Всех-всех: хорошие ребята!
Я лапы жму вам без конца…
. . . . . .
Что быть могло и то, что было,
Уже в предание уплыло,
Но, полосатые друзья,
Всех вас забыть не в силах я…
. . . . . .
Мы побеседуем и с прозой…
. . . . . .
И я доволен зверски, очень!
На счастье руку жмите мне,
Мы были вместе дни и ночи —
Теперь живем в одной стране.
Мой друг, бродяга, эфиоп!
Крепись, печалиться не надо!
Когда к двоим шагала радость,
То третий — тоже приходил.
Не зря бог троицу любил.
Писал 10 июля
Курсант в отставке Рыжий Юлий.

К «*двоим* шагала радость» потому, что демобилизоваться из Военно-морского училища им. Фрунзе удалось и моему брату.

Юлька поступил на юрфак университета, потом оказался в геологах, участвовал в экспедициях, которые искали алмазы на Северном Урале; очень серьезно пробовал писать прозу, страшно пил и покончил с собой в год выхода в свет моей первой книжки. Все его литературные записи, включая предсмертное письмо ко мне, реквизировал следователь.

Жорес сейчас крупный конструктор, занимается железками, о службе в сухопутных частях аэродромного обслуживания вспоминает с юмором.

Мне в похожей сухопутной обстановке довелось просуществовать всего месяц…

Начинающий литератор должен хорошо понимать, что Россия — страна северная, зимняя. Так как в Союз входят многие южные республики и так как многие граждане каждый год летают в Сочи или Ялту, то ощущение зимности, северности России несколько нивелируется.

И еще начинающий должен все время помнить о САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Какое отвратное слово придумали для народного творчества!

Какое самонадеянное, неуклюжее, бездуховное, бесполое слово.

А было какое удивительное по простоте — любительство.

Так вот, оставить самодеятельность следует только для писателей. Воистину мы должны заниматься САМОдеятельностью. Увы, мы все больше по приказу Главкомов.

Интересный парадокс. Кажется на первый взгляд, что художник-любитель, полный дилетант, который и в Эрмитаже-то никогда не был, прямо-таки автоматически может стать примитивистом. Должен даже им стать всенепременно: рука не поставлена, рисовать не может правильно, анатомии и перспективы не нюхал, о композиции и колорите не слышал — гони примитив неандертальский безо всякого напряжения! И попадешь в самую сокровенную истину!

Ан, оказывается, нужно гением Пиросмани обладать — один примитивист на миллионы любителей пачкать холст или бумагу.

Стремиться к одной только внешней схожести с натурой заставляет художника-любителя заштампованность его духа.

И я, который все это умом понимает, тоже инстинктивно стремлюсь к максимальной схожести, как только сяду за натюрморт.

———

В психологии футболистов интригует:

1. Почему они никогда не отходят сами на девять метров, когда бьется двадцатиметровый? Почему они всегда вынуждают судью пихать их в живот? Почему футболистам абсолютно всех наций нравится, чтобы их, как овец, загоняли на положенное расстояние силком? Я бы собственной волей становился точно на девять метров.

2. Почему раньше игрок, промазав по воротам с одного метра, хватал себя в отчаянии за ногу, допустившую такой ляпсус, а теперь они хватают себя за головы — почему?

3. Почему футболисты (опять-таки всех наций) устраивают над коллегой, забившим решающий гол, кучу малу и заживо душат его? Из школьных воспоминаний мне известно, что десяток дружков, сгрудившихся надо мной, превращались на определенное время в омерзительных врагов.

*

И свои и чужие книги помню лучше натуральной жизни, хотя некоторые не перечитывал несколько десятков лет. Но лучше всего помнишь ненаписанные рассказы. Те, которые были полностью продуманы, переволнованы и не записаны.

Рассказ «Над Онегой»: хирург-еврей, страдающий алкоголизмом, талантливейший врач, бывший командир санбата, делает операцию аппендицита в рыболовецком колхозе. На речке, впадающей в Онегу, ледовый затор, сообщения с цивилизацией нет — условий нет. Но он решается оперировать, потому что случай острый. Выпивает стакан спирта, чтобы руки с похмелья не дрожали. Больная умирает,— он не нашел аппендикса! Местные мужики видели, что перед работой он пил спирт, дикие мужики, из староверов. Он спрятался от них в разрушенной часовенке. А над озером — взрывы,— самолеты бомбят ледовый затор… Здесь основа — правда. (Потом, на вскрытии, выяснилось, что аппендикс прирос куда-то абсолютно «не туда»; хирурга оправдали. Умер он в Бехтеревке. Там — в Бехтеревке — я и записал его историю.)

Литературная обстановка конца 50-х

11.01.58. Ю. Казаков — мне.

«Была у меня С. и сказала, что ты повез в Питер письмо начальника насчет Африки — поздравляю! Потаракань там негритянок за себя и за меня, покажи им русскую удаль. Новый термин: тьму-тараканить.

Очень жалко, не пришлось нам поговорить, хотелось мне тебя одного видеть, да все не приходилось, все не удавалось.

А где вы пропадали? Я звонил в воскресенье и понедельник по всем телефонам, и никого не было.

Но это все, т. е. что я тебе пишу,— предисловие, присказка. Главная суть моего письма вот в чем. Узнай у Довлатовой, как, можно ли надеяться на опубликование хоть одного рассказа моего в „Мол. Ленинграде“. Дело в том, что Панферов отказал мне, так что на Москву теперь надежд никаких нет. Но ты, естественно, не говори ей, что Панферов отказал, а просто спроси, будут ли печатать. И все. Деньги ужасно мне требуются. Совсем ни хрена нет. Вчера пили в ресторане с девками, так не хватило рассчитаться, пришлось одной из них расстаться с золотыми часами — отдали в залог. Такие дела, позор и стыд для поэта и лучьшего прозаика!

Ну, будь здоров, не кашляй! Не хандри, работай, ибо в труде обретешь ты счастие — это сказал какой-то мудрец.

А знал бы ты, какие сейчас у меня чювства к одной девочке! Ах!..»

«*2 февруар 58 яр.*

Здорово, кэп! Дюйм воды тебе под киль и на палубу!

Меня потрясло ваше послание, леди и джентельмены. Особенно та его часть, которая написана кровавым шрифтом (кровью сердца).

Но, кэп, не презирай меня! Ибо если ты Великий Писатель Земли Русской, то кто же тогда я? Выше этой у нас нет должности в литературе, однако я — выше тебя, кэп! И сейчас я тебе это докажу.

Детгиз хочет иметь с меня книгу о Чехословакии. Чехословакия хочет пригласить меня в гости пить пиво и глазеть (увы, наверно, только глазеть!) на разных

чешских гёрлс. Ну, что ж? Я поеду… (тяжелый вздох. Пауза).

Итак, я еду в Чехословакию!

Ага, кэп!

Дела мои прекрасны, настроение тоже. За исключением того, что недавно ночью после особенно обильной пьянки, со мной случился психиатрический припадок с пеной на губах (на устах!), со слезами и стенаниями и немыслимой сердечной тоской и болью. Всю ночь я ревел как белуга, заснул часов в девять утра, а проснувшись, испугался и решил пить бросить. И не пью. Уже неделю.

Ну ладно, кэп, я закругляюсь. Как тебе работается? И чего сейчас пишешь? Да, я в программе вычитал, что по радио будет передаваться твой рассказ „Пути-дороги“. Поздравляю! Молодец ты, не пей только, дурак, сопьешься!

Насчет Дубулт-то ответь, не шарахнешь ли в самом деле? Вот было бы славно! Мы бы с тобой работали на соревнование, а после обеда совершали бы длинные прогулки в соснах по берегу моря. Право слово, нажми там на своих. Да! Ведь ты же теперь член СП, чорт побери! Тебе сейчас плюнуть раз — достать путевку в Дубулты. Давай рванем? Пиши мне по этому поводу не откладывая.

Будь здоров. Кланяюсь маме твоей, Олегу, да будет искусство ему пухом! Привет также и Светке, хотя она принадлежит к ненавидимому мной клану редакторов. У, собаки!

Да, недавно в ресторане подсел ко мне Ю. Сотник, сказал, что он писал внутреннюю рецензию на мою книжку в Детгизе, сказал, что вообще все рассказы — люкс, но „Никишкины тайны“ — экстралюкс! И я с печалью вспомнил твою гнусную морду. Эх ты, кэп!..

Слушай, кэп, возьми в море старого бродягу Джима, а? А то мне все снятся львы и звон волн. Возьми меня замполитом и я буду проводить беседы: „Марксизм — это такая биология…“

Будь здоров! Салют! Лево руля! До встречи в таверне Слюнявого Боба, да? Твой старый друг, пират Джим. Джим темный человек и вместо подписи ставит крест: +»

15.03.58. Дубулты.

«Хэлло, кэп!

Читал я сейчас твоего Кока Васю. Растрогал ты меня, подлец! Хороший рассказ, а ты идиот, каких свет не видывал. Я уверен, что ты можешь наштамповать десятка два подобных рассказов запросто. И получится книжка, нечто вроде „Обыкновенной Арктики“ Горбатова. Слушай меня, и ты не пропадешь. Серьезно: „Под водой“ и „Кок“ — лучшие твои рассказы. К сценарию относись прохладно: это не твое амплуа, я начал было читать ваш с Шимом сценарий, да бросил, скукота и мразь. Шиму передай привет, скажи, что я прочел его „Фиалки“, тоже чюствительный рассказ. Он значительно поднялся в моих глазах. А то после рассказа в „Сов. воине“ я прямо махнул на него рукой. Передай ему мое одобрение. А мое одобрение значит много, ибо я человек — презирающий литературу.

Кроме этого, я с испугу накатал еще два рассказа, ты бы, милый, свой сценарий вместе с Шимом и его черненькой редакторшей отда́л, чтобы иметь эти вещи своими. Рассказы моральные, с пьянствами, драками и поцелуями. Ах, ах!

Сейчас колупаю четвертый рассказ — издревный.

Жалко, что не приехал ты, дундук! Путевка-то тебе полагается бесплатная, как участнику семинара. Тут были все ваши ленинградские: Верховская — бас, Федоров, Гордеев, и еще кто-то, кто пишет рассказы о животных, да — Сладков! — вспомнил. Теперь приехал Томин. Дундук ты! Мне тут даже выпить не с кем. А ты начал спиваться и тупеть.

Напиши мне, подлец, в Дубулты, я тут пробуду числа до первого апреля. Делаешь ты что-нибудь? Пиши!

Прощай, кэп! Желаю успехов! Привет маме и брату, который, я слышал, делает бешеные успехи в литературе и скоро вышибет из тебя слюнявый дух. А каково-то маме иметь двух сынков литераторов! Ай-яй-яй! Моей маме повезло — я у нее один».

Я — Казакову.

«Доброе утро, Вшивый нос! Сегодня солнце. Голубиные какашки на стекле моего окна просвечивают, как топазы, во! Я не пил ни капли алкоголя уже дней пять и вкупе с солнцем это очень греет и радует меня.

„Росомаху“ кончил. Надоел он мне ужасно, и, несмотря на твои похвалы, кажется мне, что все это —

голубиные какашки.

Партийная комиссия проверяла книги, выпущенные Лен. отд. издательства „Советский писатель“. Про меня сказано буквально следующее: „Серые, схематичные произведения тов. Конецкого лишены глубины, художественного содержания… Они… не нужны нашему советскому читателю… Издательство допустило крупную ошибку, опубликовав книжку…“ и т. д. и т. п.

Очень боюсь, что это заключение сыграет решающую роль в судьбе моей второй книжки в этом издательстве, а договор на нее — единственная надежда и в денежном, и в моральном отношении. Тяжелые времена переживает Одесса!! Но солнце-то светит, а, Юрий Казаков?! Какашки-то оно просвечивает! Вот так.

„Маньку“ и „Стариков“ вспоминаю с наслаждением и твердо верую, что прочту их в печати.

За писулю к Олегу тебе большущее спасибо, а маме спасибо за выручку.

У нас стоит на столе большущий букет красных тюльпанов с белыми опушками по краю лепестков, а у вас — фиг!

Я, вероятно, опять скоро буду в Москве и увижу твою морду в натуральную величину. Я по тебе, старый лысый развратник, уже успел соскучиться!

19 апреля 58 г. В. Конецкий».

27.05.58.

«Здравствуй, Витя! Если ты не уехал еще в Австралию и если не продал уже свою „Росомаху“ — высылай ее мне. Я говорил о тебе в „Огоньке“ и очень заинтересовал их. Я им снесу рассказ, и м. б. что-нибудь выйдет. Был я на Оке у Поленовых, поднимался до Калуги на моторке, впечатлений масса. Два раза посчастливилось быть у Паустовского в Тарусе и потом в Москве еще пару раз, наговорился и с восторгом почувствовал, что он и впрямь меня любит. Страшно хороший старик — это вообще, помимо нашей любви.

Томлюсь в Москве, в жаре, охота писать и начал уж новый рассказ „Старый дом“, который может выйти очень и очень подходящим.

3 рассказа из новых („Старики“ — злоба, по-твоему, „Манька“ и „Оленьи рога“) вошли в сборник. Всего там будет 12 рассказов, если, конечно, не произойдет неприятных для меня изменений. А таковые могут быть.

Спасибо Олегу за большое письмо. Вопросы его пока оставляю без ответа — их слишком много и все они серьезны. Посоветуй ему почитать что-нибудь. Письма Чехова, напр., 6-й т. Пришвина (дневники) и т. п. Пускай помучается, это приносит пользу. Да, пусть хоть прочитает еще раз, если уже читал, „Золотую розу“. Старик подарил мне ее, я тут на досуге посмотрел опять — очень интересно, редкая в наше время вещь.

Я тебе не отвечал, все думал, ты приедешь, грозился ведь, но тебя что-то нет.

Пишешь еще что-нибудь? Не пей, брось, старик, это дело! Маразм, больше ничего. Виделся со Светловым недавно, пьяный — жалко смотреть. И так плохо пишем, а будем пить — совсем никуда. Пить можно начинать с 70, не ранее.

Ну вот, присылай рассказ и пиши.

Что слава? Слава — дым. Заруби это себе на длинном, пьяном, красном носу.

Ну, будь здоров, весел и чист помыслами (и телом). Поклон маме и Олегу. Вы там с Олегом не дергаете друг у друга? Во избежание такого рода вещей рекомендую вам таскать свои рукописи в сапоге — спокойнее будет! Пиши! *Ю. Казаков.* Сходи, старик, в церковь, помолись за меня».

26.06.58.

«Хэлло, кэп!

Очень правильно, что ты на мели. Но ничего: пока существует на свете Казаков, ты не пропадешь. Есть идея.

Рука судьбы забросила меня на днях на телевидение. Там я походил, как стервец, по коридорам, сунулся туда-сюда и оказалось, что там просто жаждут ставить рассказы писателей с римскими носами. Итог: в худ. отделе будут рассматривать возможность постановки „Голубое и зеленое“ и „На полустанке“, а в отделе научно-популярном — чего бы ты думал? — „Никишкиных тайн“! Ах, сопляк, а ты еще не одобрял этого рассказа!

Так вот бери свои рассказы („Росомаху“ тоже) и беги на свое телевидение. Успех почти гарантирован. (Почти — это потому, что у тебя не римский нос, как у меня.)

Молись за меня и накажи детям своим молиться.

Ты уразумел, что ждет от тебя наш славный народ?

Народ ждет, чтобы ты побежал на телевидение (как легкое телевиденье) и поставил там парочку своих вещей.

Вот и все. Будь здоров, кланяйся своим и помалкивай. А то ваши троглодиты (я имею в виду писателей) нахлынут дикой ордой и ты можешь оказаться последним у финиша.

По-моему, „Заиндевелые провода“ должны понравиться.

А „Росомаху“ отдай пока на радио. Может, возьмут, тогда ты будешь иметь двойной бизнес.

P. S. В „Юность“ я не вхож и ничего сказать тебе ни про Петьку, ни про Джека не могу. „Манька“ пойдет, кажется, в „Крестьянке“ в № 8. Обкорнали, собаки, дико».

26.09.58. Архангельск.

«Слушай, арап, ты серьезно собираешься сматываться из Пицунды 8–9 окт.? Это гнусно и глупо! Ты толкуешь о деньгах — деньги тлен, они будут еще у нас в количестве трудно исчислимом, а сейчас надо немного сжаться и **претерпеть,** ибо Христос терпел.

Очень рад, что ты выбрался из мокрого Питера, но не особенно завидую, т. к. сам предвкушаю эту жизнь в скором будущем.

Наконец я притопал в Архангельск и думаю еще на несколько дней смотаться отсюда уже, так сказать, в материковую глушь.

В Пицунду я заявлюсь числа 5-8-10.

Я тут отпустил усы и бороду, т. е. на Б. море, но борода это моветон, это похабщина, и я ее сбрил, а усы оставил, рыжие и крепкие, как проволока! Ох, Старик, никуда не езди, сиди в Пицунде, я привезу удочки и спиннинг, будем ловить ставриду и вести дикий образ жизни.

Кстати, туда едет на днях моя матушка, и ты можешь ее там встретить.

Комнату вы сняли зря, надо было остановиться в пансионате. Хочу еще прихватить туда свое допотопное, купленное за полста ружье, грузины там здорово перепелок бьют по утрам.

Арап, а я похудел: сегодня (первый раз за месяц) глянулся в зеркало, ахнул.

А с какими кулаками я тут познакомился!

Итак: тебе нет никакой нужды ехать 8–9 окт., как ты пишешь.

Во-вторых, не особенно переживай, что рассказ будет не тот, какой тебе хотелось бы, постарайся удержаться в старых рамках **в книжке.**

В-третьих, жди меня и не уезжай, располагайся на весь октябрь — осень будет хорошая, не верь прогнозам, на Б. море им никто не верит.

В-четвертых — то же.

А меня, арап, произвели в атеисты, и мой рассказ „Дом под кручей“ стоит на первом месте в атеистическом листке (мне его переслали сюда, и я полез под стол — господи, спаси и помилуй меня!)

Девице твоей большой привет, вот я ее поцелую (усатый-то!), и тогда тебе, кэп, амба, она полюбит меня.

Горышину привета не надо, он в Л-де говорил, что я пишу плохо и старозаветно. Пущай сам попробует».

28.11.58.

«Старик, я тебя поздравляю, я радуюсь за тебя — искренно. Это я о том, что, приехав, увидал в „Литжизни“ отрывок из твоего рассказа. И, кроме того, встречал твою фамилию уж несколько раз.

Ты молодец, старик, ты — молоток.

Когда начинают печатать отрывки из чего-то, что еще где-то и когда-то будет напечатано,— это значит, что автор вполне советский, народный и современный.

Так что хватит хныкать. Привет с добрыми пожеланиями Олегу.

А ты брось свои кино-сценаристско-капитанские замашки, брось барство, брось звонить мне из Малеевки (знаю, знаю, что ты там, но не завидую) — нужно быть скромным и обходиться посредством старухи-почты.

Я получил письмецо от твоей мамаши.

Сколько ты еще пробудешь в Малеевке, над чем работаешь и не собираешься ли навестить Москву?

Кто там еще с тобой ошивается? Как сценарий из „Росомахи“? Вообще как дела — я хотел бы тебя видеть.

Приперся я тут к одной поэтессе (она потом в меня влюбилась — ах, ах, кэп!), у нее был Светлов и еще кто-то.

Поэтесса эта страшно талантливая баба, молодая, курносая, с глазами-пуговками.

Ну, ну, старик, выше голову, погляди там в

бинокль — не светит ли нам где маяк? Настроение у меня кислое, но это все пустяки, я теперь такой проклятый оптимист, тем более, что меня решительно все любят (кроме редакторов журналов). А ты меня любишь, старик? Ну, так приезжай! Живу я сейчас один, мамаша моя все в Пицунде. *Юра».*

28.11.58.

«Дорогая Любовь Дмитриевна! Спасибо Вам за добрые пожелания, спасибо за заботу во время моего гощения у Вас.

Я очень рад, что познакомился с Вами, Виктором и Олегом — все вы люди глубоко симпатичные — настолько, что я, право, жалею, что вы не москвичи.

Северная поездка моя не удалась в том смысле, что я не получил того заряда оптимизма, на который рассчитывал.

Пицунда же — очень славное местечко. Я там ленился, да, признаться, и не было особенных условий для работы.

Кроме того, мне сейчас трудновато во внутреннем смысле, т. е. я не знаю, не уверен твердо, как и о чем писать.

Приняли меня в Союз, вышла небольшая книжечка в Детгизе — таковы мои „внешние“ успехи.

И если посмотреть, как другие живут и как завидуют мне мои коллеги, то выходит, что мои дела совсем не дурны.

А если бы писалось полегче, то я и сам был бы страшно доволен своей судьбой.

Большой привет Олегу.

Виктор мне почему-то не пишет.

Будьте здоровы и да будет Вам счастье в Ваших ужасных сыновьях-писателях.

Ю. Казаков

P. S. А В. Ф. Панову Друзин таки лягнул в „Литературке“… Все это ужасно противно».

21.08.59.

«Если ты был в Москве, старик, то, верно, уж знаешь, что столица осиротела, я с нее смылся.

Сидим мы сейчас с Коринцом в Псковской обл., в Лядском районе и этак через недельку думаем

подаваться в Питер.

В Питере мы пробудем недолго и двинем дальше — в Петрозаводск, Повенец, Кижи, Сороку (Беломорск) и на Белое море, а там мы восплачем и побежим по волнам и ни черта не утонем.

Денег у нас нету и пить посему мы не пьем, и ты нас в Питере не подбивай на это богомерзкое дело, тем более, только что были мы в Печорском монастыре и благословлялись у разных схимников. Вот, старик. И колокола слушали день и ночь.

Очень рад, что рассказ тебе понравился, и большое спасибо за твое горячее отношение. Это меня немного подогрело на дальнейшее сподвижничество, а то бы я совсем замерз.

Коринец нынче плох и мне с ним скучно. Или сидит дорабатывает свою поэму, или спит. Так что я и не один, да один.

Ну, будь здоров, жди нас в Питере. Целую тебя и жму руку. Привет матушке.

Коринец бы тоже, наверное, привет передал, да спит, подлец».

23.11.59.

«Старый дохлый кэп! Только что вернулся из поездки по Сибири, прочел в „Литжизни“ статью Никулина о Чехове и взяло меня великое зло. Написал я ему, что есть на свете дохлый кэп — обладатель чудного рассказа о Чехове, и просил этот рассказ пробить. Если он не сделает этого — будем его дружно презирать и не верить ему, когда он будет трепаться о борьбе с молодыми.

Впечатления о поездке у меня сумбурные. Скоро, наверно, махну еще куда-нибудь.

В ответ на речь Соболева Панферов печатает мой рассказ в „Октябре“ № 7 — прочитай, если не обленился совсем.

В „Октябре“ говорил со всеми, изливалось на меня масло и мирра, и разные вообще клейкие слюни, и ушел я оттуда липкий и сладкий — хоть мухам садиться.

Милый старикан, как-то ты там? Не падай духом, знай, что мы сами с усами. Хотя что я говорю — ведь ты фильм ставишь…

Будь здоров, кланяйся маме и брату и своей будущей жене.

Увидишь Г. Горышина — извинись перед ним за меня. Написал я о нем в „Литературку“, там тиснули без меня и так дико сократили, что я зарекся впредь работать в этом жанре,— во всяком случае, дело это нельзя передоверять газетчикам, надо быть бдительным, а то конфуз выходит. Ну вот, старик, груз новостей сброшен на твои плечи, теперь мне осталось только сказать, что девочка моя приехала в Петрозаводск и мы с ней уединились на десять дней в Кижах, питались рыбой, молоком и картошкой.

Ну вот. Нагибин бросил пить.

Я тоже.

А старику снились львы».

29.09.59.

«Здорово, Виктор-Манька-Конецкий! (Почти Эрих-Мария-Ремарк.)

Значит, пока Кетлинская объяснялась тебе по телефону, ты стоял голый? Вот погоди, я ей напишу про это.

Но ты не хвались, ибо сегодня мне Паустовский звонил и я у него был.

Паустовский сказал, что меня в Америке печатают и в Венгрии выходит книжка. Еще он сказал, что по поручению Поспелова к нему в Ялту нарочный приезжал и уговаривал написать письмо в газету, признать свои ошибки в статье (спорные и бессп. мысли). Сейчас он едет в Болгарию на месяц, когда поправится (у него жестокий грипп). Ну, что еще? Дописывает пятую книгу своей биографии и берется за „Золотую розу“. Страшно много мыслей по поводу поэзии и проч.

И вот еще что: очень я эти дни думаю о Коринце, о Светке, о многих милых мне людях — как плохо они живут.

И вот я тебя прошу: будешь в Москве — не звони Коринцу, не видайся с ним, ни со Светкой. Это тебе ничего, а им лучше, на литр выпьют меньше (да и ты тоже). Обещай мне это.

Я серьезно решил урезать себя в этом деле. Вчера утром очень голова болела, но я не пошел в буфет, а принимал порошки, а сегодня уже легче.

Ну, будь здоров, жму твою селедочную руку.

Звонила, значит, Кетлинская-то? Это хорошо, это значит, ты дергаешь души. Только хозяйка, т. е. соседка,

в рассказе совсем лишняя, это я твердо установил, перечитав рассказ».

19.02.60. Голицыно.

«Здравствуй, бедный, несчастный Витя! Мне тебя жалко, поэтому начну со сплетен. Коринец чуть не самоубился, разбил себе голову, и ходит теперь в берете. Ну вас к чорту, какие-то вы все ненормальные. Поженян на тебя обиделся, что не был у него. Ругал тебя страшными словами. А потом стал хвалить и захотел меня облобызать, принял, видно, за тебя.

Будь здоров! Только очень мне сейчас паскудно.

Теперь напишу Глебу.

Глеб! Поздравляю тебя с вступлением на хемингуэевский путь. Раньше ты только в литературе примыкал к нему, теперь, слава богу, и жить стал, как он. Для полного моралитета надо бы тебе еще пару раз попасть в авиационную катастрофу, да на машине разбиться раза три — тогда совсем будет хорошо.

А серьезно — очень все грустно. Надеюсь, ты теперь поправляешься и что этот несчастный случай не отразится на твоем таланте. Тебе надо улучшать русскую литературу, помни об этом, поправляйся, тихо садись за стол, пей по утрам горячий чай, ешь манную кашу, никуда не езди и пиши рассказы.

Вы с Конецким самые серьезные сейчас писатели, берегите себя, не дайте осиротеть русской литературе!

Глеб! Говорят, у Генриэтты ноги кривые, потому и ходила она в брюках. Что ты на это скажешь?

А смерть-то что значит! Помню, Светлов отзывался о ней пренебрежительно, а как постучалась, так и пить бросил, и курить, карабкается, жить хочет. Вот оно как, милый. Лечись и брось думать о мрачном».

07.09.60.

«Милейший кэп! Ты меня узнаешь? Или окончательно погряз в блаженстве своего величия?

Увидишь Горышина, скажи, что и он появился на Западе, а именно в чехословацком журнале „Светова литература“ и что прекрасные там к нему иллюстрации. Вообще мне, видно, суждено возглавлять вас, чертей, потому что каждый раз к какому-нибудь моему гениальному творению пристегивают на закуску

несколько ваших вшивых рассказов.

Но, старик, иллюстрации там дивные, и мне даже несколько стыдно стало, когда к таким фиговым вещам, как рассказы Достян и Шима, рисуются такие прекрасные иллюстрации.

„Светова литература“ № 3 за этот год, так и скажи Горышину.

Хотя, очень может быть, он уже знает, получил и насладился.

Вообще, кэп, славно жить на этом свете, хоть и сидишь ты сейчас, как обычно, без денег. Все-таки славно чувствовать в себе какие-то силенки, видеть мир божий, обливаться слезами и сопеть носом от обилия в нем хорошего, настоящего.

Был я в Печорах, городок божественный, женщина со мной была того лучше, забирались мы и в Эстонию, и так там, милый мой, хорошо, что я жалею — почему я не эстонец.

От Москвы я совсем отбился, не живу в ней и дня. Только приехал и вот уже уезжаю на Оку.

Варшавяне попросили у меня твой адрес, я им его выслал, так что ты скоро получишь сборник со своей „Росомахой“, если не получил еще».

23.11.60. Гагра.

«Милый Витенька! Получил я сразу два твоих письма, переслали их мне из Москвы. Я уж думал, ты зазнался, т. к. по моим сведениям ты давно в Питере, а вестей от тебя все не слыхать было. Ты мне отвечай аккуратно, а то я обижусь.

Глеб тебе, чай, все рассказал обо мне, но я все-таки немножко еще исповедуюсь. Был я в Поленове недели две, но потом муторно мне стало от обилия отдыхающих и смылся я в маленькую деревеньку, и там тяпал и тяпал проклятый свой северный очерк и никак не мог его постичь, наконец постиг, и вышло у меня четыре с чем-то листа — местами ничего, а местами так себе. Устал я от всего этого и закаялся впредь связываться с чем бы то ни было, кроме рассказов, милых моих драгоценных и блистательных рассказов.

Жил я там не один, а с бабой, и бабу эту страшно люблю, старик, даже удивляюсь. Приехал сюда, в Гагры, нарочно уехал, чтобы отошло, позабылось, понизилось как-нибудь, но не отошло, а еще хуже, такая, брат ты

мой, тоска, что мать даже ужасается (она со мной здесь). И я ужасаюсь, а перспектив у меня с этой бабой нету никаких в смысле там женитьбы, и попал я в какое-то ремарковское положение, в хемингуэевскую мерлехлюндию.

На Оке жить смешно: все о тебе знают, сразу делаешься заметным, и некуда деться. Бывал я у Паустовского и славно с ним говорил каждый раз. У меня к нему нежность какая-то, даже до соплей, очень я его люблю, теплее как-то мне жить, зная, что и он живет. Помрет старик, литература осиротеет — это я тебе всерьез говорю. Писатель он громадный, а то, что завирается иногда, не беда. Ведь Бунин-то, ужаснейший Бунин, который к старости беспощаден был к себе и к другим, ведь это он написал из Парижа нашему старику, что таких писателей на Руси еще не было. Каково? Это Бунин-то, который себе равным одного Толстого почитал, и Чехова ставил пониже себя. Вот как, милый мой. Так что Рыльский, конечно, говнюк высшей марки. Начать с укоров в мелких неточностях (белые голуби) и кончить тем, что старик оскорбляет укр. народ и укр. культуру! А ведь лучшую книгу об ихнем Шевченке Паустовский же написал.

Да чорт с ними!

Погибаю я во цвете лет и все чрез кино. Должен был в начале ноября сдать сценарий по „Страннику“, а теперь вот еще ни строчки! Дела у них страшные там. Сперва вызвали меня, подсунули мне договор на 10 тыс., сказали, что режиссерский будут делать прямо по рассказу. Я и подписал. Потом, когда режиссер сделал свой сценарий, оказалось, что на Мосфильме аппаратуры нет, нечем снимать натуру (летнюю). И дело замерло, но меня попросили для проформы, т. к. аванс я получил, написать сценарий. Я согласился. Потом на Оку ко мне приехал режиссер и сказал, что Мосфильм, прослышав, что „Странника“ хочет экранизировать телестудия, вцепился в него и хочет сам ставить. Но надо сценарий писать теперь зимний, т. к. снимать будут зимой. А у меня как-то на душе вяло и работать не хочется, хочется рассказы писать, и это ужасное, верно знакомое тебе, чувство обязательства. Господи! А Мосфильм телеграммы шлет, чорт бы его побрал!

Старик, кончай это дело, расплюйся с кино. Продавай им права на экранизацию, правда, денег

меньше, зато и хлопот никаких.

Вышла у меня книга в Италии. С фотографией. Этакий я на ней красивый сукин сын нордической расы. И написано непонятно, но здорово: Пуре, пье че а Чехов о а Горки о Федин, э куи э л'алтра новита ди Казаков, виен фатто ди пенсаре алл'Огайо ди Шервуд Андерсон о аль Зюд ди Колдуэлл…

Имена-то какие, а?

Получил я письмо, что вышла книга моя и в Чехословакии. А в Польше — вот-вот выйдет. Говорили мне, что в польском каком-то журнале, „Жице", что ли, была статья про сборник, где твой рассказ. Разругали Нагибина, еще кого-то, остальных расхвалили, значит, и тебя в том числе. Скажи это маме своей.

Вообще у тебя дела, по-моему, хороши, ты замечен, пишут про тебя славно, экранизируют и популяризируют, чего тебе еще!

Если увидишь Достян, скажи ей от моего имени, что она с… Она была у Паустовского, рассказала ему про мою новогоднюю драку в Комарове и поставила эту драку на почву антисемитизма. Будто бы я кричал „Бей жидов!" Она стерва, во-первых, что вообще рассказала старику про это, нашла чем обрадовать; во-вторых, что наврала все, драка была на почве ревности со стороны хозяина (кстати, русского) и ее бездари Игоря.

За лоцию спасибо большущее. Признаться, и я грешен — украл самым наглым образом путеводитель по Союзу (дореволюционный) в доме на Оке, где жил. Пущай из меня котлету делают. Я аж задрожал, когда увидал его. И спер.

И за мамонта спасибо. Я из этой кости суп буду варить. И ты прибереги на черный день.

Посылаю тебе в качестве аванса фотографию двух великих людей.

О книге моей в Совписе — ни слуху ни духу. Макаров написал, что издание ее явится шагом назад для всей сов. литературы (буквально). Она и застряла. Проходит какие-то редсоветы и педсоветы.

Голявкина видел. Ужасно похож на маклера. Шурует во всех издательствах и редакциях.

Горышин с тобой хотел приехать в Гагру. Что ж не приехали? Тут до самых последних дней была изумительная погода. Я нырял в маске и ластах. Очень здорово. А на днях такой ударил штормяга, что массу

домов попортил на берегу.

Завтра я отсюда уезжаю и буду до начала декабря в Москве. Пришли мне лоцию. Было бы хорошо, если бы и сам заявился, я бы тебе кое-что показал из своего напечатанного.

Лермонтова моего опубликовал „Московский комсомолец“. И получил я за него 450 рублей. Вот как.

Будь здоров, дорогой. Целую тебя крепко, не хандри, все хорошо будет. Привет маме и братику. Моя матушка тебе кланяется и не велит пить. Понял?»

12.05.61. Коктебель.

«Я в Коктебеле, но ты сюда не езди, тут как-то мусорно, людно, плоско, пыльно и т. п.— до того, что я хотел тут же повернуть оглобли, но задержался, т. к. что делать, раз заехал. А ты не езди.

Как мама? Благополучно ли прошла операция и как она теперь себя чувствует?

Рассказ я кончил, называется он „Осень в дубовых лесах“. Вышел ничего себе, хотя я сейчас не могу судить о нем, нужно время для его осознания. Получилось что-то около печатного листа.

Как твои дела, хотелось бы знать. Слушай, Витька, не пей, пожалуйста, ладно? Береги себя, старик. Тут приехал Таланкин и мы с ним быстро сошлись, а закончилось это бог знает как — с него взяли штраф 5 руб., с меня 10. Ты только не говори никому, чтоб не дошло до Мосфильма. (Насчет Таланкина.) Я тебе потом расскажу, когда увидимся. И я пока завязал, не пью совсем уже дней пять, да и неохота. Так что, Витька, остепенись хоть временно, очень тебя прошу.

Я взял у Игоря из твоих денег 70 руб. Ты не сердись на меня, вдруг деньги у меня катастрофически рассеялись, я остался на бобах, а подзанять больше не у кого было. Я тебе их пришлю где-нибудь в июне. Подождешь? Я обязательно отдам в срок, в крайнем случае займу у другого, а тебе вышлю.

Ну, будь здоров! Очень я о тебе думал эти дни, т. к. ты был, по-моему, какой-то несчастный и одинокий в Ялте. Пришли мне письмо-телеграмму! А то я буду волноваться.

P. S. Отрывок из сев. очерка перевели в Италии. Там в „Word“ и „del Oceano“ — пущай знают, что значит русский север!»

19.10.61. Псковско-Печорская обитель.

«Пишу тебе, как на Марс, в надежде, что твои коллеги будут настолько любезны, что доставят тебе письмо.

Слава портит людей, в этом я убедился давно и бесповоротно. Было время — молодой, красивый и робкий Конецкий писал своим знакомым интересные письма. Знакомые ему редко отвечали, но он все равно писал.

Теперь Конецкий женат на известной киноактрисе, богат, знаменит, получает миллионы писем, сам никому не пишет — и доволен судьбой.

Хотя ты меня и презираешь, а живу я в Псковско-Печорской обители, счастлив, сыт и одет, и помню о долгах своих.

Я тебе должен. Ты, конечно, забыл об этом, удрученный счастьем женитьбы на знаменитости, а я — ничтожный инок — помню. И — видит бог — готов сто раз отдать, но не знаю адреса, увы!

Читал ли ты рассказы мои в „Знамени“ № 9? Шим прочел с жадностью и сказал: говно! Это верно, и если не читал, то и не надо.

Про тебя написано в ж. „В мире книг“ № 8. Е. Дорош „Тихие герои“.

Много работаю.

Скажи Горышину, что его книжка мне понравилась. Только пусть попробует писать еще про что-нибудь, а то все Сибирь и Сибирь.

Пусть и Ленинграду что-нибудь оставит.

Пишу повесть.

Паустовский стал язвителен и неумолим. Пьет Кюрас, носит польский орден и отдыхает от бесед с премьер-министрами и послами.

Спрашивал о тебе: почто давно не пишешь прозы. А я ему сказал, Конецкий начхал на прозу, пишет сценарии, ибо в прозе он слабак, что и требовалось доказать.

Схимник Георгий».

Евг. Евтушенко

Мы сто белух уже забили,
Цивилизацию забыли,
Махрою легкие сожгли.
Но, порт завидев, грудь навыкат,

Друг друга начали мы «выкать»
И с благородной целью выпить
Со шхуны в Амдерме сошли.
Мы шли по Амдерме как боги:
Слегка вразвалку, руки в боки,
И наши бороды и баки
Несли направленно сквозь порт.
И нас девчонки и салаги,
А также местные собаки
Сопровождали, как эскорт.
Но, омрачая всю планету,
Висело в лавках: «Спирту нету!»
И, как на немощный компот,
Мы на игристое донское
Взирали с болью и тоскою
И понимали: не возьмет!
Ну, кто наш спирт и водку выпил?
Ну, пьют же люди, просто гибель!..
Тут тощий, словно бы моща,
Марковский Петька из Одессы,
Как и всегда, куда-то делся,
Сказав таинственное: — Ща!..
И вскоре прибыл с многозвонным,
С огромным ящиком картонным,
Уже чуть-чуть навеселе.
И звон из ящика был сладок,
И каждый понял: — Есть, порядок!
И подтвердил Марковский: — Е!
Мы размахались, как хотели,
Зафрахтовали люкс в отеле,
Уселись в робах на постели,
Бечевки с ящика слетели.
И, в блеске сомкнутых колонн,
Пузато, грозно и уютно,
Гигиеничный абсолютно,
Предстал… тройной одеколон…

Повесть о радисте Камушкине

1

Федор Иванович Камушкин жил на одном из ленинградских каналов, в тех местах, которые никогда не попадают на видовые открытки, где все еще много сырой тишины, запаха грязной воды, где берега каналов не забраны гранитом, а желтеют одуванчиками просто по земляному склону. Старые тополя доживают здесь последние годы, разглядывая свои отражения в неподвижной воде, и стариковски вздрагивают от криков мальчишек, вылавливающих из канала неосторожную кошку.

За дальними крышами видны верхушки кранов на судостроительных верфях; краны бесшумно двигаются среди низких облаков, а вечерами на них загораются красные пронзительные огоньки. Здесь мостовые горбятся морщинистыми булыжниками. Булыжники по ночам вспоминают стук ломовых телег, грубые подковы битюгов, изящный шелест тонких шин извозчичьих пролеток. Днем по булыжникам проносятся к складам и верфям вонючие грузовики, и стены старинных домов дрожат, пугая жильцов, и на штукатурке потолков змеятся трещины.

Во дворах много дров, поленницы обиты жестью и досками. Когда осенью дуют ветры с залива и черная вода выпирает из каналов, дрова всплывают и грудятся в подворотнях, и жильцам есть о чем поспорить, потому что все дрова здорово схожи и сразу с ними не разберешься. В квартирах общие кухни, нет ванн, а все дворники, по твердому убеждению хозяев, наигорчайшие пьяницы. Однако когда та или другая семья получает квартиру в новом районе города — там, где есть теплоцентраль, ванная, мусоропровод и трезвые дворники,— то какая-то взаимная грусть охватывает и старые дома и уезжающих. Горько, как по покойнику, плачут старухи, закрывая лица шерстяными платками; сбычившись, надув губы, стоят мальчишки и смотрят на шкафы, освещенные ярким солнцем. Шкафы на улице выглядят непривычно, кажутся чужими и жалкими. Мальчишкам стыдно перед прохожими за такие шкафы…— Приходить будешь, Ленька? — спрашивает какой-нибудь Витька.

— А ты думал? — почему-то с вызовом говорит Ленька.

— В мусоропроводах крысы живут,— подумав, говорит Витька.

— Еще чего! — бодрясь из последних сил, говорит Ленька.

Федор Иванович любил старые камни домов, застойность канала, известковые потрескавшиеся плиты тротуаров. Ему нравилось, что старинный Петербург маленьким островком оставался почти в самом центре современного Ленинграда: две остановки до Исаакиевской площади; рядом — мост Лейтенанта Шмидта, пересечение трамвайных путей, яркие афиши новых фильмов, сберкассы, гастрономы, парикмахерские с женскими головками на витринах да и вся сегодняшняя броская и быстрая жизнь.

Федору Ивановичу недавно исполнилось сорок три года, по основной профессии он был инженером-радистом, институт закончил перед самой войной, на фронте был тяжело ранен в голову осколком снаряда; после войны много плавал и летал по свету, испытывая новые радиоустановки на судах и самолетах. Но главной его страстью, начиная с раннего детства, были короткие волны, установление сверхдальних связей на маломощных любительских передатчиках.

*

Около полуночи засыпает квартира. Темнота и тишина скапливаются в кухне и коридоре, плотно наваливаются на дверь комнаты. За окном, на острове со странным названием Новая Голландия, шумят старые деревья, сонно трепыхаются в их ветвях черные, мрачные галки. На Неве гудят буксиры, с сортировочной морского порта им отвечают маневровые паровозы. Под окнами время от времени раздаются неуверенные шаги подвыпившего гуляки. Дежурная дворничиха клянет всех мужиков мира, потом долго звякает ключами, отпирая ворота; ворота ржаво скрипят, гуляка орет: «Не кочегары мы, не плотники…» Ворота захлопываются, дворничиха остается одна, но долго еще что-то бормочет, ворчит и, наверное, курит. К ней подходит участковый милиционер, стреляет папироску. Они молчат. За сотни ночей они уже все рассказали друг другу.

И, наконец, наступает глухая ночная тишина.

И тогда комната Федора Ивановича начинает медленно сниматься с якорей. Якоря бесшумно подтягиваются к клюзам окон. Комната выплывает в ночь, ночь журчит под днищем пола. Верхний свет потушен. Все громче делается стук часов. Над самым передатчиком звонко тикают круглые морские часы с красными секторами молчания. Когда минутная стрелка входит в эти сектора, все морские радисты мира выключают передатчики и настраивают приемники на длину волны в шестьсот метров.

Затихает эфир. И только те, кто попал в беду, торопливо стучат ключами, несутся в настороженной тишине их позывные, координаты, далекие крики о помощи. Морские часы с секторами молчания хранят для Федора Ивановича московское время. Хронометр в шикарном ящике красного дерева почти бесшумен и кажется очень медлительным. Он хранит время нулевого меридиана — Гринвича.

Комната набирает ход, уже загудели трансформаторы, прогреваются лампы передатчика. Высоко над крышами насторожилась антенна, она нервным щупальцем трогает ночь, купаясь в бесконечном эфире. Кто его знает, что такое эфир. Он заполняет Вселенную, его колебания несут энергию далеких радиостанций — и в то же время он лишен плоти. Никто не знает, что такое эфир.

Антенна парит над спящим городом, едва заметные капли ночной влаги оседают на ней. У антенных вводов нарастает прибой радиоволн, примчавшихся сюда со всех концов планеты. Медленно вращается верньер настройки. Комната выплывает в океан. Огромная и сложная жизнь напоминает о себе дробью морзянки, глухими голосами, треском трамвайных разрядов, дальних гроз, невнятным шорохом космических волн. Солнце взрывается гигантскими протуберанцами, швыряет к Земле биллионы биллионов заряженных частиц, злых и беспощадных, в коротких схватках они мнут, заглушают, искажают земные радиоволны. И только рука радиста может помочь земной волне в этой неравной драке — железная рука, и прекрасный слух, и терпение охотника, и талант, который, правда, нужен всюду.

Кто и откуда ответит Федору Ивановичу сегодня? Кто так же, как он, сейчас сидит с наушниками на висках и продирается сквозь невидимые дебри эфира? Его знают в Конакри и Мирном, в Ханое и на острове Врангеля, в бухте Угольной и Дарвине в далекой Австралии, его знают судовые радисты-коротковолновики: когда-то он плавал вместе с ними, и они обязательно зовут его каждую ночь. Зовут с экватора, с Ледовитого океана и от берегов Антарктиды. Сам старина Кренкель из Москвы нет-нет да и войдет с ним в связь, поболтает о погоде, закончит неизменным «73», что на языке радистов мира означает: «Примите наилучшие пожелания!» Бессонные бродяги эфира, они никогда не встречались в жизни, но они узнают друг друга по руке, которая давит на головку ключа, они давно зовут друг друга по именам. Вопрос о здоровье, о погоде, о слышимости: «Прием, олд комрад — старый приятель»…

Когда же, наконец, удастся поймать кого-нибудь с Суматры? Это одно из немногих мест на карте мира, где нет красного

флажка. Карта висит над кроватью. Днем Федор Иванович часто смотрит на нее и на ящик с «кюэсельками». «Кюэсельки» — это карточки радистов-коротковолновиков, там их позывные, фамилия, адрес и рисунок по личному вкусу. На обороте отметка о времени связи и слышимости. У Федора Ивановича около семи тысяч «кюэселек». На французских чаще всего изображены женщины в коротких юбочках и расстегнутых лифчиках, американцы любят женщин в одних чулках на длиннющих ногах, но, кроме женщин, на «кюэсельках» еще полным-полно всякой всячины: пингвины, цепи, корабли, льды, шпили, пальмы, орлы, слоны, якоря, города…

*

Ночь за окном уже начинает сереть, но кто-то с незнакомыми позывными зовет его. Слышимость плохая. Полчаса оба возятся, прежде чем удается настроиться. Это танкер «Тамбов». Он идет с Кубы на Аден, жара черт-те знает какая, не сможет ли Федор Иванович снять телефонную трубочку и звякнуть, вот номер телефона, просто интересно: дома жена или нет, он будет очень обязан, а завтра в то же время он опять попробует выйти в связь, он женился перед самым рейсом… Примите «73» — полный конец связи.

Федор Иванович снимает наушники и выключает станцию. Усталость, и все вокруг будто затянуто паутиной, и все еще пищит в ушах морзянка, ломит позвоночник, но совершенно не хочется спать. Рассвет за окном. Комната медленно вплывает на свое место — на третий этаж старого дома напротив острова Новая Голландия в Ленинграде. Бесшумно отдаются якоря, гаснут паруса, мир сжимается до шестнадцати квадратных метров в коммунальной квартире. На кухне капает вода из крана. Федор Иванович выходит в коридор к телефону, набирает незнакомый номер. Он всей душой хочет, чтобы жена моряка оказалась дома, чтобы она вскочила сейчас, сонная и испуганная звонком, с одинокой кровати, чтобы она счастливо засмеялась, узнав, что минуту назад супруг передал ей привет и поцелуй с борта танкера «Тамбов», идущего с Кубы на Аден. Завтра ей будет чем похвастаться перед подругами на работе. Вернее, какое завтра? Уже наступило сегодня, и дворники отправляются спать, им на смену приходят другие дворники и поливают отдохнувшие за ночь булыжники, и начинают петь птицы, звонко и чисто, и коты разгуливают по карнизам, презрительно глядя на воробьев… И так приятно стоять у открытого окна, слышать и видеть

просыпающийся город, ощущать утреннюю прохладу его садов, воды и парков. И тихонько курить последнюю перед сном сигарету…

*

Федор Иванович уже давно знал, что может умереть в любой миг. Об этом прямо и честно сказал ему профессор Кульчицкий — молодой, сильный мужчина с волосатыми руками и мягким голосом, невропатолог из платной поликлиники. Они как-то вместе отдыхали зимой под Ленинградом, вместе ходили на лыжах по льду Финского залива и приударяли за одной и той же красоткой, которая, впрочем, пренебрегала ими обоими во имя студента-филолога, нашпигованного стихами Евтушенко. Той зимой у Федора Ивановича случился сильный припадок. Четырнадцать лет осколок в его голове молчал, а тут начались чудовищные головные боли и обмороки. Кульчицкий устроил Федора Ивановича в лучшую клинику, сам съездил в диспансер, где тот стоял на учете, просмотрел лечебные бумажки, поговорил с врачами, вернулся чересчур остроумным и веселым, долго темнил, а потом сказал, что положение серьезно, надо совершенно изменить жизнь, никаких перегрузок, особенно мозговых, никаких шахмат, совершенно бросить радио, все эти ночные бдения у передатчиков и приемников, и никаких «Восточных» ресторанов…

И впервые с такой силой Федор Иванович испытал страх от ощущения надвигающегося мрака — страх смерти.

Было смешно и грустно обманывать себя мыслями о бесконечности времени и пространства, о том, что земля, вода, воздух, осколок и он сам — все это состоит из одинаковых протонов, нейтронов, электронов и прочих штук. Вся разница между ним и кусочком крупповской стали только в комбинации одних и тех же частиц, и чего тогда, спрашивается, бояться смерти? Он всегда любил физику, много читал по астрономии, даже переписывался одно время с Амбарцумяном. Его злил и унижал прижившийся теперь в нем страх перед смертью. Это было недостойно мужчины, который много видел и пережил за сорок три года.

В пику своему страху, как многие русские люди, Федор Иванович советам Кульчицкого не внял. Больше того. Они вместе с Кульчицким иногда отправлялись в «Восточный» ресторан, ели там цыплят табака и пили водку, потом шли к Федору Ивановичу домой, допоздна сидели у приемника и играли в шахматы. Потом

Федор Иванович запускал магнитофон с записями сигналов наших спутников и космических кораблей. Эти записи были его гордостью, и медаль Академии наук, полученная за приемы сигналов из космоса, висела возле Москвы на карте мира.

Между тем здоровье Федора Ивановича продолжало ухудшаться, и Кульчицкий настоял, чтобы Федор Иванович бросил работу, вернее — сменил ее на более легкую: консультанта на студии научно-популярных фильмов. Потом пришлось бросить и короткие волны. Это оказалось трудно. Федора Ивановича тянуло к приемнику, как пьяницу к бутылке, но за каждые полчаса в эфире приходилось расплачиваться обмороком. А так как жил Федор Иванович один и никто не мог сунуть ему в нос нашатыря, набить льдом пузырь и просто вызвать неотложную помощь, то с короткими волнами пришлось покончить.

И стало очень пустынно и одновременно тесно жить. Две недели он не выходил в эфир. Потом, немножко выпив, не выдержал и включил приемник. Он сидел один в комнате, которая в ту ночь так и не снялась с якорей. Маслянисто щелкал переключатель диапазонов. Эфир жил обычной сложной жизнью. Федор Иванович ждал своих позывных. За всю ночь его позвали только пять раз. Он не был в эфире две недели, а его уже переставали звать. Еще через две недели вызвали только три станции — Мирный, кто-то из моряков и Детройт. В следующий раз не звал никто. А его друзья по эфиру работали, спрашивали друг друга о погоде и желали лучших успехов.

В длинной жизни коротковолновика такое случалось не раз. Вдруг пропадал из эфира парень из Гамбурга, с которым было уже установлено множество связей, пропадал из эфира навсегда. Никто не знал причин. Быть может, он умер или врачи запретили ему работать. И его забывали.

Так произошло и с Федором Ивановичем.

Он сидел до самого утра у приемника и слушал шепоток Вселенной. И думал о прошлом, о женщине, которую любил когда-то. Эта любовь так и осталась, прижилась в нем. Она помешала создать семью и не быть одиноким теперь. Вероятно, он был однолюбом.

2

Зимой на канал завезли гранит, плиты грузно вдавились в снег и пролежали до весны. А с начала апреля Федор Иванович стал слышать гулкий и дробный стук молотов, кувалд и долот.

Каменщики тесали, ровняли гранит. Скоро канал должен был одеться в чугунную решетку, а его берега опуститься к воде ровными стенками подогнанных впритык плит. Каждое утро теперь Федор Иванович просыпался, когда начинали работать каменотесы и раздавался перестук и звон.

Остров перед домом Федора Ивановича Новой Голландией назвали еще в петровские времена. На острове стояли пакгаузы, кирпич их стен был продымлен и стал от времени лилово-вишневым. Круглое здание бывшей морской тюрьмы торчало посреди острова, на берегу внутренней бухточки. Говорили, что когда-то в эту бухточку входили маленькие парусники и разгружались прямо здесь, в городе. И, вероятно, потому все, что было на острове, местные жители назвали портом. Въезд в порт шел через чугунные ворота. Грузовики в этих воротах казались детскими колясками. Толстая стена, украшенная чугунными же якорями, примыкала к воротам. Под стеной росли молоденькие рябины и стояла скамья, на которой грузчики дожидались, пока шоферы оформят пропуск на въезд в порт, к складам.

В утро того дня Федор Иванович проснулся раньше прихода каменщиков. Ему надо было провести политинформацию у рабочих жилищной конторы. Рассказывать еще сонным людям перед рабочим днем об освободительной борьбе народов Африки совсем нелегко. Придумал это секретарь домохозяйской парторганизации Зыбунов — бывший прокурор, уволенный за перегибы.

В квартире уже проснулись, было слышно, как смеется на кухне Нэлька, воюя с водопроводным краном. Кран испортился, он то пересыхал совсем, то выстреливал воду, как пожарный брандспойт. И, очевидно, от этого Нэльке было весело. Ей недавно исполнилось девятнадцать лет. Нэлька жила вместе с древней, толстой старухой. Они не были родственницами. Старуха подобрала Нэльку в сугробе на улице блокадного Ленинграда. Теперь Нэлька работала на текстильной фабрике, а мечтала стать проводницей на поездах дальнего следования, но не могла бросить бабушку одну.

Федор Иванович вылез из-под одеяла и по давней привычке сделал зарядку перед открытым окном. Утро было майское, тополя помолодели от клейкой листвы; чугун портовых ворот казался на фоне листвы очень черным; первые грузовики, фырча, переваливали мост, устои моста вздрагивали; по неподвижной воде расходилась слабая рябь.

Федор Иванович старался делать зарядку бесшумно, потому что за ширмой на раскладушке спала приехавшая накануне из Москвы сестра Рита.

Размявшись до такого состояния, когда тело начинает теплеть и уже хочется поставить плечи под холодную воду, Федор Иванович заглянул за ширму и увидел, что Риты нет, постель прибрана и поверх одеяла валяется почему-то один ее чулок.

— Детектив,— сказал Федор Иванович и заглянул в шкаф, куда Рита повесила вчера пальто. Пальто тоже не оказалось.— Детектив,— повторил Федор Иванович и пошел умываться. Он привык к неожиданным Ритиным фортелям. Возясь с краном, Федор Иванович обдумывал информацию и решил начать рассказ собственными впечатлениями об Алжире, где ему пришлось побывать. Такое начало должно заинтересовать рабочих и развеять их сонливость.

В кухню вошел Олег, двадцатитрехлетний парень, недавно вернувшийся из армии. Он был в одних трусах и шинели, накинутой на плечи.

— Федор Иванович, вы сейчас грохота не слышали? — спросил Олег, зевая и потягиваясь.— Ахнуло что-то на улице. Вроде фугаса.

— Нет, не слышал,— сказал Федор Иванович.— Вода шумит сильно. А ты думаешь, война началась?

— Пока в мире существует равновесие сил, войны не будет,— авторитетно сказал Олег.— А на улице здорово ахнуло. У меня ведь окна во двор выходят, и все равно слышно было.

— Пойдем посмотрим,— сказал Федор Иванович.— Вероятно, тебе просто-напросто хочется посмотреть, как просыпается Рита. Но она уже смылась. Спозаранку.

Они вошли в комнату Федора Ивановича. Вместо майского утреннего света в окна, клубясь, летела кирпичная пыль. Все потемнело, и слышны были тревожные крики.

— Я одеваться! — крикнул Олег и выскочил обратно в кухню. Сквозняк потянул за ним красноватую пыль, от нее запершило в глотке. Федор Иванович закурил и пошел вниз.

3

В воротах порта, накренившись, застрял огромный грузовик с белым медведем на радиаторе. Грузовик был доверху нагружен свинцовыми чушками.

Шофер не рассчитал и задел кузовом стену. Старинная, крепостной толщины стена рухнула. Часть ее, стоящая под углом, треснула, накренилась и тоже была готова в любой момент рухнуть.

Никто не знал, сколько сидело на скамейке под стеной людей

и вообще были ли там люди. Но прибежала складская сторожиха, запричитала, заохала. Она якобы видела, что под стеной сидело пятеро грузчиков, из них две женщины. Побледневший шофер заметался вокруг завала, откидывая в сторону мелкие кирпичные осколки. Какой-то милиционер беспрерывно свистел и оттеснял любопытных подальше. Нерухнувшая часть стены, казалось, покачивалась. Якорь на ней опрокинулся и свисал теперь, зацепившись за самый край карниза. В домах показывались и исчезали лица, потом окна захлопывались, чтобы не пустить в комнаты кирпичную пыль.

Люди стояли и говорили бесполезные, никому не нужные слова:

— Как мышей в мышеловке прихлопнуло…

— Много ли человеку нужно…

— Ишь, шофер-то, кирпичики раскидывает…

— Тюрьмы боится, ясное дело…

— За что ему тюрьма-то?

Федор Иванович тоже несколько растерялся: разбирать завал было опасно, потому что остатки стены могли прихлопнуть и спасателей.

— Эй,— сказал Федор Иванович милиционеру.— А ну-ка перестань дудеть. Пожарным позвонили?

— Не ваше дело, гражданин,— огрызнулся милиционер.— Прошу пройти отседа.

— Я вот тебе сейчас пройду отседа,— сказал Федор Иванович, начиная злиться на бездеятельность людей.— Посмотри! — Он вытащил из кармана совершенно безобидный, но красный пропуск на студию научно-документальных фильмов и потряс им перед носом милиционера. Милиционер перестал свистеть и подтянулся.

— Иди к телефону, звони в пожарную часть, вызывай «скорую помощь» и сообщи начальнику порта. И побыстрее!

— Есть! — сказал милиционер и побежал. А Федор Иванович шагнул к завалу и полез наверх. Ему нужно было посмотреть, на что опираются остатки стены. Стена нависла над Федором Ивановичем, закрывая небо. И сразу стало тяжело дышать, и сердце забилось часто.

— Трусишь, Федя,— пробормотал сам себе Федор Иванович. Он подумал о том, что под ним, под кирпичными глыбами лежат раздавленные, расплющенные люди и что тяжесть его тела прибавляется к тяжести давящих на них глыб.— Чепуха,— пробормотал он.— Чепуха. Мои шестьдесят восемь килограммов ничего не меняют…

Тут что-то лязгнуло, и весь завал шевельнулся. Федору

Ивановичу показалось, что нависающая над ним стена рушится, он инстинктивно присел на корточки и совершенно бессмысленно закрыл голову руками. Но лязг раздался еще, еще и еще раз. Федор Иванович перевел дух и увидел внизу одного из каменотесов с огромной кувалдой в руках. Другой каменотес сидел под самой накренившейся стеной, широко раскинув ноги, и держал проволочной прихваткой долото на чугунной петле ворот. Они уже рубили петли, чтобы освободить от огромных и тяжелых ворот гранитные глыбы. Они работали, как работали и у себя на обычном месте,— неторопливо и точно.

Завыла сирена «скорой помощи». Красные кресты на дверках машины сияли под утренним солнцем весело и бездумно. Люди в белом с носилками торопливо побежали к завалу.

— Рано! — крикнул Федор Иванович…— Отсюда, с самого верха, разбирать придется! И под стену оттаскивать! Тут часа на два работы…

Отдельных кирпичей почти не было: сцементированные глыбы, страшно тяжелые, не разлетевшиеся даже от падения. Федор Иванович сразу ободрал о них руки. Из толпы вышло человек шесть, они робко переступили в тень стены, то и дело задирая голову кверху. Шофер грузовика забрался к Федору Ивановичу и работал рядом с ним, подхватывая непомерно тяжелые глыбы, тужась и ругаясь.

— Грыжу заработаешь,— сказал Федор Иванович.— Ломики бы надо.

— Ах ты, сорока-белобока, научи меня летать,— пробормотал шофер.— Угораздило же меня, эх!

— Лом, говорю, иди достань,— повторил Федор Иванович.— Так мы и до вечера не справимся. И скажи милиционеру: пусть автокран вызывают.

— Сейчас автопогрузчик подойдет,— сказал шофер.— Со второго квартала вызвали.

— Автопогрузчик здесь не поможет.

— Ах ты, сорока-белобока! — опять сказал шофер и вытер кепкой вспотевшее лицо. Он был уже в возрасте, лет сорока пяти, в синем комбинезоне и тапочках на босу ногу. Он вдруг сморщился, и Федор Иванович увидел на его щеках слезы.

— И легонько задел всего,— глухо сказал шофер.— Фундамент, наверно, под стеной закосило от времени, вот она сразу и… Неужто целых пятеро накрылись…

Заболел затылок. Федор Иванович разогнулся, решил передохнуть.

Кирпичную пыль унесло ветром, окна в домах распахивались, синие фигуры милиционеров оцепили все вокруг, только возле

сторожки стояли несколько человек штатских — очевидно, какие-то официальные лица. Каменщики срубили одну петлю и теперь влезли выше, пристраивались рубить следующую. Тот, кто бил кувалдой, разделся до пояса. Незагорелое еще, белое тело его было кряжисто и сильно.

Двое матросов веревкой оттаскивали кирпичные глыбы и орали: «Полундра!», показывая на качающийся якорь.

Федор Иванович понимал, что силы его слишком малы, чтобы реально помочь чем-то, но продолжал стоять на своем месте. Ему не хотелось уходить от людей, которые рисковали сейчас собой. Какое-то смутное, напоминающее фронт чувство наполняло его. Первоначальный страх рассеялся. Осталась только тревожная мысль о якоре. Якорь следовало сбросить. Тогда и нагрузка на стену станет меньше.

На мост въехали пожарные машины с лестницами на спинах. Это были деловитые, знающие что к чему машины. Каски пожарных еще больше напомнили Федору Ивановичу войну, но здесь он подумал о политинформации и забеспокоился. Он не любил никуда опаздывать.

— Черт с ней,— пробормотал Федор Иванович и крикнул: — Эй! Внизу! Поберегись! Я сейчас якорь сброшу!

— Хватит вам! — крикнул Олег, появляясь рядом.— И помоложе вас есть люди… А там Ритка пришла, вас ищет…— И он полез к якорю, молодой и проворный. Стена чуть приметно колебалась под ним. И у Федора Ивановича закружилась голова, боль в затылке стала невыносимой, он сел прямо на землю и несколько минут ничего не видел и не слышал ничего, кроме стука своего сердца.

Здесь, под стеной, и нашла его Рита, схватила за руку и заплакала.

— Все уже прошло, сестренка,— сказал Федор Иванович.— И куда ты смылась с утра пораньше?

— Брюки порвал! — воскликнула она.— Совершенно сумасшедший! Идем домой немедленно! Слышишь меня, Федор?!

Олег на стене заорал что-то победное, якорь, наконец, сорвался, раздался гулкий, как в церковный колокол, удар, якорь разлетелся вдребезги, толпа довольно зашумела, грузовик, пятясь задом, медленно выехал из пролома.

Подошли автокран, бульдозер, автопогрузчик, и самодеятельность сама собою прекратилась.

Федор Иванович, Рита, Олег пролезли под оградительной веревкой и стали возле голого до пояса, едко пахнувшего потом каменотеса. Шагах в двух от них валялась отлетевшая от якоря лапа, и Олег хотел было поднять ее, но каменотес сурово цыкнул:

— Не трожь — не твое…

И Федор Иванович поймал себя на мысли, что он тоже хотел бы взять этот обломок старинного якоря на память.

Завал таял на глазах, и скоро стало ясно, что никого под камнями нет, сторожиха напутала или соврала. Последние глыбы бульдозер оттеснил в сторону, открылась изломанная скамейка и расплющенные рябины. Неясный вздох пронесся над толпой. Вздох облегчения и несбывшегося ожидания чего-то страшного.

4

— Куда ты моталась с раннего утра, сестренка? — спросил Федор Иванович, когда они вернулись домой, помылись и переоделись.

— Почему у тебя не работает пылесос? — спросила Рита.— Грязь везде! У кого найти тряпку и керосин?

— Спроси у старушенции.

— Я приехала отдохнуть. И не задавай никаких вопросов,— сказала Рита и вышла. Федор Иванович прилег на диван. Он подумал о том, что сестра чего-то недоговаривает. Или даже лжет.

Сестра приезжала редко, писала тоже редко, и чувство некоторого отчуждения появлялось после долгих разлук, и нужно было несколько дней, чтобы преодолеть его.

Их отец погиб в тридцать девятом году, мать в сорок первом. Всю войну Рита прожила в детдоме. Федор Иванович хорошо помнил, как встретился с Ритой уже в сорок шестом, выйдя из госпиталя. Рите было тогда пятнадцать лет. Она была страшно тощая, стриженная под машинку, с зеленым вещмешком за плечами. Когда он привел ее в разбитый и промерзший дом на канале, напротив острова Новая Голландия, и когда они вместе растопили печку, нащепав растопку из отставшей паркетины, Рита вдруг отошла в угол, села на корточки и сказала:

— А ты вправду — Федя? Ты совсем чужой, Федя! — и заплакала. Они не виделись шесть лет. И он тоже заплакал тогда. И не потому, что ему стало жаль Риту. Нет. Ему невыносимо было другое — то, что не удалось самому убить никого из тех, кто принес на его землю весь этот ужас и боль. На фронте он обеспечивал связь. И только.

— Я — Федя,— сказал он тогда.— Я твой брат, сестричка. И теперь все будет в порядке, все станет хорошо. И ты не бойся, что я такой некрасивый. Все пройдет. Просто мне фрицы влепили кусок железа в черепушку, и меня в госпитале побрили. Волосы

отрастут, и все станет на свои места. Не плачь. Ты даже не знаешь, как я люблю тебя и как я буду любить тебя все время, пока буду жив.

И Рита поверила, улыбнулась сквозь слезы и сказала:

— Мы вам, солдатикам, много варежек вязали. Знаешь, сколько? Целую уйму! Вам было очень холодно в окопах, да? И я две пары персонально для тебя зажала. Вот они! — И она вытащила из мешка грубые варежки с двумя пальцами — для большого и указательного,— чтобы можно было стрелять, не снимая их…

*

Девятнадцати лет, когда Федор Иванович надолго ушел плавать, она влюбилась в циркача — мотогонщика по отвесной стене. Мотогонщик увез ее с собой, и она тоже научилась носиться по отвесной стене на мотоцикле, хотя не могла проехать и десяти шагов по обычной дороге. Потом мотогонщик разбился, с горя запил, пьяным дрался, и она ушла от него к жонглеру. Потом было много еще чего. А теперь Рита работала с коверным клоуном, изображала вихрастого рыжего мальчишку; моталась по стране с гастролями и сейчас приехала в Ленинград из Москвы.

*

Федор Иванович услышал за дверью голос Олега:

— Переезжали бы к нам насовсем, Маргарита Ивановна… Здесь из всей квартиры никто так, как вы, смеяться не умеет.

— А Нэлька?

— Она теперь в ночь работает,— прошамкала старуха.

— Нэлька утром придет, помоется и спать ложится,— подтвердил Олег.— А вечером с матросами на танцульках пропадает… Василий Васильевич редко дома, он на международных трассах летает, на реактивщика переучился…

Рита что-то ответила, но Федор Иванович не разобрал что. У него опять сверкнула в голове мгновенная боль, и след ее, как хвост кометы, бледнея, потянулся куда-то в самые глубины его сознания, туманя и путая мысли. Но когда Рита вернулась, Федор Иванович постарался улыбнуться ей и сказал:

_ Ну-ка, сестричка, поцелуй меня, а?

_ Что это за телячьи нежности? — спросила подозрительно Рита, но подошла к дивану и поцеловала Федора Ивановича в

лоб, отведя назад руку с тряпкой.— Да, вот был со мной номер недавно! — вдруг вспомнила она.— Знаешь Веру? Ну, она работала воздух с Ефимовым, помнишь?

Он кивнул. Он, конечно, не помнил никакой Веры и даже не знал, что значит «работать воздух».

— У нее был день рождения, и я пошла купить цветов… Знаешь этот магазин на Арбате? Рядом с парфюмерией, а с другой стороны фотоателье… В нем, кстати, мой портрет выставляли, всю осень висел. Ну вот,— продолжала рассказывать Рита, все больше увлекаясь и бросив вытирать пыль.— Покупаю я для Верочки цветочки, и вдруг кто-то останавливается сзади. Мужчина! Весь в черном и держит букет алых роз в целлофане. Огромный! Понимаешь, огромный букет алых роз, и все это в целлофане! — Она описала в воздухе окружность тряпкой.— Вот такой!

— Так-так,— поощрительно высказался Федор Иванович.

— Ты знаешь: я понимаю толк в цветах. Такой букет стоит не меньше десятки… Я выхожу, мужчина за мной. У него оливковое лицо и белые носки. Садится в «Волгу». У меня так все и захолонуло внутри. «Волга» двухцветная, под задним стеклом лежит тигр, и, когда тормозят, у него вспыхивают красные глаза, — она сделала страшную физиономию и посмотрела на себя в зеркало.— Потом он обгоняет меня и ждет. Я, естественно, иду мимо. Он через окошко протягивает мне розы. И я их беру, и все это совершенно как во сне… Да. Он говорит: «Я слежу за вами уже давно. Я видел вас на манеже. Садитесь, я подвезу вас».— «Ну уж, черта с два, я так сразу к тебе и залезу,— думаю я.— Знаем мы эти штучки…» И что ты думаешь? Вечером он ждал меня у цирка! Оказывается, дипломат, наш посол в Латинской Америке. Каково?

Федор Иванович понимал, что смеяться нельзя.

— Ты смотри! — с удивлением и восхищением сказал он.

— И тут началось! Он в отпуске только на месяц, женат. Герман ревнует как бешеный…

Ахнув кулаком в дверь, что означало предупредительный стук, на пороге возник Олег. Положительно, его притягивала Рита. Федор Иванович обрадовался Олегу. От Ритиного вранья у него портилось настроение.

— Вы помните, что сегодня партсобрание? — спросил Олег. Очевидно, это был предлог, чтобы зайти.

— Да… Внимание! — сказал Федор Иванович и поднял руку. — Для чего служит затвор? Ну? Ну, быстрее, быстрее!

Это была игра, в которую они играли уже давно. Федор Иванович задавал Олегу самые неожиданные и часто нелепые вопросы, а тот должен был отвечать немедленно.

— Затвор? — сморщившись, недовольно переспросил Олег. Он терпеть не мог вспоминать о своей солдатской службе.— Затвор служит для… пропихивания патрона в патронник… выбрыкивания обратно стреляной гильзы, затыкания дыры в дуле… и… и… Черт его знает, больше не помню.

— Чему вас теперь учат в армии? Затвор служит: для досылки патрона в патронник, плотного замыкания канала ствола, производства выстрела, выбрасывания стреляной гильзы.

— Вы молодец,— сказал Олег.— Возьмите конфетку.

— Строй? — спросил Федор Иванович.

— Что «строй»?

— Что такое строй?

Олег ехидно улыбнулся.

— Строй — священное место бойца,— сказал он.— В строю категорически нельзя плеваться.

— Сукин сын,— сказал Федор Иванович.— Выкрутился.

— Хватит на сегодня, или я спрошу о том, где растут ноги у дверки «Москвича»,— пригрозил Олег.

— У тебя сняли дверку? — ахнула Рита.

— Да,— сказал Федор Иванович. Его «Москвич» ночевал во дворе под рваным брезентом, и бороться с потерями было бессмысленно.

— И ты теперь не ездишь? — спросила Рита.— А ты завтракал сегодня или нет?

— Федор Иванович боится простудиться,— объяснил Олег,— ему сильно дует: дверку-то первую сняли, с шоферского места.

Федор Иванович закурил и подошел к окну. Автопогрузчики поднимали на самосвалы кирпичные глыбы. Поломанные рябины оттащили в сторону. Осколки якорей собрали в кучу. Через провал на месте стены и ворот непривычно далеко был виден двор порта.

— Да, я не езжу,— сказал Федор Иванович. Он не торопился ставить новую дверку, потому что все равно не мог ездить. Недавно ему стало плохо за рулем. Это чуть не стоило жизни какой-то девчонке с бидоном молока. Сейчас он подумал о том, как был бы счастлив Олег, если взять и подарить ему «Москвича». Только это невозможно сделать — такие придумали законы. Не имеешь права подарить машину. Но как страшно обиделась бы Рита, подари он машину Олегу! Интересно, если он умрет, получит Рита право наследовать «Москвича»? Вообще-то говоря, давно пора сходить к юристу, выяснить все эти штуки и написать завещание. Конечно, странно в наш век и в нашей стране писать завещание, но придется это сделать. Для очистки совести.

— Я не завтракал,— сказал Федор Иванович.— Пойдем на

площадь. У нас здесь молочное кафе открыли, приличное. На месте пивной. Идем с нами, Олег.

— Нет. Я в Публичку поеду старые газеты читать. Ужасно интересная штука. Я с двадцатого года начал, а сейчас уже сорок четвертый заканчиваю…— Олег вдруг захохотал.— Вы давеча на кучу влезли и командуете, мужественно так, сдержанно… Анекдот сплошной. А мы в нору пробрались, под завал, вдруг слышу — стон! Вот, думаю, они! Страшно стало. Хочется назад вылезти. Потом прислушался — сам хриплю, накурился с утра, и из самого нутра хрип идет… Сплошной анекдот.

— Рита, брось тряпку, хватит изображать заботливую хозяйку,— попросил Федор Иванович.— И сколько раз я тебе говорил: не трогай ничего из аппаратуры.

— Пошел ты к черту с твоей аппаратурой,— сказала Рита флегматично.— Живешь как в свинарнике. И почему ты бабы себе не нашел за столько лет? Не любят они тебя, что ли? Олег, а тебя любят?

Олег помрачнел и вдруг брякнул:

— Выходите за меня замуж, а?

— Сходи сначала молоко с усов утри,— мягко и доброжелательно посоветовала Рита.

— Иду,— сказал Олег и вышел.

— Это что, он серьезно? — спросил Федор Иванович.

— А я почем знаю? — с вызовом сказала Рита и швырнула тряпку под стол.

5

Они позавтракали в кафе на площади Труда и переулками прошли к Мойке, просто так — прогуляться.

— Знаешь, что я решила? Твердо решила? — спросила Рита и засмеялась так, как она смеялась, когда собиралась сделать что-нибудь необычное, странное и чаще всего глупое.

— Что? — спросил Федор Иванович с опаской.

Она долго шла молча, улыбаясь, глядя только себе под ноги и отпуская его руку перед каждой лужей, обходя лужи с другой, нежели он, стороны. И каждый раз, когда она отпускала его руку, становилось вдруг пусто. Рядом шла сестра, единственный родной человек, молодая женщина со склонностью к неожиданным и глупым поступкам, маленькая Ритка с резиновой куклой в зубах, худенькая девчонка с вещмешком за плечами, детдомовский выкормыш, непутевая и грубоватая циркачка, привыкшая к бродячей, гостиничной жизни, нежная и ласковая к

нему, но как-то странно, запрятано ласковая. И в чем-то очень несчастная сейчас,— это он чувствовал с самого момента ее приезда.

Они шли по набережной Мойки к Поцелуеву мосту. Когда-то здесь была городская застава, на мосту люди прощались и целовались, дальше шумел лес и в этот лес уводила дорога. Но рассказывали и другое — был здесь раньше трактир Поцелуева, вот и все. Теперь же вдоль набережной стояли аккуратно, куце, жестко остриженные липы.

— Тебе их не жалко, сестренка? — спросил Федор Иванович. Ему всегда казалось, что деревьям так же неприятна стрижка, как и нам, когда в детстве слишком коротко остригают ногти.

— Откуда ты узнал, что я сейчас думала о липах? — спросила Рита.— Откуда ты это узнал, Федька?

— Это неважно,— сказал Федор Иванович, ему стало хорошо на душе, он чувствовал сейчас в Рите что-то очень родственное, созвучное себе.

— Я решила пойти в Исаакиевский собор! — сказала Рита и опять засмеялась.— Я хочу влезть на самую его верхушку… И потом, ты знаешь, там есть маятник, самый длинный в мире.

— Да. Маятник Фуко. Но на Исаакий мы не полезем. Лифта нет, а подниматься восемьдесят метров по ступенькам я не смогу — было слишком трудное утро… И спасибо, что надумала приехать и проведать меня.

— Я приехала не из-за тебя, а для себя и по своим делам.

— Ты умеешь быть искренней, я всегда помнил это.

— Очень болит голова сейчас?

— Нет, но какое-то ощущение нереальности. По-моему, такое со мной бывало и раньше, до ранения.

— Она болит так, что тебе страшно?

— Да, иногда. И закончим на этом.

— Смотри, все моют окна. Как будто сговорились! Я у тебя тоже помою. Перед отъездом.

— Когда ты уезжаешь?

— Я еще не знаю.

— Ты что-то темнишь, сестренка.

— Господи, что у тебя за идиотская привычка все время задавать вопросы? — с раздражением, внезапным и непонятным, сказала Рита.— И куда мы идем в конце концов?

Федор Иванович пожал плечами.

Вокруг был весенний город. У магазинных витрин натягивали полосатые, яркие тенты. В сквере возле Консерватории у памятника Глинке бегали и кричали дети. Глинка стоял над ними и среди них очень добрый и задумчивый. Его хотелось назвать

дедушкой. Двери центрального подъезда Мариинского театра были распахнуты настежь, в их темные провалы врывался весенний ветер. Наверное, театр сушили и проветривали. Гагарин улыбался сквозь стекло газетного киоска. Звенели трамваи. И сильно пахло корюшкой — ее продавали с лотка, прямо на улице.

Два каких-то парня оглянулись вслед Рите и даже приостановились на миг. Она сделала вид, что не заметила этого, но сразу повеселела.

— Я тебе непременно помою окна,— сказала она.— И не сердись на меня. Я тебя ужасно люблю. Просто до спазмы в сердце.

— Только не надо спазм,— попросил Федор Иванович.

— Ладно. Если не лезем на Исаакий, то идем сейчас в Никольский собор! Уйму лет не была в церкви.

Федор Иванович пожал плечами. Ему было безразлично, куда идти.

— Давай,— сказал Федор Иванович.— Но что это тебя сегодня все в соборы тянет?

— Дедовская кровь заговорила,— не очень весело усмехнулась Рита.

Их дед по матери был сельским попом на Псковщине, дед по отцу — конокрадом в тех же местах. Дед по отцу не верил ни в бога, ни в черта и погиб, забитый насмерть мужиками. Причем, как потом выяснилось, в той краже, за которую его убили, он виноват как раз не был. Их мать верила в бога до самой смерти, и тайком от отца крестила обоих, и научила молитвам, и водила в церковь. До тридцать пятого года в углу над кроватью матери висело много икон, старинных и темных, доставшихся матери после смерти деда. Потом отец — коммунист, безбожник, человек большой воли и мужества — приказал матери убрать иконы. Она послушно убрала их в сундук, а лучшую — икону Казанской божьей матери — отдала в Никольский собор. Когда отца арестовали, при обыске нашли иконы в количестве, действительно, чересчур большом для средней советской семьи.

*

Они шли по улице Глинки, и собор вырастал над ними, закрывая пятью золотыми куполами все больше и больше неба. Синие стены собора просвечивали сквозь еще редкую листву кленов. Под ветками кленов, вдоль ограды соборного сквера шли трамваи, скрежеща на повороте. Дорожки сквера были заасфальтированы, ровные полоски газонных ограждений

обсажены маргаритками. Все имело чистый и современный вид.

А в те времена, когда Федор Иванович был мальчишкой, по весне вокруг собора от стаявшего снега появлялись огромные, глубокие лужи, лужи сливались в сплошное озеро, над водой оставались торчать только верхушки скамеек. Мальчишки сколачивали плот и плавали на нем среди отражений голых кленов. Золотые купола собора тоже отражались в отстоявшихся, прозрачных лужах. Голубое небо кружилось вокруг куполов, кресты взблескивали в нем и, казалось, кренились, обалдев от бездонности неба и неощутимости легких облаков.

На паперти собора и вдоль стен стояли тогда нищие старухи и старики. Нищие видели далеко и зорко. Они замечали оперуполномоченного еще за квартал, как бы он ни был одет, и сразу текли в собор серой торопливой, переругивающейся чередой. Там, в соборе, никто не мог их тронуть, посадить в машину и увезти в Дом престарелых.

Федька Камушкин путался под ногами нищих, и плавал по снежным лужам на плоте из трухлявых досок, и играл на паперти в фантики, и всегда проигрывал. Он вообще всегда проигрывает во все игры, кроме, пожалуй, шахмат.

— Что тебе все-таки там надо? — спросил Федор Иванович.

— Буду молиться.

— Ты что, с ума сошла?

— Если б ты знал! Если б ты только знал, как мне сейчас плохо! — быстро сказала Рита. Они стояли на краю тротуара и ждали, когда пройдет трамвай.— Я тебе все расскажу. Только погоди. И я на самом деле хочу помолиться. Мне станет легче, я знаю. Честное слово, я ни во что такое не верю, но сегодня мне надо помолиться. И ты только молчи, пожалуйста.

— По-моему, я молчу,— растерянно сказал Федор Иванович. «Только бы она не стала плакать»,— подумал он. Женские слезы действовали на него как предгрозовое давление: нечем дышать и ни черта не можешь поделать.

Они пересекли улицу и пошли по аллее сквера, стараясь не наступать на жирных, раскормленных, нахальных голубей.

Торжественная круглость куполов, тишина, прохладность, запах ладана и покойника встретили их в соборе. И так неожиданно было все это: тишина; прохладность простывших за долгую зиму стен; полумрак, темные лики святых среди туманного золота окладов; желтые и тусклые огоньки свечей — и все это после солнца и света майского дня, что даже Федор Иванович вдруг как-то внутренне притих. Паркет под ногами казался мягким, будто укрытым пушистой серой пылью.

В левом крыле собора раздался вдруг острый и резкий

детский крик, сразу перешедший в захлебывающийся плач, женские тревожные голоса окружили этот плач торопливыми и ласковыми причитаниями, сомкнулись вокруг него и потушили его. В наступившей тишине послышался голос священника: «Во имя отца и сына и святого духа…» Слабо булькнула вода в купели.

Федор Иванович посмотрел на Риту. Что-то в сестре не понравилось ему. Она быстро крестилась, глядя в сторону купели, в сторону ребенка, которого уже вытирали простыней. Ее руки вдруг стали по-мужски жесткими, отрывисто двигаясь ко лбу, плечам, груди. Казалось, она хочет сделать себе больно. И сразу же у Федора Ивановича пропало ощущение торжественности. Он подумал о зацелованном слюнявыми губами стекле икон, и вся грязь и ложь церкви, которой он не любил и в силу своих убеждений и просто потому, что сам Христос, просящий стукнуть по лицу второй раз, если стукнули первый, был несимпатичен и даже брезгливо неприятен ему, всплыла и обострилась сейчас при виде Риты. Он пошел один в глубь собора, к тому месту, где должна была висеть материнская икона, но свернул вправо — там отпевали покойника. Синий дымок курился из кадила, кадило широко и привольно летало в руке священника, одетого в дорогую и тяжелую ризу. Сухой старичок лежал в длинном, не по росту гробу, у его ног плакала пожилая женщина, вероятно жена, плакала очень тихо и сдержанно, не мешая священнику творить слова заупокойной молитвы. Больше возле гроба никого не было, и от этого вся процедура казалась еще грустнее и безысходнее. И очень не шел ко всему этому здоровый запах тлеющих в кадиле еловых шишек: запах лесов, смолистых и живых.

— Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь! — закончил священник и быстро, строго взглянул на Федора Ивановича, когда тот не перекрестился. Федор Иванович смущенно пожал плечами и отошел. Он купил свечу и нашел материнскую икону. Сейчас он вспоминал мать, ее большие руки, седые волосы, широкую и длинную черную юбку, в которую он тыкался лицом после неудачной драки на дворе. Мать умерла в эвакуации и лежала сейчас на маленьком кладбище в очень далеком сибирском городке. Никто не ходил к ней на могилу, и это было тяжело и грустно. Федор Иванович притеплил свечу и осторожно накапал в подсвечник воску, чтобы свеча стояла прямо и крепко. Он делал это для матери, ибо женщина с младенцем на руках, смотрящая с иконы, была родной для нее. Раньше, в детстве, дева Мария глядела как-то теплее и ласковее. А теперь, в соборе, она будто сидела в президиуме большого собрания и потому держалась официально и сдержанно. Федор Иванович подумал о том, что

обязательно все-таки выберет время и съездит на могилу матери, если протянет еще годик. Он думал так уже не первый год.

Подошла Рита, спросила, кивая на икону:

— Это наша?

— Да.

— Пойдем, что ли!

Они вышли на паперть. Глаза резало после полумрака, воздух сверкал и плескал среди молодой листвы кленов. Белая дневная луна висела над крестом колокольни. Очень громко чирикали птицы. И Федор Иванович подумал о том, что громче и веселее всего птицы чирикают на кладбищах и возле церквей.

— Знаешь, куда ты сейчас меня проводишь? — спросила Рита.

— Нет. Не знаю.

— В роддом на Мойку.

— Зачем?

— Аборт. Дай-ка закурить.

— Сядем,— сказал Федор Иванович.— Вон скамейка свободная.

Рита разминала сигарету и молчала, Федор Иванович молчал тоже, он совершенно не знал, что ему надо говорить и делать. На соседней скамейке старомодного вида тетка в высоких шнурованных ботинках внушала маленькой девочке правила хорошего тона; девочка сидела чинно, потом спросила:

— А что делать, если туфелька надета, а пятка чешется?

— И у меня и у всех порядочных людей так никогда не чесалось,— отрезала тетка, и Федор Иванович фыркнул.

— Тебе смешно? — спросила Рита.— Тебе весело? Какие все-таки вы, мужчины!.. У меня это пятый раз, понимаешь? Пятый! И последний. Я никогда уже не смогу иметь детей, никогда. А тебе весело! Черт знает что творится на белом свете. Уж от тебя, Федор, я не ждала такого отношения.

— Я же не над тобой,— попробовал оправдаться Федор Иванович, но Рита не стала слушать, быстро встала и пошла к выходу из сквера,— она плакала. Федор Иванович догнал ее, крепко взял за руку и пошел, стараясь соразмерить свои шаги с мелкими и стремительными шагами сестры.

— И ты окончательно решила? — спросил он.

— Я вообще могу сдохнуть. Еще прошлый раз было что-то не в порядке, теперь никто не взялся в Москве… Поэтому я приехала сюда, Мария Петровна меня помнит еще по консультации… Я сегодня была у нее. Я так боюсь, Федя, ужас, как боюсь… У тебя детей нет и, конечно, уже не будет, и у меня никогда не будет, и когда мы умрем, то все кончится на этом, и никого после нас не

останется, а ты смеешься, ты стал совсем бесчувственный…

— Слушай, Рита,— сказал Федор Иванович.— Пошли ты к черту своего Германа. Переезжай ко мне, я продам машину, мы перебьемся, а ты рожай.

— Как все просто! Как все удивительно просто! Я от силы еще лет пять могу продержаться на манеже, и то если будет партнер, — это ты можешь понять? Я люблю свою работу, и Германа люблю, и не смей говорить про него пакости! И никогда я его не брошу… А он меня бросит, если я не сделаю это, и будет прав.

— Почему он не приехал с тобой?

— Я не хочу его волновать.

— Где он сейчас?

— К матери в Таганрог поехал.

— Я совершенно не знаю, что тебе говорить и советовать. Я только знаю, что он тебя все равно бросит. Рано или поздно. И останешься ты одинокой. Каждая женщина должна родить ребенка, иначе ей потом слишком одиноко в старости.

— А я-то, дура, этого не понимаю сама! И вообще, что ты лезешь в мои дела? Что ты знаешь о Германе? Ты его и в глаза не видел. И хватит об этом.

— Я знаю твоих предыдущих Германов, и хорошо знаю…

— Ну вот, Олег мне два года письма пишет, влюбился, мальчишка, такой порядочный, студентик-заочник, и работает, и газеты читает, и тебе нравится… Может, выйти за него замуж, а?

— Что за чушь ты болтаешь! У вас слишком велика разница в годах. Он просто не понимает этого. А года через три поймет, и тогда…

— Вот круг и замкнулся,— спокойно и грустно, уже без истерики сказала Рита.— Как начала жизнь растрепываться еще давно, до войны, так и продолжает растрепываться дальше. Я знаю, что сама виновата: и легко с мужчинами сходилась, и легко изменяла… И о будущем не думала. Я все понимаю, я не такая глупая, как кажется, Федя. Честное слово, я умная. Только не головой, а нутром… Лето красное пропела, как дедушка Крылов сказал… Был бы отец! Да с розгами! Была бы мать, была бы семья, так и все бы по-другому было…

Федор Иванович молчал. Он чувствовал себя виноватым. Это он должен был заменить ей и мать, и отца, и семью. Но как он мог это? Он, бродяга, одинокий мужчина?

— Летчики, пилоты, бомбы, самолеты,— вполголоса напевала Рита, шагая рядом с ним к роддому.— Вот и улетели вы в далекий край, а когда вернетесь? Я не знаю, скоро ль, только возвращайтесь хоть когда-нибудь…

Небо над ними было чистое, только бледную дневную луну

перечеркнул ослепительно белый след высотного самолета. Самого самолета не было видно и слышно.

6

Собрания жилконторовской партийной организации проходили в бывшем бомбоубежище. Сводчатые потолки, стальные двери, деревянные подпорки, досаафовские плакаты, желтый свет электрических лампочек без абажуров.

Федор Иванович забрался в угол, подальше от стола президиума. Он специально для этого пришел одним из первых. Тревога за Риту делалась час от часу острее. Давеча он звонил Кульчицкому, спросил, нет ли у него знакомых гинекологов, объяснил, в чем дело. Кульчицкий обещал подумать, но обещал как-то вяло, и Федор Иванович теперь не рассчитывал на него.

— Здравствуй, радист,— сказал старик Власов, входя в бомбоубежище. Он был одним из старейших партийцев в организации. Сын колесника. С одиннадцати лет пошел работать. В февральскую революцию убили отца. Всю гражданскую войну — на фронтах. Сейчас ему под семьдесят, но на пенсии совсем недавно. Сам отказывался от нее. Одинокий. Сын погиб на границе двадцать второго июня, вернее — пропал без вести. Жена умерла в блокаду от голода.

Федор Иванович не успел ответить старику на приветствие — прямо с порога, громовым голосом рявкнул водопроводчик Петя Безбородко:

— Братки, привет!

Петя на вид очень здоровый, но умрет он тоже не от старости, а от старых ран. Пуля сдвинула хрящевые прокладки между позвонками. В партии с сорок третьего года — фронтовой набор — заявление на клочке бумаги перед боем. С Петей вместе пришел Петрищев — длинный и тощий, гуманитарного толка интеллигент, воевавший в Испании, а потом ни за что отсидевший семнадцать лет где-то в Сибири.

Федор Иванович поманил Безбородко пальцем. Они были люди одного поколения, им положено было сидеть рядом. Безбородко плюхнулся на скамейку и хихикнул:

— Федор, слышал такое: «Прощай, друзья, на рыжей женюсь я»?

— Нет, не слышал,— сказал Федор Иванович.— Я про другое. Кран испортился. На кухне. Ей-богу, не могу сам разобраться. Наверное, надо муфточку сменить у шейки.

— Я тебе про женитьбу, а ты мне про кран! — возмутился

Безбородко.

— Рупь,— тихо сказал Федор Иванович.— Целковый. Новенький. Розовенький. И не шуми так, у меня голова болит.

— Нет. На четвертинку.

— Шкурник ты, честное слово, Петя,— добродушно сказал Федор Иванович.— И пить тебе нельзя: помрешь.

Безбородко и пил, и шумел, и хапужничал, и вообще старался жить на полную катушку — в своем, конечно, понимании жизни. Он знал, что остается немного. Он докуривал жизнь, как докуривают папиросу: чем ближе к мундштуку, тем чаще и глубже затяжки, хотя уже ломит в груди и темнит в глазах.

— Тебе, коряга, пить тоже нельзя,— сказал Безбородко.— Однако на прошлой неделе с бутылкой домой шел. Я, керя, все про всех знаю. Но,— он поднял палец,— молчу!

— Что ты первое подумал, когда тебя ранило? — неожиданно спросил по своей привычке Федор Иванович.— Ну? Быстрее! Быстрее!

— Не нукай — не лошадь! — невозмутимо сказал Безбородко. Его лицо делалось все серьезнее, сосредоточенней, напряженней. Потом вдруг посветлело: — Вспомнил! Ей-богу, вспомнил! Думаю, черт возьми, свои меня жахнули, в спину. Я токо из окопа полез наступать, меня и жахнуло. В спину, понимаешь, удар! А пуля-то у фашистов разрывная. Как она в брюхо вошла, я совсем не успел учуять, а когда в спине разорвалась, тут уж, будь спок, как учуялось! Вот я и думаю: свои! Обидно так стало. Недоглядели, думаю, ребятки. Очень так обидно. Ну, и после этого вырубилось сознание начисто…

Безбородко замолк, все дальше погружаясь в воспоминания. Его челюсти сжались, веки набухли, суровое, сильное и скорбное проступило в глазах. И было странно видеть здесь сейчас лицо солдата, только вышедшего из боя.

— Молодец, Петя, не врешь,— сказал Федор Иванович.

Безбородко подобрел.

— Ладно,— сказал он.— Сегодня вечерком зайду, посмотрю твой кран.— И добавил: — Ловко ты меня подцепил: про ранение, то да сё… Раскиселил человека.

— Честное слово, я так просто спросил,— смутился Федор Иванович.— И за четвертинку ты не беспокойся.

— Ладно уж,— буркнул Безбородко и опять, очевидно, вернулся куда-то в окопы под Яссами.

Стуча перед собой палкой и неуверенно улыбаясь мертвым лицом слепого, спустился в подвал дядя Костя, Герой Советского Союза. Почему-то сразу стало тише. И только Петрищев продолжал спорить с Власовым.

— …совхозы не дают никакой основы для сохранения частнособственнических инстинктов, и это их решающий плюс… — доказывал Петрищев.

— Главное в крестьянском вопросе — сохранение любви к земле,— не слушая, возражал Власов.— В этом весь корень! И только колхозы могут эту любовь сохранить… А без нее нет крестьянина, нет!..

Дядю Костю посадили к столу, он повесил палку на спинку стула, шумно, облегченно вздохнул и спросил, все продолжая улыбаться застывшей улыбкой:

— Какая у нас сегодня повестка?

— О контроле над ходом текущего ремонта жилфонда, дядя Костя,— сказал Федор Иванович.

— Это ты, Федя? — спросил дядя Костя. Последний раз он видел Федора Ивановича в сороковом году, и, наверное, тот в его зрительной памяти так и остался девятнадцатилетним парнем.

— Да, я.

— Как здоровье?

— Ничего. Ритка приехала… погостить.

— Привел бы ее ко мне как-нибудь,— попросил дядя Костя.

— Приведу,— сказал Федор Иванович.— Обязательно.

«Вот и отец мог бы сейчас сидеть здесь,— подумал он.— Сидеть рядом со мной, колено в колено, и слушать спор о совхозах, он здорово понимал в крестьянских делах… Его усы были совершенно седыми, но всё равно, конечно, торчали бы вверх, как у Буденного. А потом мы бы с ним вместе пошли и выпили по кружке пива. И он бы все время молчал, потому что за всю жизнь он не сказал больше тысячи фраз. И то добрую половину из них на митингах гражданской войны».

Всегда, когда Федор Иванович видел дядю Костю, вспоминался отец. В детстве дядя Костя бывал у них каждый день, это был друг и однокашник отца. Они вместе с отцом шли по льду на мятежный Кронштадт, вместе с отцом работали землемерами во времена коллективизации.

Федор Иванович закрыл глаза и сразу увидел бегущих по заливному лугу лошадей. Солнце только-только встает. В низинах липнет туман. И догорает ночной костер, дым от него ползет низко и мешается с туманом. Возле костра уже никого нет. А мальчишки скачут на лошадях по росистой траве, и ветер, и тепло лошадиных спин, и звяканье уздечек, и приволье просыпающихся лугов, и стремительность движения, упругие удары копыт о влажную землю, взлетающие высоко комья земли и травы, надутые ветром рубахи — и рядом степенный покой реки, а в реке сонные сомы, скользкие щуки, добродушные пескари. Табун

несется вдоль реки, и никто не знает, куда они скачут среди утренней тишины, ошалевшие от радости своей самой первой и ранней зари. Пластаются за матерями жеребята. Свистят березовые прутья, оставляя на потных боках коней темные рубцы. И нет конца лугам впереди, и нет конца извивам реки среди лугов, и нет конца перелескам. А солнце уже брызнуло сквозь дальние ели, лучи его вонзаются в лица; и ничего не видно, кроме сияющего, расплывчатого, нестерпимого света. И они скачут в этот свет, во весь белый свет, как в копеечку. И вдруг от деревни скачет кто-то наперерез, пригнулся, слился с конем, оттуда доносится: «Да-а-а-ешь»! И кажется, над головой всадника взблеснула узким огнем шашка.

— Уходи, па-а-ацаны!

И табун сворачивает. А сзади всё ближе и ближе: «Да-а-а-ешь!» И все уже знают: не уйдешь от этого крика. Азартом и неукротимостью тачанок, сукном островерхих шлемов, перестуками «максимов» силен этот крик.

Всадник обходит табун. Гаснет бег, и нет больше ветра, только тихое утро и веселый голос дяди Кости:

— Что ж вы, пацаны, а? Вас в ночное, как взрослых мужиков, а вы в скачки играть? А ну, ссыпайся вниз, бери в узду и меньше часа не выводить!..

Переругиваясь на ходу, в бомбоубежище ввалились домоуправ, инженер жилконторы и сантехник. За ними, последним, появился бывший прокурор Зыбунов с папкой в руке и орденскими планками на пиджаке.

Федор Иванович открыл глаза. Собрание началось. Первым выступал Зыбунов. Он говорил привычными, набившими оскомину словами, словами из газет, стершимися, невыносимо скучными. И весь он, главное в нем было — скучное и равнодушное. Так же точно он, вероятно, мог бы читать и проповедь: «…в исторически короткий срок… гениальное предвидение… подойдем вплотную… сияющие вершины… наша узкая задача… тесно сплотившись… озабоченные чувством ответственности… опираясь на широкую инициативу масс… все усилия трудящихся жилконторы…»

Зыбунову говорить нравилось, голос у него был сочный, красивый, он сам слушал себя и дирижировал стаканом с водой, вода при этом почти не плескалась. Единственное, что он умел делать и делал всю свою жизнь,— это произносить такие слова.

И глядеть на Зыбунова после Двадцать второго съезда было странно и как-то даже неудобно. Ни на заводе, ни в любом другом учреждении такой человек не мог бы сейчас держаться. Но здесь, в домоуправлении, он все-таки нашел себе местечко.

Федор Иванович глядел на бывшего прокурора и вспоминал людей, которые двадцать шестого января тридцать восьмого года пришли за отцом.

Это было ночью. Он проснулся от длинного, казалось, бесконечного звонка. В комнате родителей вспыхнул свет, он пробился в щель под дверью, заиграл на брошенной Ритой резиновой кукле. За окном светила луна и был ясно виден снег на черных ветвях тополей. Звонок раздался опять, еще более длинный и требовательный, а в комнате родителей по-прежнему было тихо, хотя и горел свет. Федор встал и босой прошел к двери. Отец сидел у стола совершенно одетый и курил. Он или не ложился еще, работал, или знал от дяди Кости о том, что должно произойти, и приготовился. Мать натягивала через голову платье, путалась в нем и что-то еле слышно причитала.

— Поторопись, мать — сказал отец.— И возьми себя в руки. Я не хочу, чтобы тебя видели такой.

— О, боже мой! — сказала мать громко, выныривая из платья и одновременно нашаривая ногами шлепанцы.

Звонок все звонил, он не прекращался. Но отец будто не слышал его. В парадную дверь тяжело ударили. Отец оглядел мать и сказал:

— Иди к детям пока. И заколи волосы.

— Иду, Ваня,— сказала мать. Она прошла мимо Федора очень близко, но не заметила его и склонилась над кроваткой Риты, которая продолжала спокойно спать. Федору стало так жутко, что в животе захолонуло. Он увидел, как отец рывком выдвинул ящик письменного стола и взял наган. Пару секунд отец смотрел на наган, подкидывая его в руке и усмехаясь.

— Отец! — закричал Федор, не сходя с места.

— Обуйся,— приказал отец хрипло, кинул наган обратно в ящик и пошел открывать дверь.

Потом Федор видел его еще один раз уже в камере следователя во внутренней тюрьме. Следователем был дядя Костя.

Ослеп дядя Костя в сорок втором году после пулевой контузии. Он выполнял специальное задание в тылу немцев и попал в плен. И через день бежал. Он знал какие-то слишком важные вещи. И двое других пленных помогли ему бежать. Их убили, а он неделю полз через лес абсолютно слепым на гулы орудий. И выполз, и передал то, что должен был передать. За это он получил Героя.

Федор Иванович услышал свою фамилию.

— Камушкин позволяет себе наплевательски относиться к тому, товарищи коммунисты, что мы ему поручили…— говорил

Зыбунов.— Почему он не провел информацию? Я вижу за этим, если хотите, саботаж… И пока я являюсь руководителем нашей организации…

Кулак дяди Кости медленно поднялся над столом президиума и рухнул вниз.

— Слушай, Александр Иванович,— сказал дядя Костя, когда вокруг наступила тягучая и напряженная тишина.— Если ты еще раз вякнешь про саботаж или еще что-нибудь такое, то… хоть и слепой, а терпеть тебя больше не стану, понял?

Зыбунов развел руками, приглашая собрание в свидетели происшедшего безобразия. Федор Иванович встал и сказал, обращаясь сразу ко всем:

— Обвалилась стена у въезда в порт. Мы ее раскапывали, думали, там люди есть. Никого, правда, не оказалось…

— Разрешите вопрос? — любезно спросил Зыбунов, он прекрасно владел собой.— Вы что, Федор Иванович, пожарник? Или, простите, сапер? Или милиция? Что, в городе людей мало? Вам было поручено важное, политически важное дело. Его и следовало выполнять.

— Может, вы и правы,— согласился Федор Иванович. Он не чувствовал ни злости, ни раздражения.

— Проведет информацию завтра, и дело с концом,— сказал Власов.

— А я б его все-таки засудил, мер-р-рзавца! Камушкин, слышишь? Это я про тебя,— сушкуйничал Петя Безбородко и тем разрядил обстановку. Даже дядя Костя разжал кулаки.

7

Федор Иванович шел домой по Галерной улице, которая так называлась потому, что когда-то здесь жили люди, строившие галеры. Вечер был свежий и бодрый, но чувство какой-то нереальности усиливалось. Как будто люди, дома и сам воздух обволакивались слабым ореолом каждый раз, когда он начинал всматриваться в них. И звуки, казалось, тоже потеряли четкость.

В комнате стояла зыбкая тишина и полумрак. Не зажигая света, Федор Иванович прошел к тахте и сел. Прошедший день был тяжел и грузен, он давил к земле, как рюкзак в конце пятидесятикилометрового перехода. Ныли плечи, ломило виски, стискивало затылок. Надо было расстегнуть лямки и привалиться спиной к сосне на обочине, и посидеть, закрыв глаза, ни о чем не думая.

Было одиноко и невыносимо тоскливо от одиночества. И в то

же время не хотелось никого видеть. Уже где-то близко конец пути. Сколько переходов до него? Если рюкзак будет так тяжел, долго не протянешь… Сколько Ритка связала когда-то рукавиц с пальцем для указательного? Сколько пальцев нажали спусковой крючок через жесткую шерсть ее рукавиц? И сколько пуль точнее пошли в цель из-за нее, Ритки? Почему он думает об этом? Потому что ей сейчас больно и плохо… Ей нужно родить ребятенка, и тогда она будет счастлива, потому что тогда ей придется думать не только о себе самой. Но ее не уговоришь. А когда и почему он сам бывал счастлив? А что такое счастье? Вероятно, состояние гармонии, когда все в человеке звучит в унисон Миру, и маленький смертный человек приобщается бесконечности. Люди науки находят счастье в познании новой истины. И любовь приносит счастье, ибо любовь — тоже познание, познание самого себя как частицы чего-то другого. Конечно, он бывал счастлив. И бездумно — в детстве, когда зажигались свечки на елке, и пахло морозными яблоками, и теплый стеарин капал на ладонь, и только-только начинались еще каникулы, и впереди сияли две недели свободы, коньков, снега, беззаботности. И он был счастлив, когда впервые после ранения спустился в госпитальный сад, покачиваясь от слабости, чувствуя руки и ноги совершенно легкими, будто к ним привязали по воздушному шару. Было лето, шуршали березы, халаты медсестер были очень белые; он вдруг понял, поверил, что будет еще жить, что еще будет любовь и работа, и длинные дороги, и короткие волны; у него было ощущение исполненного долга, покойной совести, возвращающегося здоровья. Он был счастлив до того, что спирало дыхание и щипало глаза…

Жизнь эпизод за эпизодом четко и явственно вспоминалась ему. И эта четкость воспоминаний тревожила. Федор Иванович понимал, что за огромным количеством мелких и точных подробностей, за быстротой и беспощадностью памяти стоит болезнь. Мозг работает на износ, огромная энергия вырвалась из-под контроля, она тратится на оживление в памяти мельчайших мелочей, зафиксированных когда-то глазами, ушами, носом, языком и кожей. Но, может, как раз в этом проявляется великая мудрость и доброта природы? Он уже не способен в полную силу существовать в настоящем, ему не хватает на это сил. И природа дает возможность уходить в прошлое.

Он почему-то вспомнил маленький теплоходик и море вокруг, море цвета окислившейся меди, засиженных голубями старинных памятников. Он ехал из Сочи в Сухуми. Там ждали друзья по работе и женщина, которую он любил. Он только что вернулся из долгого плавания и сдал аппаратуру. Они много и

трудно работали над новой станцией; теперь аппаратура прошла испытания и он вез друзьям хорошие известия. На нем была белая нейлоновая рубашка, легкие, хорошо подогнанные брюки, тугие носки. Промытое купаниями тело, ровный загар, и нигде, ни в одной клеточке не было боли.

Он ехал в Сухуми отдыхать среди друзей и задремал на краю скамьи с подветренного борта, под тентом, чуть позади мидельшпангоута, в приятной близости судового буфетика — там, где не было ни брызг, ни сильного солнца, ни запаха отработанного газа. Он выбрал себе хорошее местечко. Ему было приятно дремать, обыкновенному пассажиру, под снисходительными взглядами штурманов с теплохода — мальчиков с дипломами двухсоттонника. Ему было приятно хранить тайну своего богатства. Он только что прошел сквозь большие непогоды, далекие океаны, но ему весело было играть перед мальчишками роль пижона средних лет.

Он дремал на подветренном борту, рядом тихо бредила о своем волна, спинка скамейки вибрировала, левая его рука лежала на прогретом солнцем планшире, и даже сквозь дрему он чувствовал, как заигрывает с ним солнце, протискивая тонкие лучи меж пальцев его рук; изредка на пальцы тяжело и грубо плюхалась случайная капля, взлетев из-за борта. Капля высыхала быстро, оставляя чуть заметный след сероватой соли. Он дремал, то уходя в сон с головой, то как бы всплывая, когда разговоры пассажиров, сидящих сзади, делались близко и ясно слышимыми.

Потом где-то близко загудел встречный теплоход, и Федор Иванович очнулся от дремы. Он увидел зеленое море, бесплотные от дымки горы на горизонте, белую пену за кормой, красные спасательные круги. Какая-то радостная готовность к жизни охватила его, огромная бодрость и покой, ясность мыслей и простота желаний. Он захотел есть. Все в нем захотело есть. Он встал, надел темные очки и прошел к буфету. Толстый грузин дремал среди жадных мух и липких бутылок. Мухи ползали по бутербродам с колбасой и стаканам из-под ромовой водки.

— Салатик сделаешь? — спросил Федор Иванович, улыбаясь непонятно чему и чувствуя, что все люди земли сейчас с готовностью шагнут ему навстречу и сделают все, о чем он попросит их.

— Конечно! — торопливо и довольно сказал грузин, со скрипом проводя ладонями по небритому лицу.— Конечно! — Он схватил огромный нож и очистил огурец, старательно и щедро кромсая кожуру. И потому, что грузин огурец очистил, Федор Иванович понял, что огурцы наверняка горькие. Захотелось курить, но Федор Иванович знал, что после еды курить будет во

много раз приятнее. Грузин быстро и ловко строгал огурец, веером раскидывая по тарелке зернистые дольки, потом посолил огуречный слой крупной солью и стал резать помидоры на желтой хлебной доске.

— Лучку побольше,— попросил Федор Иванович.

— А перец? — спросил грузин таинственно, будто играя в только для них одних выдуманную игру, будто заранее зная, что такой мужчина, как Федор Иванович, обязательно знает великую тайну южного перца и никогда не откажется от него.

— Конечно! — с грузинским акцентом сказал Федор Иванович и прищелкнул языком. Толстый грузин захохотал, вытащил из-под прилавка зеленый, пронзительно-зеленый стручок и измельчил треть его неуловимо быстрыми ударами ножа.

— И два бутерброда с колбасой, и один с брынзой, и два стакана сухого вина. Шестой номер есть?

— Конечно! — сказал грузин.— Обязательно!

Вокруг было зеленое море, а на берегу горы совсем без плоти и ни единой чайки до самого горизонта. И в Сухуми его ждали друзья по работе и женщина, которую он любил.

— Сколько с меня? — спросил Федор Иванович.

— Потом! Потом! — замахал руками грузин.— Иди кушай, дорогой! Потом! — И налил в стаканы мутноватое вино.

— Спасибо,— сказал Федор Иванович и понес в корму к круглому столику тарелки с салатом и бутербродами. И оттого, что грузин не взял сразу денег, продолжая эту игру в родных между собой людей, стало еще обаятельнее все вокруг. И совершенно нестерпимо хотелось есть. Федор Иванович еще вернулся к буфетчику за вином и вилками. Грузин дал ему почему-то две вилки, почистил их одна о другую, протер полотенцем и подал ручками вперед.

Федор Иванович прошел в корму и уселся за круглый столик, на котором дружно и весело вздрагивали от вибрации стаканы. Над столиком трепыхался красный флаг, где-то под ним крутился работяга винт, от винта уходила к горизонту кильватерная струя.

Федор Иванович выпил вина. Все оказалось необыкновенно вкусно: и горький огурец, и обветренная колбаса, и раскаленный, как магма, перец, и недозрелые помидоры.

Почему он был так захлестнут счастьем тогда? Черт его знает почему. Почему вкус помидоров меняется с годами? В детстве помидоры так полны соком, что обязательно брызгают на рубашку, их ткань так мучниста, что, кажется, они попискивают, когда разламываешь их пополам, чтобы половину отдать сестренке. В детстве кожура помидоров тонка и крепка, как

фольга. И совсем не обязательна соль. Вполне достаточно пряности того солнца, которое накопилось в красном соке и скользких семечках. Потом к помидорам обязательна соль, потом перец и уксус. Странная штука детство, те глупые годы, когда маленькие люди играют в прятки и кричат в вечерней тишине: «Первая курица жмурится!»

Он допил вино и понес в буфет тарелки и стаканы. Буфетчик уверенно сыграл на счетах и, конечно, недодал ему мелочь, но это было совершенно неважно.

Тем временем берега Кавказа приблизились, обрели плоть, закурчавились лесом. И, наверное, из-за этой негритянской курчавости берегов он и вспомнил Пушкина. Потом Федор Иванович увидел надпись на кожухе машинного отделения: «Спасательные нагрудники — под сиденьями». Под сиденьями не было ничего, кроме ящиков с пустыми винными бутылками. И Федор Иванович про себя, тихонько, засмеялся. И почему-то вспомнил своих погибших на фронте товарищей и отца. И подумал: не надо жалеть умерших. Не надо. Если б они могли завидовать живущим, завидовать радости, которая иногда захлестывает живущих, тогда другое дело. Но мертвые не завидуют, просто не могут завидовать. Тогда зачем же жалеть их? В чем смысл жалости? Мстить за них можно. И должно. А жалеть? Жалеть надо живущих…

В коридоре раздался телефонный звонок. Федору Ивановичу не хотелось вставать. Он только включил свет и медленно вернулся от берегов Кавказа в свою холостяцкую комнату. На раскладушке валялись Ритины платья, очень цветистые, пестрые. Телефон все звонил. Федор Иванович подумал о том, что всегда в моменты радости где-то внутри ползает страх за ее недолговечность. Телефон все звонил. Очевидно, в квартире не было никого, кроме него и старухи. Старуха звонков не слышала. Ему пришлось встать и выйти в коридор. Запах кухни и надоедливый звук падающей из крана воды встретили его.

— Черт бы побрал этого Безбородко,— сказал он, уже взяв трубку.

— Что? — переспросили его.

— Это не вам. Вас слушают.

— Товарищ Камушкин?

— Да! Да! — Он страшно испугался, что с Ритой плохо.

— Слушай, Камушкин, это Сысоев из ДОСААФа беспокоит. Тут дело до тебя. Сейчас трубочку передам.

— Фу-у-у…— с облегчением сказал Федор Иванович, вытаскивая из кармана сигареты.

— Добрый вечер, Федор Иванович,— голос мужской и тихий.

— Я вас попрошу записать частоты. Четыре сигнала разной продолжительности: маркировочные, от какой батареи, число микрочастиц… Наблюдается резко повышенная солнечная активность. Ракета сейчас над точкой земной поверхности с координатами восемнадцать градусов вестовой долготы и сорок семь градусов нордовой широты. Двигается в направлении Луны. Вы все поняли?

— Да, но сегодня я…

— Простите, я не все сказал, Федор Иванович. Очень плохо со связью. И сейчас начинают поиск все ваши коллеги-коротковолновики. Запишите частоты.

— Какой я радист, если не запомню несколько частот без бумажки? — начал злиться Федор Иванович, чиркая одной рукой спичку.— Но сегодня они мне не нужны. Я не смогу работать. К большому сожалению. Плохо со здоровьем.

— Я знаю, что вы больны, но…

— Там летит какой-нибудь парень?

— Нет. Ночью будет специальное сообщение ТАСС.

— Если не будет связи, сообщения может и не быть.

— Оно будет, за это не беспокойтесь. Частоты: 19,991, 19,994, 19,999 килоциклов. Запись сигналов на магнитофоне любой марки.

Федор Иванович засмеялся: ему нравилась тихая и вежливая настойчивость этого человека, но он знал, что не может и не должен работать сегодня. Работа с космосом — это нечеловеческое напряжение. После запуска первого спутника свалился с инфарктом один из старейших коротковолновиков Ленинграда — Михеев, а старик был здоров и силен, как буйвол.

— Я могу врезать дуба,— сказал Федор Иванович.

— Что? — человек на другом конце провода был шокирован. Этот человек определенно был из научных кругов: вероятно, он краснел даже при слове «черт».

— Врезать дуба, протянуть ноги, влезть в деревянный бушлат, загнуться, отдать концы, сыграть в ящик, зажмуриться. Есть еще десяток нецензурных синонимов,— монотонно перечислил Федор Иванович. Он захотел спать.

— Нам очень важно, чтобы вы работали, но в таком случае мы не можем настаивать. Простите за беспокойство, Федор Иванович.

8

У Федора Ивановича был деревянный детский кораблик. Он

привез его из Арктики, с острова Гейдберга. Где-то мальчишки выточили кораблик, приделали ему стальную планку вместо киля, укрепили мачты, натянули парус и пустили в реку и, наверное, назвали его как-нибудь легко и смело: «Свобода» или «Орел». Кораблик долго плыл по речкам, тыкался носом в отмели, разговаривал с камышами над тихими плесами, потом плыл дальше, оставив на слабом речном песке узкий след своего киля. Кораблик проплывал огни ночных деревень, кружился в водоворотах под мостами и у бакенов, потерял паруса и мачты. Река вынесла его в море, берега скрылись, волны делались все больше, но кораблик весело прыгал на них, он был легок и крепок, его дерево впускало в себя воду неохотно: смола, пропитавшая дерево, воевала с водой. Кораблик плыл и плыл. Морские птицы кружились над ним, и он слышал их крики. Разные рыбы выныривали к нему и не боялись его. Легкой зеленой слизью обросло его днище, и тогда он впервые почувствовал себя настоящим кораблем. Шумели над морем штормы. Серая пена с шипением лопалась у низких бортов, борта черпали воду, потом она скатывалась с них, и кораблик взлетал высоко над морем. Ему не было одиноко, он понял, что он, и море, и ветер, и песни птиц, и рыбы — все это одно и то же. Остатки мачт делались все меньше, ржавчина впивалась в киль, зеленая бородка под днищем тащилась за ним по волнам. Потом море стало делаться все более медлительным, серые и гибкие пласты ледяного сала тушили волну, сминали ей гребень и все время терлись друг о друга. От этого трения ледяные пласты становились круглыми. Они медленно качались на волнах, как лепестки гигантских кувшинок. Мороз крепчал, низкие метели несли над медлительными волнами вороха снега, снег залеплял разводья. Потом море остановилось совсем, и уже никакой ветер не мог разогнать по нему волны. Кораблик глубоко вмерз в зеленый и соленый лед и спокойно заснул на всю зиму. Мягкие и теплые медведи с сосульками под впалым брюхом бродили над ним в полярной ночи, поднимали черные мокрые носы и нюхали запахи зимней пурги, запахи льда, пресного снега, соленые запахи редких трещин во льду, около которых грудились жирные и вкусные нерпы; нерпы, которые так осторожны, хитры, бестолковы, которые так любят, когда люди играют на гитаре или когда в торосах посвистывает слабый ветер, рождая нежные звуки, печальные и живые. Потом море растаяло, кораблик проснулся, поплыл дальше, и его выкинуло на дикие берега острова Гейдберга. Здесь уже лежало много плавника — коряг, бревен, досок, разбитых бочонков, аварийных судовых клиньев. И он застрял вместе с ними в скалах острова Гейдберга. Юркие

лемминги смотрели на него удивленно и радостно. Маленькие лемминги почему-то на все в мире смотрят радостно. Им, крохотным тундровым мышам, очень немного достается любопытного в жизни. Поэтому они умеют радоваться всему.

В короткие вечера, когда странные тени тянутся по воде от искривленных коряг, когда коряги кажутся зверюгами, молчаливыми и таинственными зверюгами дальнего прошлого земли, когда ленивый прилив облизывает скалы и невдалеке бултыхаются огромные, пузатые белухи, когда полярное солнце совсем ненадолго ныряет в океан, чтобы остыть и помыться перед новым ослепительным днем, когда тишина одиночества обволакивает берега безлюдного острова,— кораблик думал о том, что не всем маленьким суждено маленькое плавание. Заплыл же он сам так далеко!

Однажды на берег острова высадились веселые люди.

— Какие интересные коряги! — говорили люди.

— Смотри: это бревно совсем как крокодил!

— Господи, как скрутился этот сук! Узел, сплошной узел, и в нем маленький камушек зажат!

— Что только не делает море!

— Вылитая мартышка! Честное слово! Это я возьму с собой.

— Кораблик! — вдруг радостно закричала женщина.— Честное, честное слово, кораблик!

— Брось, не может этого быть,— ответил мужчина.

— Он с килем, у него маленький железный киль! — с торжеством сказала женщина и присела рядом с корабликом на корточки, боясь тронуть его, как что-то живое и слабое.

Мужчина взял кораблик и вытащил его из гальки, обтер обшлагом канадской куртки и передал женщине. Внутри кораблика застряла сырость, и он был тяжел от нее, а сверху обсох, стал бледным, выцветшим, с легким налетом сероватой соли. Остатки мачт выкрошились, а трещины уже начали пронизывать его днище.

— Федор,— сказала женщина.— Возьми его себе. И пусть он всегда будет лежать у тебя на столе или возле койки. Пусть он напоминает тебе меня. Я знаю, это банально. Но ведь я женщина и не могу не быть иногда банальной… Видишь, как он далеко заплыл.

— Теперь он стал на якорь,— сказал мужчина.— Я устрою ему тихую стоянку. И больше никогда его не трепанет штормами.

— Пускай он будет счастлив,— сказала женщина.— Пожалуйста.

Вот этот кораблик и лежал у Федора Ивановича на столе. И когда Федор Иванович заснул после телефонного звонка, ему

приснился сон. Будто плывут они на кораблике. Он, Федор Иванович, и женщина, которая когда-то нашла кораблик. Они плыли на этом кораблике по бурному морю, и женщина все время смеялась. Ей было почему-то весело. Потом женщина пропала. Федор Иванович оказался на обыкновенном судне. Судно шло во льдах за ледоколом. Федору Ивановичу было совершенно нечего делать, он болтался в рубке и рисовал на запотевших стеклах женский профиль — одним росчерком, одним пальцем. Это было единственное, что он умел рисовать. Следом за Федором Ивановичем ходил капитан и стирал женские профили широкими взмахами тяжелой ладони. Капитан был неприятный человек. Он смотрел зло и говорил:

— Вы, инженеры, не умеете играть в козла и все равно выигрываете у старых козлятников, у настоящих моряков. Это свинство. Нельзя заходить с двоечного дупля, если есть на руках пятерочный и еще три пятерки. Но вы заходите. Это серо и безграмотно. Но вы выигрываете.

Вокруг летало много чаек. Они кричали противно и жадно, и резко кидались вниз, когда судно, подминая льдину, выплескивало на лед воду с маленькими рыбками в ней.

— Это враки, что в чаек переселяются души погибших моряков,— все больше раздражаясь чем-то, сказал капитан.— Но жить им от этого вольготно и привольно. Нет никого на суше и море, кто бы охотился за ними и убивал их. Все жрут друг друга, а чаек не жрет никто. Им страшно повезло.

И именно в этот момент они увидели что-то яркое, пронзительно-красное впереди на льдах. Капитан поднял к глазам бинокль и неохотно засмеялся. На льдине бились три чайки. Все еще живые, истекающие кровью и именно этой кровью припаянные к льдине, примерзшие к ней. Кто-то с борта идущих впереди судов поупражнялся в стрельбе, выпалил по чайкам дробью.

И здесь на мостике откуда-то появился Кульчицкий и стал звать Федора Ивановича в «Восточный» ресторан.

— Миноги есть! Честное слово, миноги! В уксусе! Возьмем по две порции, объедимся миногами… У тебя денег нет? Чепуха! У меня есть. Знаешь, в платных поликлиниках неплохо зарабатывают эскулапы…

Федор Иванович проснулся около двенадцати часов ночи. В комнату светила луна, и очень громко тикали часы. Федор Иванович подумал о Рите, как она лежит в многоместной палате, среди других несчастных женщин, и, конечно, хвастается латиноамериканским послом и розами в целлофане. Откуда она такое выдумала? Ей бы романы сочинять. А вот там, возле Луны,

которая всегда светит только отраженным светом и крутится вокруг своей оси почему-то точно с такой скоростью, как и Земля, несется сейчас сквозь пустоту молчаливая и холодная ракета.

Федор Иванович закурил и подошел к окну.

Он очень долго, не думая ни о чем, смотрел на луну,— это была молодая, в первой четверти луна. Он смотрел на нее и вдруг почувствовал, как комната покачнулась и начала сниматься с якорей. Он не командовал: «Вира якорь!» Но комната стала сниматься с якорей сама, и ночь тихонько взбулькнула под днищем ее пола.

Тогда Федор Иванович сказал:

— Подожди немного, дорогая.

Он переоделся в пижаму, сходил в кухню и поставил чайник на газ. Потом сел к столу и включил приемник. Пока грелись лампы, он сверил показания часов и открыл крышку магнитофона, зарядил новую ленту и дал ей немножко пробежаться по бобинам.

Луна за окном насмешливо кривилась, посылая ему свою издевку через пустоту четырехсот тысяч километров. Федор Иванович добродушно ухмыльнулся ей в ответ. В ноль часов он принял сигналы времени, определил поправку хронометра и учел его суточный ход. Он знал, что надо точно привязаться к времени. Это для тех ребят, которые станут обрабатывать данные, если удастся принять сигналы ракеты.

Потом он заварил кофе, всыпал прямо в чайник и заварку и сахар, много сахару. Глюкоза должна была помочь ему в ночной драке. Затем тщательно помыл руки, даже потер ладонями по шершавой штукатурке над умывальником. В детстве он так счищал чернила с пальцев после диктантов. Он, кстати, так и не научился грамотно писать. Чертовски трудный язык выдумали его предки… Все это время он ощущал вокруг себя тихий сон жильцов квартиры, но, вернувшись в комнату, закрыл дверь на ключ, еще больше отделяя себя ото всех. Руки стали легкими и свежими и затаили в себе приятный холодок.

Приемник монотонно гудел, выкидывая на стол желтые полоски света.

— Поехали,— сказал Федор Иванович комнате.— Спасибо, что подождала.

Он положил слева от себя сигареты и спички, поставил на пол у ног чайник с кофе и на миг замер в неподвижности и тишине. Он понимал, что идет сейчас на опасное дело. Он хотел услышать в себе страх и побеседовать с ним и, быть может, даже поспорить. Но страха не было.

«Только бы не мутило,— подумал он.— Только бы не болел

затылок. Сиди тихо! — цыкнул он на осколок крупповской стали в своей голове.— Нам надо сделать кое-какую работенку, понял? Если они мне сегодня позвонили, значит, я им сильно нужен. А это не так уж плохо, когда ты кому-то сильно нужен. Они не требовали, они только просили меня. И тут уже ничего поделать нельзя, ты понял? Нужно принять сигналы из космоса, а я кое-что умею в этом деле; ты все понял, немецкий осколок, а?» — Он не первый раз разговаривал с осколком как с человеком. Это был враг, продолжительность вражды с которым как-то смирила обоих.

Федор Иванович щелкнул переключателем диапазонов и надел наушники.

Комната радостно набирала ход. Никто не видел волн, которые забурлили вокруг нее в ночи. Луна издевательски щурилась с темно-синего неба. Подвыпивший Петя Безбородко шел, цепляя слабыми ногами за булыжники, и орал: «Не кочегары мы, не плотники…» Он, конечно, забыл свое обещание починить кран. Дворничиха курила вместе с участковым, стоя возле деревянной ограды канала; гудели далекие буксиры в порту, дежурная сестра ругала женщин в Ритиной палате и велела им спать. Нэлька связывала оборвавшиеся нити в станках на текстильной фабрике за Нарвской заставой; бывший прокурор ворочался с боку на бок, нарастающая тревога, страх преследовали его по ночам. И все эти люди, их заботы и волнения стремительно проносились мимо Федора Ивановича куда-то назад, делались все меньше и наконец исчезли. Он остался один на один с бесконечностью мира. Под черную шкалу настройки вошла первая частота — 19,991 килоцикл. И сразу же, почти точно на этой частоте, заглушая все вокруг, пошли мощные сигналы Вашингтонской палаты мер и весов. Вашингтон давал эталоны времени телеграфом и телефоном. Надо было во что бы то ни стало отстроиться.

— Ничего, мы тебя обойдем, Вашингтон,— пробормотал Федор Иванович.— Как бы ты ни шумел, мы тебя все равно обойдем, и ты наберешь воды в рот и не будешь мне мешать.

«Он совсем малюсенький, наш шарик,— думал Федор Иванович о Земле.— Болтается где-то на самой периферии Галактики…»

Часа через полтора от выкуренных сигарет в груди хрипело, виски ломило, наушники нагрелись, и Федор Иванович неприятно вспотел. Он все время чувствовал, как прилипает к лопаткам рубашка. Он знал: сейчас следует выключить приемник и лечь, потому что приближается припадок.

Федор Иванович ощущал его приближение по появившейся

тошноте и слабости. Но он не мог выключить приемник, потому что все еще слышал надоедливые сигналы Вашингтона и слабые, затухающие позывные какой-то австралийской станции, слышал прерывистый шум и потрескивание эфира, знал, что тысячи других станций тоже работают на его частотах, просто видел всех этих радистов, которые, сдвинув наушники на виски, качаются у пультов на самолетах, ледоколах, танкерах и даже вездеходах в Антарктиде. Он видел их усталые лица, настороженные глаза и слышал их бесконечную просьбу дать квитанцию… Откуда они могли знать, что где-то прорывается в космос очередная ракета? Они не знали этого и ужасно шумели на всех частотах. Ужасно шумели все его дружки по работе.

Федор Иванович понемногу сдвигал частоты влево. Он сам не смог бы объяснить, почему ему чудилось смещение частот ракеты влево по шкале настройки. Но почему-то он был уверен в этом. Спокойно и методично он продолжал поиск. Так… Еще чуть левее, на один волосок, на тысячную килогерца… Теперь прибавить громкость… Так… Теперь включить фильтры… Нет. Ничего нет… Еще левее на сотую килоцикла… Напряжение как в уличных боях на фронте. Вообще, уличные бои — это даже не война, это уже черт его знает что… Мешанина из трупов в подвалах, неразбериха и полное отсутствие связи, и только что отбитый у немцев квартал, накрытый залпом своих «катюш», и слепая драка на втором этаже, когда на первом и третьем полным-полно эсэсовцев, гам, грохот, свист, кирпичная пыль и ни капли воды в водопроводных кранах.

…Комбат, с разбитой кирпичом головой, топал ногами и требовал немедленной связи с полком. Немцы взорвали здание электростанции. Под развалинами станции погибли четыре штурмовые группы. Разведка не предупредила, что станция подготовлена немцами к взрыву. Хоронясь за руинами, подошли три «фердинанда», отрезали наших от полка и били теперь прямой наводкой, в упор, обрушивая этаж за этажом дом, где засели остатки батальона. Радист был убит, рация пробита осколком. И чтобы ее наладить, требовался обыкновенный паяльник. Паяльник, вернее, был, но его следовало раскалить. Комбат орал, топал ногами и размазывал по лицу кровь и кирпичную пыль. У Федора Ивановича дрожали руки, он перенапряг их, когда спускался с третьего этажа по лестнице, на которой не было ни одной ступеньки. Только остатки арматуры. А за спиной при этом висела рация. А сверху на него глядел мертвый радист и раскачивался, зацепившись ногами за балку. Снаряды «фердинандов» ахали ближе, штукатурка забивала глаза, комбат орал и топал ногами. Федор Иванович раскладывал

костерчик в ванной комнате, в сухом умывальнике, и старался сдержать дрожь в руках. Нельзя паять концы конденсаторов, если дрожат руки. Футляры зубных щеток и мыльницы горели хорошо и жарко, но их было мало. Он обливал щепки бензином из огромной трофейной зажигалки и совал щепки в умывальник. Паяльник начинал нагреваться. Старший лейтенант Камушкин вдруг вспомнил отца. У отца никогда не дрожали руки. Отец никогда не повторял чего-нибудь дважды и не умел вздрагивать. И никогда не торопился оглядываться, когда его окликали. Отец был настоящий мужчина. И в этом не могло быть сомнений. Сейчас бы у отца не тряслись руки. И вообще, он бы знал, что делать, если в тыл зашли самоходки, а связи нет. А снаряды рвались все ближе, и в живых от батальона оставалось только восемнадцать человек. Их судьба зависела от паяльника и количества бензина в трофейной зажигалке, и еще от рук командира взвода связи, старшего лейтенанта Камушкина. А Камушкин во всем этом аду вспоминал своего отца и то, как отец говорил: «Мать, десятого сентября я еду в командировку». Он говорил такую фразу пятнадцатого августа за обедом. И считал разговор исчерпанным. Десятого сентября отец пропадал. Никто, конечно, не помнил мельком сказанного им чуть не месяц тому назад. Мать тревожилась, начинались звонки и розыски, а отец уже был далеко. Он считал, что вполне достаточно сказать один раз… Камушкин наладил рацию, когда снаряд разорвался над ванной комнатой. Стало темно от газов и пыли. Закрывая своим телом оживленную рацию, он стал вызывать «Коробок».

Осколок нашел его голову, когда с «Коробком» все было в порядке. Осколок вошел в затылок и сразу сделал мир вокруг беззвучным на очень долгий срок — на тридцать девять дней. Но старший лейтенант успел дать связь. И первое, что он вспомнил уже в далеком тылу, в госпитале, был дикий и хриплый крик комбата: «Связь! Дай связь! Связь! Связь! Связь!..» Всю жизнь он занимается тем, что дает людям связь. Люди не могут без нее жить…

* * *

Я писал эту повесть много-много лет назад в Ленинграде и в Пицунде. Мучился ужасно. Мой герой радист по ходу дела должен был принять участие в уличных боях. Сам я ни в каких боях участия не принимал, материала не знал и писал развесистую клюкву широкими, но жидкими мазками.

В промежутках валялся на горячей гальке у подножий

реликтовых сосен и терзался творческими сомнениями. Мне срочно нужен был какой-нибудь отчаянный воин, который прошел уличные бои и медные трубы. Этот воин, по моим предположениям (из-за врожденной и неизбывной лени), обязан был появиться рядом со мной сам собой на пляже и дать консультацию без сопротивления, но и ненавязчиво.

И консультант появился. Это был мужчина турецко-арабской внешности с чалмой из мохнатого полотенца на голове и фантастическим шрамом поперек всей широкой спины. Мужчина часто вскакивал с лежака, рыскал вдоль слабой извилистой полосы прибоя, собирал заковыристые гальки, бдительно рассматривал их и складывал в пирамидку возле изголовья.

Я набрался нахальства, спросил о шраме: боевое происхождение или нет?

Оказалось, вполне боевое.

Тогда я признался, что сочиняю подвиги литературному герою и что позарез требуются детали уличных боев. И получил надобное полной мерой.

Так мы познакомились с Эрнстом Неизвестным.

Потом я часто бывал в комнатке, которую скульптор завалил камнями. Неизвестный учился у обкатанных тысячелетней волной галек неожиданности их и странности, и пластичности форм; и тому, что называют «беззвучным криком».

Ведь изваяние, если оно художественно, вечно окружено вопросительностью, беззвучными словами, стенаниями, криками и напевами.

Не помню, кто из художников сказал: «Голос материала внушительнее голоса человека, надо создать на полотне или в мраморе ту тишину, в которой этот голос может быть слышен».

Сотни рисунков, акварелей, контурных набросков небрежно валялись на полу в комнате Неизвестного среди причудливых галек. Глядя на все это, я понял, что человек со страшным шрамом на спине умеет работать так, как никогда не смогу работать я.

Думаю, Эрнст Неизвестный единственный гений, которого я встретил в жизни.

Спустя много лет после поездки в Сибирь меня занесло в Москву на кладбище Донского монастыря. Там старый, ныне не действующий крематорий.

Мне где-то надо было убить время, и я бродил между надгробиями.

Надолго остановился возле скульптуры обнаженной девушки, которая выдвигалась из глыбы белого мрамора. Одна ее рука безвольно висела, другая тянулась к волосам, будто надеясь

облегчить гнет их мраморной тяжести.

Чувствовалась работа большого, вдохновенного ваятеля. Правда, художник метал бисер перед свиньями. Живой мрамор был укутан богатыми хозяевами в прозрачную, пластиковую пленку. Такие применяются для занавесок в ванных комнатах. Владельцы надгробия уберегали его таким способом от ядовитого влияния городской атмосферы.

— Нравится? — спросила кладбищенская уборщица.

— Да.

— Это Неизвестный,— сказала уборщица с почтением.— Вон там, за братским огнем и вечной могилой, есть еще его статуя. И с подписью.

— Объясните, пожалуйста, как туда пройти,— попросил я.

— Провожу, если красивое любишь.

Уборщица провела мимо Вечного огня на братской могиле солдат, защитивших Москву, и указала еще на одно надгробие, сработанное Неизвестным.

Это опять оказалась молодая женщина. Она прожила на свете всего тридцать лет. На постаменте была выбита эпитафия: «Светя другим — сгорела».

— Наверное, на пожаре погибла,— сказала уборщица.

Я взглянул на нее, подразумевая черный юмор. Но уборщица говорила задумчиво и грустно…

*

Больше мы с Эрнстом никогда не пересекались. Хотя нет! Юрий Карякин подарил мне рисунок тушью. «Черное солнце» (мысли об убийстве), 1967 год. Это профиль Раскольникова, который идет убивать старуху. Верхняя часть профиля на фоне черного диска…

На этот рисунок я стараюсь не глядеть, ибо он предсказывает всем нам нечто весьма дрянное в грядущей вечности.

9

Светало, листва тополей серела, в квартире было совершенно тихо, высокая труба за дальними крышами не дымила, стояла ленивой и тяжелой, стекла окон противоположного дома были густо темны той темнотой, которая рождается только в одиночестве пустых казенных комнат, среди канцелярских столов и проволочных корзин для мусора под ними.

Сигналов ракеты не было, но иногда Федору Ивановичу начинало мерещиться слабое сгущение эфира на 19,990 килоциклах. Это сгущение надо было проявить и усилить. Федор Иванович пробирался сквозь эфир, раздвигая его руками, все дальше и дальше проваливаясь в бесконечность. Сигналы, идущие из космоса, влекли его за собой. Он уже не принадлежал себе. Звездные дали смыкались позади него. Он шел туда, откуда пришли все мы. Нам почему-то не бывает жутко думать о том, что в прошлом мы были оболочкой сверхновой звезды, а потом роились в черноте Вселенной звездной пылью миллиарды и миллиарды лет. Но нам жутко думать, что когда-нибудь мы опять станем холодной пылью и опять будем нестись в пустоту, завихряясь в гравитационных полях неведомых светил и планет. Земля остынет, рассыплется в пыль, и мы, похороненные в ней, станем этой пылью. Красные, синие, оранжевые немигающие солнца будут светить во мраке. И они уже сейчас светят этой ракете. И сигналы ракеты надо принять во что бы то ни стало оттуда, из будущего и прошлого сразу.

Чувство нереальности у Федора Ивановича усиливалось. Он вспомнил госпиталь и странное состояние обозленности на врачей, нянечек и сестер. Казалось, что они специально несут ему обострение боли и издевательство. Иногда ему казалось, что это немцы, что он в плену, что мучают его нарочно. В минуты прояснения ему становилось совестно, он боролся с подступающей ненавистью, но не мог побороть ее, и это было мучительно. Однако самым страшным, кроме, конечно, боли, которая держала его в своих руках целых шесть месяцев, были ночные бреды. Ему мерещилось, будто он начинал медленно распластываться на потной простыне. Его голова утончалась первой, она делалась плоской и тонкой, как кора березы. И начинала загибаться, как загибается кора березы в огне и жаре костра. Потом начинало утончаться все его тело. Но ему не было жутко. Только любопытно. Иногда и теперь еще ему казалось, что он успел познать что-то высшее, совершенно неизвестное остальным людям. Он видел себя со стороны, глазами своего второго «я». Страх наступал потом, после окончания бреда. Страх потери разума — сумасшествия. Это было еще страшнее смерти, хотя бы потому, что он уже прошел через смерть, познал ее.

Однажды Федор Иванович проснулся, когда в палату вошли врачи на утреннем обходе. Он слышал их голоса, чувствовал свет солнца, которое просвечивало его закрытые веки, и слышал стоны и жалобы раненых. Ему совсем не было больно. Впервые за много недель. Он хотел открыть глаза и не смог. И ему было безразлично то, что он не может открыть глаза. «Паралич век»,—

подумал он как-то со стороны. Захотел поправить сползающее одеяло. Но не смог шевельнуть рукой. «Забавно,— подумал он.— Почему же я слышу?» Он четко слышал нарастающий говор врачей, приближающихся к нему по кругу палаты. Великий покой и отсутствие всякой боли были в нем.

— Как этот?

— Плох. Очень. Всю ночь бился и бредил.

Чья-то рука сжала его запястье.

— Кончается. Сестра, распорядитесь.

Ему хотелось сказать, что он жив еще. Но не было сил, а может, ему было просто невыносимо лень сказать: «Я жив еще». И потом он все время понимал и помнил, что много раненых лежит прямо на полу в коридоре, потому что госпиталь переполнен. Сразу после него сменят постельное белье, и кто-нибудь другой облегченно вздохнет и вытянется, попав на нормальную койку. Ведь он-то кончается. Ему было так покойно! Он не хотел изменений в своем состоянии. И потом он ничего не мог сказать. И ничем не мог двинуть. Как будто отлежал ноги, руки, и губы, и язык.

Федора Ивановича перенесли на носилки. Он услышал голос Воронцова — соседа по койке, майора-танкиста:

— Авторучку я возьму. На память. Хороший был парень…

И понял, что Воронцов сказал это про его авторучку. И ему захотелось улыбнуться от сознания своего великого превосходства над Воронцовым и всеми вокруг. Но он не мог и этого.

Его понесли.

И все стало еще дальше уходить от него. Огромное одиночество, которое смыкалось вокруг него, было родным и близким. Потом его стащили на каменный пол в подвале. Чудовищность боли, которая ударила по всему телу, чудовищность страдания, нестерпимость страдания были так велики, что он прорвал покой и тишину, в которые погрузился, слабым криком.

Через несколько минут он лежал на операционном столе — и остался жить. Его спасла боль.

«Все-таки очень славно, что она спасла меня тогда,— подумал Федор Иванович.— Страх тоже ограждает и спасает людей. Без страха мы бы все давным-давно погибли, мы бы шли прямо на автобус и хихикали при этом, и автобус переезжал бы через нас. Веселенькая была бы жизнь! Но и страх и боль сами могут убить, если они станут слишком большими. Боль убивает тело, страх — душу. И, кто знает, где кончаются границы блага, которые они несут с собой?

А сейчас надо вспомнить заливные луга и испуганных лошадей, несущихся по росистой траве, их трепетное ржание и легкий пар из раздутых ноздрей, и огромное спокойствие реки, текущей навстречу лошадям. Надо вспомнить детство, в котором так мало боли и осознанного страха…»

В этот момент он первый раз услышал позывные ракеты. Вернее, он не услышал их, а почувствовал. Его мозг, его слух, весь он вдруг напряглись и застыли в этом напряжении. И Федор Иванович, и приемник, его лампы, конденсаторы и сопротивления, и антенна — все это стало одним напряженным до крайности ухом, обращенным к Луне, к бесконечности. Они слышали сигналы не больше десятой доли секунды, потом опять все пропало, и медленно стала спадать судорога напряжения. В душе Федора Ивановича наступила радость. Теперь он не сомневался, что победа будет за ним. Но голова болела очень сильно, и все могло случиться, и потому он заставил себя встать, отвлечься от приемника. И написал несколько слов Нэльке: Рита находится там-то, ей следует отнести то-то. Потом он свернул Ритино белье и платье, запаковал их. Мягкие женские тряпки поддавались его рукам непривычно и легко. Аккуратно складывая их, он, подумал, что его кюэсельки Рита рано или поздно, но выкинет. Она ведь никогда не сможет понять, как много они для него значили.

Комната покачивалась среди светлеющей над землей ночи, и комнате нельзя было дать остановиться.

Федор Иванович вернулся к приемнику и надел наушники. Он сразу же вошел в ритм поиска, работы. И вспомнил Риту, совсем маленькую, на плечах отца среди шумливой и веселой первомайской демонстрации. Вспомнил, как тихо и невыносимо скорбно колебалась эта толпа среди страшного мороза, среди пара и коротких печальных вскриков. Он вспомнил дымные и красные пятна костров, серые от инея кремлевские стены, низкое и безнадежное зимнее небо. Это было, когда хоронили Ленина. Отец нес его на плечах, высокий и сильный, с заледеневшими усами, сухими глазами и тугими, морозными скулами. Отец держал его за щиколотки большими и жесткими руками без рукавиц. Федору было тогда четыре года. Но все помнилось с полной отчетливостью. Так огромна, величава была скорбь людей, такая сила и мощь сплочения были в толпе, что даже четырехлетний мальчишка мог что-то понять и запомнить на всю жизнь…

Последний раз они с отцом встретились в камере следователя. Федора ввели в кабинет. За столом сидел дядя Костя, знакомый с детства, веселый и затейливый дядя Костя. Это

было как гром, как бомба, как вспыхнувшее в полночь солнце. Если здесь дядя Костя, значит все станет сейчас простым и легким и кончится весь ужас и тоска последних недель, недель после ареста отца. И стал слабеть тусклый, холодный страх, который держал его в коридорах этого здания. И захотелось кинуться к дяде Косте, обнять его, спрятаться за него.

— Какое счастье, что ты здесь! — растерянно и радостно сказал Федор, продолжая, однако, стоять у порога, не решаясь ступить дальше.

— Проходите, Федор Иванович,— сказал дядя Костя незнакомым, усталым голосом.— Садитесь.

Так Федора в первый раз в жизни назвали по имени и отчеству. Он прошел и сел. Дрожь, и тусклый страх, и внутренний холод вернулись, ноги ослабели.

Дядя Костя закурил и сжал челюсти, на монгольских скулах вспухли и опали желваки.

— Эх-ма,— промычал он через стиснутые зубы.— Из института уже выгнали?

— Да,— сказал Федор.

И оба долго молчали.

— А как вы… здесь… оказались? — наконец спросил Федор. Ненависть начинала закипать в нем, забивать страх и удивление.

— Курить не начал еще? — спросил дядя Костя и протянул пачку папирос «Беломорканал».

— Я лучше сам на Беломорканал пойду, чем у вас папиросу возьму,— сказал Федор, понимая, что все сейчас кончится для него на этом свете, понимая, что за монгольскими скулами человека напротив стоят огромная воля, и беспощадность, и власть.

— Не куришь, значит?.. Правильно. Чем позже начнешь, тем здоровее будешь. И… держи себя в руках, Федор Иванович.

Тут дверь отворилась и вошел отец, один, без конвойных, как будто вернулся с работы. Очень похудевший, в нижней рубахе под пиджаком, выбритый. И без усов. Федор первый и последний раз видел отца без усов.

— Проходите, Иван Иванович,— сказал дядя Костя тем же незнакомым, усталым голосом.— Садитесь.

Отец прошел к стулу напротив Федора и на ходу провел рукой по волосам сына.

— Здравствуй, Федор,— сказал он и сел, положив руки на колени.

— Пять минут,— сказал дядя Костя и вышел в заднюю дверь кабинета, бросив на стол папиросы и спички. Отец сразу же, торопливо взял папиросу и закурил.

— Откуда он здесь, отец? — спросил Федор.— Отец! Отец! — Он хотел встать и обнять отца, первый раз в жизни он понял, как бывает необходимо обнять человека, если любишь его и он в беде.

— Сядь! — приказал отец властно и приложил палец к губам. И продолжал прежним спокойным голосом: — Товарищ Кузнецов здесь давно работает.— Как мать? Рита?

— А мы тебе с передачами записки посылаем,— сказал Федор.— А ты не получаешь их? Мы тебя очень любим, отец, если б ты только знал, как! И мы знаем, что скоро уже все выяснится… И мать держится молодцом…

— Товарищ Кузнецов сделал мне большую любезность,— сказал отец.— До конца следствия свидания запрещены. Он вызвал тебя по моей большой просьбе. Просто ты мог бы не всему поверить, если б услышал это не от меня лично…

— Чему поверить, отец?

— Всему, что я скажу. Да, о матери и Рите… Ты теперь всегда будешь один отвечать за них… Да, но я не о том… Тебе придется официально отказаться от меня, Федор! Я виноват. Я совершил поступки, предающие наше дело. Вольно или невольно, но я стал врагом народу и понесу за это кару. Больше того, я сам, сознательно играл на руку врагам. И как бы меня ни наказали, это будет справедливо,— он говорил спокойно и холодно.— Ты все понял?

Отец смотрел в упор, жадно и настороженно, ожидая чего-то. Быть может, ждал, что Федор вскочит и закричит: «Врешь! Я не поверю! Врешь, отец!» Быть может, боялся, что сын поверит сразу и сразу решит простить.

Но для Федора всего этого оказалось слишком много. Стены двинулись круг него, безусое лицо отца вдруг приблизилось, чужое и страшное лицо.

— Уйди! — закричал Федор.— Убирайтесь все! Предатели!

Наверное, на минуту он потерял сознание. А когда стены остановились, отца уже не было. И казалось, что это был только кошмар, сон, и сейчас должно наступить утро, и он проснется, и все будет обыкновенным и домашним. Но рядом стоял дядя Костя со стаканом воды и говорил:

— Держите себя в руках, Федор Иванович. Я вас предупреждал: держите себя в руках. Так. А теперь прочтите и подпишите.

Буквы на бумаге прыгали перед глазами Федора, он не мог остановить их, он просто подписал внизу страницы.

— Идите,— сказал дядя Костя.— С институтом, я думаю, у вас все будет в порядке. И молчать обо всем, что видели и слышали здесь. Вы дали расписку и в этом.

Вероятно, он дал тогда расписку в очень многом. Поэтому его и вернули в институт. Поэтому через год его приняли в партию. Он отказался от отца. Он поверил, что отец — враг. Отец никогда не лгал. И если он сказал сам, сомнений не могло быть ни в чем. Отец, конечно, никогда не был никаким врагом. Ни вольно, ни невольно. Но он слишком знал своего сына-комсомольца, потому что сам растил из него большевика, и не хотел, чтобы малейшая тень неправды и несправедливости смутила веру сына в то дело, которое еще долго предстояло делать на планете большевикам. Вот и все. Отец предпочел умереть, навсегда оставшись в глазах сына предателем, нежели дать сыну повод для малейшего сомнения.

«Эх, отец,— думал Федор Иванович.— Даже ты мог ошибаться. Даже тебе не хватило мужества для правды. А разве можно хоть чего-нибудь добиться ложью? Эх, отец! Как страшно было тебе умирать, какую высшую из всех высших мер муки ты принял. И все напрасно, потому что лгать нельзя, отец. Ты боялся навредить правдой своему же делу. Так не пойдет. Так больше не повторится. Самый опасный из всех поворотов позади. Поезд миновал его и не сошел с рельсов. Меня не выгнали из института, меня не преследовали, мне верили, и, быть может, я принес пользу. Все потому, что ты солгал мне. Но глубоко во мне все это время жила тоска, и жизнь моя была окрашена ею. И как ни ужасно вымолвить, но и ты виноват в этом, потому что ты солгал».

10

Федор Иванович опустил руку под стол, привычно нащупал ручку чайника, поднял его и пососал из носика густой от сахара кофе. Кофе кончался. Надо было встать, сходить на кухню и заварить новый. Но где-то слишком близко пульсировали сейчас сигналы ракеты, Федор Иванович подбирался к ним вплотную. Он уже отстроился от всех станций. Оставалось совсем немного. И, главное, было уже ясно: она жива, эта ракета, она подает сигналы. Наверное, не один он такой опытный и умный, наверное, еще кто-нибудь подбирается к ней вплотную. Но все равно нет времени заваривать новый кофе, хотя он и нужен для успешной работы… Несколько минут Федор Иванович взвешивал все за и против, старательно пытаясь быть объективным.

— Брось, Федор,— сказал он наконец вслух.— Обойдешься без кофе. Тем более — это вредный наркотик.

Он посмотрел на впалый живот луны и погрозил ей пальцем.

Он не сомневался в том, что победит ее. Ракета сейчас где-то рядом с ней. Ракета летит и сверкает на солнце. Куда? Скоро он поймает ее сигналы. И они больше никуда не смогут убежать, потому что коричневая лента магнитофона зацапает их навсегда.

— Вперед, Федя,— сказал Федор Иванович.— Победа будет за нами. Как это поет Рита?.. Летчики, пилоты, бомбы, самолеты, вот и улетели вы в далекий путь.— И он увеличил громкость, глядя на маленький деревянный кораблик перед собой и вспоминая прошлые свои далекие дороги и густые от ветра штормы, и аварийные посадки самолетов, и успехи в своей работе, и схемы новых радиопередатчиков, на синьках которых стояла и его подпись. Потом он вспомнил морского льва Ваську. Ваську везли в Одессу. Он сидел в стальной клетке на палубе и часто купался в бочке с водой. Ваську любили и таскали ему рыбу. Васька был надменный и делался все надменнее и грустнее, чем дальше уходили за корму его родные места. Случился шторм. Крепления Васькиной клетки стали рваться, но вода шла накатом через палубу, все обледенело, и пройти к Ваське было опасно. А клетку надо было открыть, чтобы лев мог выбраться на волю, когда она сорвется за борт.

Федор Иванович представил себе тяжелую, беззвучную, темную, как вишневый джем, воду и медленное падение сквозь эту воду нелепой, громоздкой клетки с надменным Васькой в ней. Представил молчаливую муть, которая поднимется с илистого грунта, когда клетка с Васькой неторопливо коснется его. Придонное течение снесет муть в сторону, вокруг Васьки просветлеет, ни гул, ни грохот шторма над океаном не дойдут туда. Грустный и надменный Васька обрадуется, попав в родные места, и рванется всплыть, но ткнется головой в стальные прутья клеточного потолка. Еще десять, пятнадцать, двадцать минут — черт его знает, сколько может жить морской лев без воздуха — Васька будет метаться по клетке в страшном одиночестве на океаническом дне, задыхаясь и шевеля редкими жесткими усами, потом начнет слабеть. И вечно молчащие глупые и жестокие рыбы, которых всю жизнь ел Васька, соберутся возле его клетки и будут неподвижно висеть за прутьями, таращить на него глаза, чуть пошевеливая жабрами и хвостами.

Федор Иванович обвязался концом и попробовал пробраться к Ваське через штормовой накат по обледенелой палубе. Его швырнуло на стальной трап под полубаком. Открылась старая рана. Тогда и начались опять боли, тошноты и обмороки. И больше уже никогда Федор Иванович не плавал. А Васька все равно рухнул за борт в закрытой клетке и погиб там, в глубине на дне Атлантического океана. На дне океана все так же беззвучно,

как и в космосе. Когда где-то в Галактике рождаются и гибнут звезды, когда гигантские взрывы раскидывают на миллиарды километров материю, то все это происходит в абсолютной тишине. Очень страшно беззвучие космических просторов…

И тут он услышал сигналы ракеты.

Сигналы становились все четче и сильнее.

Федор Иванович наконец встретился с ними.

Они сближались, как истребители в лобовой атаке, и никто никуда не мог теперь отвернуть. Федор Иванович протянул руку к магнитофону и запустил его, лента пошла через бобины медленно и тягуче. Все вокруг этой ленты неслось сейчас с ужасающей скоростью, и только она тянулась по-земному медленно.

Федор Иванович раздельно и четко произнес, не отводя глаз от ленты: «Сигналы ракеты! Ноль часов сорок три минуты шестнадцать секунд. Время Гринвича. Радист Камушкин».

«Тиуа… Тиуа… Тиуа»,— неслись из-за луны непонятные кусочки непонятной энергии.

«Журчащий тон из-за отражений сигналов в космосе»,— подумал Федор Иванович с некоторым сожалением. Но даже это сожаление не могло ослабить усталой радости. Он всходил сейчас на бесконечно высокую трибуну победы, вокруг бились на ветру знамена. Острая боль ударила ему в затылок, но не испугала его. Глянцевитая поверхность стола с бликами от шкалы настройки приемника, с чернильным пятном у края поднималась на него косо и тяжело. «Очевидно, я на ледоколе,— подумал Федор Иванович.— И сильнющий шторм. Только ледоколы так тяжело и глубоко качаются. Надо упереть ноги в переборку, иначе меня выкинет из кресла и я собью настройку. Очень сильный шторм. Пожалуй, я еще не попадал в такой. Но все равно — пусть будут счастливы мокрые корабли, которые идут сквозь него…»

Все это он успел подумать за несколько десятых секунды, пока его голова падала на неподвижный стол. Вокруг сгрудилась тишина спящей квартиры. Только на кухне редко, взбулькивая, капала из поломанного крана вода, чуть слышно шуршал магнитофон, протаскивая по валикам коричневую ленту, а из приемника все вырывались сигналы ракеты. «Тиуа… Тиуа… Тиуа…» — записывал магнитофон. Радиоволны, найденные Федором Ивановичем, никуда больше не могли исчезнуть.

«Тиуа… Тиуа… Тиуа…»

Сигналы стали слабеть и постепенно затухли, кончилась лента в магнитофоне, на улице с рассветного неба, из насквозь просвеченной солнцем тучки, прошел короткий и веселый утренний дождь. И первые трамваи ясно закраснели чисто

омытыми боками, хотя дождь и был очень слабый, редкий.

…Федор Иванович пришел в себя около шести часов утра. Он увидел очень близко, а потому странно и непонятно выглядевшую синюю расплывшуюся лужицу — чернильное пятно. И первое, что подумал, было — щеку измазал…

Он медленно поднял голову, и, хотя боль в ней не прошла и глаза резало, все вокруг прерывисто кружилось, Федор Иванович понял, что жизнь продолжается, что это только обморок, только некий перерыв постепенности; что ледоколы ушли куда-то дальше, не взяв его с собой.

— Славно,— тихо сказал он сам себе и огляделся с настороженностью, но не увидел следов рвоты. И это утешило его.

— Славно,— повторил он.— Воды надо выпить…

И тут только вспомнил о ракете, о нарастающем звуке ее сигналов, о странном ощущении связи с прошлым и будущим сразу.

— Принял,— вспомнил и сказал он, трудно шевеля совершенно пересохшими губами.— Ишь, нёбо-то — совсем наждаком стало…

Он прислушался. Квартира еще спала, никто из жильцов не встал, чтобы идти на работу, никто не мылся, не готовил на газе утренний завтрак, не переругивался; никто из них не знал и никогда не узнает обо всем, что произошло здесь, совсем рядом с ними, этой ночью. Они тихо спали, а Федору Ивановичу пришлось побывать за это время так далеко, как только может побывать смертный… Он услышал глухой рокот внутри приемника, взглянул на часы, понял, что приемник здорово устал за ночь, и выключил сеть. Потом включил магнитофон… Долго слышалось невнятное шебуршание, потом его собственный голос: «…Сигналы ракеты! Ноль часов сорок три минуты шестнадцать секунд… Время Гринвича. Радист Камушкин…» И наконец — «тиуа… тиуа… тиуа…»

Он слушал эти «тиуа», пока они не стали слабеть и не смолкли совсем. И все это время смотрел в окно на провал в кирпичной стене на острове Новая Голландия, на темные пятна галочьих прошлогодних гнезд в ветках старых тополей. И ему становилось все лучше и лучше. И когда кончилась лента в магнитофоне, он вспомнил Риту. Тревога за нее, впервые с тех пор как они расстались, возникла в нем с полной силой.

— Надо идти, Федя,— сказал он.— Надо, дорогой.— Он очень жалел сейчас себя, он с полной отчетливостью понимал, что заслужил отдых, сон, тишину, беззаботность, но не мог себе этого позволить.

— А когда-нибудь я мог себе все это позволить? — сказал он опять вслух. И встал. Комната, карта на стене, диван-раскладушка, умолкший приемник, чайник с кофе, фотография горящего немецкого «фердинанда» с девушкой-сандружинницей возле него, деревянный кораблик, стеллаж с пыльными книгами — все это медленно двигалось вокруг Федора Ивановича, но он уже был в силах сосредоточить себя на этом вращении и остановить его.

— Так-то вот,— пробормотал Федор Иванович. Он прошел к двери, отпер ее, вышел на кухню и долго, жадно пил воду прямо из-под фыркающего крана. Вода текла ему за ворот, щекоча грудь и живот. Потом Федор Иванович смочил голову, и уже вспомнил про то, что хочется курить, и обрадовался этому желанию. К телефону он пробирался вдоль стены, опираясь на нее, но шершавость некрашеной штукатурки была приятна пальцам и утешала, радовала. В этой шершавости была сухость и жесткость земли.

Ответили сразу. Федор Иванович сказал, что сигналы ракеты были приняты им в ноль часов сорок три минуты по Гринвичу…

— После ноля проходимость волн улучшилась,— ответили ему.— Большое спасибо. Сдадите запись завтра до полудня.

Федор Иванович повесил трубку.

*

На Мойке возле роддома двое рыбаков копались в моторной лодке, готовились выйти на Неву за корюшкой. Больше людей нигде не было видно. Только пустынные, влажные после недавнего дождя набережные, покойное течение мутной воды, тусклый блеск крыш. Парадная роддома была заперта. Федор Иванович долго стучал в нее, пока не нашел звонок. Отворила сонная сестра, подняла страшный крик, ругала мужей, которые совсем уже с ума посходили. Федор Иванович не возражал, наоборот, даже сам говорил, что он муж, пришел узнать о жене, требовал допустить его к дежурному врачу во что бы то ни стало. Был он, вероятно, сильно бледен и машинально все поднимал руку, прикладывая ее к затылку. И его пустили.

Дежурный врач долго ничего не мог понять, таращил через стекла очков глаза. Потом выругался и спросил:

— Это она сама вам сказала, что после рожать не сможет?

— Она,— сказал Федор Иванович.

— Дорогой мой,— сказал врач.— Мы еще ничего не делали, и, если хотите, можете с ней на эту тему поговорить. Но уверяю,

если она захочет, то и после этого может матерью-героиней стать.

— Спасибо, доктор,— сказал Федор Иванович.— Но зачем ей врать было? Вот этого я никак не пойму.

— Плохо женщин знаете, дорогой мой,— сказал врач.— Как же они без фантазий, это я мягко говорю, жить будут? На том и стоим. Кстати, слышали: ракету куда-то опять запустили?

— Слышал,— сказал Федор Иванович.

Он вышел на Мойку и увидел, как моторка зачадила синим дымом, побежала вниз по течению, волны тихо взбулькнули под гранитными набережными. И ему невыносимо захотелось самому уйти куда-нибудь в тихий простор Финского залива, сидеть на низком борту, ловить корюшку и совершенно ни о чем не думать.

1961

Критика на критическое послесловие Игоря Золотусского

«Как автомат, как заведенный автором робот, совершает свои поступки Федор Камушкин.

Отец хочет спасти веру сына. Делает он это тем, что убивает веру в себя. Но для сына вера — это и есть отец, такие люди, как отец. Он юноша, и он верит в людей, а не в идею. И если ложью, обманом оказался для него любимейший человек, то как он может верить в других таких же людей. Никакого покоя, о котором мечтает для Федора отец, у него не будет. Этим признанием он убьет сына навсегда. От мук совести, от подозрительности, от ощущения неполноценности ему не избавиться.

Но Федор у Конецкого поступает, как мог поступить только опытный карьерист, циник, не юноша, у которого вчера отняли веру.

Литературный герой Конецкого не выдерживает подлинной трагедийности. Он еще забавен, еще похож на себя, когда надо воевать со штормами или острить по поводу пошлости пошляков. Но нагрузка исторических чувств для него обременительна.

Он тут же ищет помощи на стороне.

Он не может стать на место радиста Камушкина, пережить происшедшее с ним, как пережил бы сам Камушкин, а не кто-то другой. Он конструирует его по своим литвоспоминаниям, по образу читанного, а не пережитого.

И на Камушкина надевается маска „маленького человека“. Камушкин — это Акакий Акакиевич, пострадавший не от „значительного лица“. Акакия Акакиевича спасала шинель. Камушкина — его передатчик. Через него он приобщается к мировым событиям, как Акакий Акакиевич приобщался к жизни Невского.

И живет он в таком районе Ленинграда, „…в тех местах, которые никогда не попадают на видовые открытки, где все еще много сырой тишины, запаха грязной воды, где берега каналов не забраны гранитом…“, где может жить только Акакий Акакиевич (Забавно, что своего героя я поселил в собственном доме на канале Круштейна, 9, кв. 19.— *В. К.*), и фамилия у него — *Камушкин*— почти Башмачкин, и так же он любит свою работу ключом, как Акакий Акакиевич любил чистописание. («Работу ключом» ни один радист не любит — от нее мозоли на пальце, радисты любят ЭФИР и работу в нем.— *В. К.*)

И из этих-то тесных улочек, необлицованных старых набережных выплывает комната Камушкина в океан, неся на своей палубе „маленького человека“, которого не убила история.

Как это трогательно правдоподобно и симпатично лживо!

Эволюция героя Конецкого неизбежна. Грубый и лихой вчера, он сегодня требует жалости к себе, сочувствия, понимания его несостоявшейся судьбы. Мужественность и твердость слетают с него, как пыль. Чувствительно-печальными символами украшает он это требование.

На столе у Камушкина стоит маленький кораблик. Он подобрал его на острове в далеком северном море. Когда-то мальчишки пустили его в плавание, он мотался по свету, и вот его выбросило здесь.

Его увидела женщина, с которой плавал и которую любил Камушкин. Любви, конечно, не получилось (иначе Камушкина не за что было бы жалеть). Но кораблик остался как воспоминание о странствиях по большим морям.

Камушкину даже снится сон, что живет он с женщиной на кораблике, и, хотя кораблик маленький, „не всем маленьким суждено маленькое плавание“.

Литературщина поражает изнутри талант Конецкого. Она поселяется в нем как пустота, которую он должен чем-то заполнить. Эта пустота — недостача пищи действительной. Исчерпав имеющийся в его распоряжении опыт, талант обращается к новому опыту. Он может искать его в сферах для него новых, которые, когда он пройдет через них, сделаются его сферами. Он может возвратиться „на круги своя“, то есть в ту область, которой он до сих пор питался. Он может, наконец, оставаясь в этой, знакомой ему области, попытаться понять жизнь, им не пережитую.

И он поймет ее, если его опыт хоть как-нибудь походит на тот, на который он теперь обратил внимание. Если же этот опыт чужд его опыту, попытки его окажутся безрезультатными.

„Не обязательно жариться на сковородке, чтобы понять чувства шницеля“,— говорил Горький.

Но что-то подобное чувствам шницеля все же надо испытать.

Человеку, пережившему драму, трудно возвыситься до трагедии. Он и трагедию будет трактовать как драму, свой малый опыт как опыт большой.

Литературщина, которой страдает вся „молодая“ литература, — не вина, а беда ее.

В полукнижной жизни и в прежних героях литературные ассоциации были уместны. Это был почти их мир — наполовину живой, наполовину вычитанный, и он не мог обойтись без книг.

Литературщина сходила там, где сами чувства были заражены литературщиной.

Она закричала о себе, когда дело коснулось чувств, ничего общего с ней не имеющих.

Так кричат о себе схемы Конецкого…»

Так прокричал в 1964 году об этой повести по-настоящему смелый и нелицеприятный критик, в будущем мой товарищ Игорь Золотусский, и было это не самым сильным высказыванием в адрес Камушкина.

Случилось так, что я ненароком зашел в гости к Федору Александровичу Абрамову, который жил в те времена в соседней парадной. В кабинете Абрамова было двое незнакомых мужчин. Один оказался Александром Яшиным, другой Игорем Золотусским.

Думаю, Игорь несколько насторожился, когда вблизи увидел вдрызг разруганного им автора. Он так потом и написал на своей книге, которая называется «Тепло добра»: «Разруганному мною в этой книге вдрызг, после чего все у нас пошло на лад».

Я был молод, юмора у меня еще были полные штаны, никаких отрицательных эмоций по поводу сентенции Золотусского у меня не было, плюс ко всему, как говорится, я был в ударе, ибо пропустил первые сто граммов. Как помню, острить меня потянуло именно с самого названия критической книги — «Тепло добра», ибо в дремучем крестьянском просторечии от века веков навоз, то бишь дерьмо, часто назывался добром. «Во какую добрую кучу Зорька навалила». Да оно и ясно: навоз — жизнь земли. А в названии книги существует еще и «тепло». Известно, что навоз тоже штука теплая и даже склонна к самовозгоранию.

Вот вокруг этого теплого добра я и принялся отплясывать на радость Яшину с Абрамовым. Эх, не любит наш брат критики!

Конечно, Игорь был прав процентов на восемьдесят, но он не захотел учитывать *времени*, в какое писалась повесть. До «Одного дня Ивана Денисовича» еще далеко было.

Прокурор из повести — секретарь жилищной парторганизации, в которой я состоял на учете, т. к. нигде официально не работал, а только писал. И была у меня только справка члена литературного объединения при Ленинградском отделении издательства «Советский писатель».

Секретарь-прокурор обвинил меня в тунеядстве, предложил исключить из ВКП (б), жилищная организация дружно проголосовала против «писателя».

На утверждении в райкоме спасла меня случайность. Оказалась там старая большевичка — близкая родственница Д. Д. Шостаковича, жила она на Красной (бывшей Галерной)

улице. К великому сожалению, забыл фамилию, хотя мы потом подружились. У нее, кстати, Дмитрий Дмитриевич отсиживался в подполье в тяжелые для него дни. Вот эта старая интеллигентная большевичка растолковала членам Октябрьского райкома что-то о специфике писательского труда, показала какой-то мой напечатанный рассказик. Короче говоря, из партии меня не исключили, но несколько месяцев штаны были полны теплого добра.

*

Еще восемьдесят лет назад Голсуорси заметил, что критика все чаще представляет собой (о талантливой критике речь) «не столько суждения, сколько впечатления, своего рода воссоздание, некое выражение личности самого критика, порожденное книгой, пьесой, симфонией, картиной. Такого рода критику стало даже принято отождествлять с творчеством. Знак равенства между способностью эстетического суждения и творческим даром! С этим трудно согласиться. Можно сочувствовать этой новой критике. Можно признавать, что передача своих впечатлений — деятельность более широкая и гибкая и менее преходящая, нежели высказывание безапелляционных суждений, основанных на строгих правилах вкуса; можно допустить, что такая критика смыкается с творчеством постольку, поскольку она требует и восприимчивости и способности воссоздать; однако „новому“ критику все же не хватает той жажды открытия нового, которая предшествует всякому творчеству (как оно до сих пор понималось). Критика, вкус, эстетическая оценка по самой сути своей задачи вынуждены ждать, пока жизнь не окажется собранной в фокус художником, и лишь после этого критик пытается воспроизвести то изображение, которое этот пойманный в сети кусок жизни оставил на зеркале его сознания. А творчество начинается с зародыша, бессознательно возникающего от непосредственного воздействия жизни во всей ее полноте на личность художника; и вокруг этого зародыша художник-творец, без конца вглядываясь, открывая, отбирая, строит клетку за клеткой из бесчисленных новых мельчайших воздействий и прозрений. Утверждать, будто то же делает и критик в процессе воссоздания, значит сказать, что музыкант-исполнитель — творец в том же смысле, что и композитор, чью музыку он исполняет. Если даже признать, что качественно эти процессы сходны, то количественно они так далеки один от другого, что применять к обоим слово „творчество“ по меньшей мере неудачно…»

*

По Канту, произведение искусства не дает о предмете никакого познания, которое могло бы быть выражено в форме ПОНЯТИЯ.

Многие наши критики, в отличие от Канта, вероятно, считают, что всё и вся возможно переложить в понятия.

Литературные критики стоят ныне у власти в литературе. Как всегда в таких случаях, идеология власти проникает в любые мелочи и отражается в них. Если возьмем такую мелочь, как аннотация, которая ныне почему-то в обязательном порядке помещается или перед, или после книги, то увидим превосходную иллюстрацию к словам Канта, ибо в аннотации несчастный редактор или загнанный в тупик необходимости автор пытаются на языке понятий объяснить то, что такому объяснению не поддается. Фонтан лжи и фальши начинает, таким образом, бить в нос читателю еще ДО самой книги.

Очень решительный критик Ал. Михайлов, объявивший себя мыслителем и теоретиком, идейным борцом, тонким ценителем прекрасного, на этом не успокоился. И добавил, что «в таком качестве он полноправный участник литературного процесса, *писатель*, представитель *своего жанра в литературе*». Разрядка принадлежит этому писателю, который не заглядывал в Даля и не листал Ожегова, а поэтому и не знает, что изо всего с писаниной связанного только сочинительство, создание художественных литературных произведений относится до высокого звания *писателя*.

Ал. Михайлов в силу своей профессии не разрешает себе замыкаться в кругу собственных пристрастий и потому считает себя способным создать объективную картину современного ему литературного развития. «Если поэт или прозаик обычно откликаются на проявление близкого им по духу, по творческим принципам писателя, но крайне редко берутся анализировать и объяснять то, что им не близко, а если и берутся, отнюдь не всегда добиваются успеха», то Михайловым ничего не стоит анализировать и близкое и далекое с равным и всегдашним успехом.

Ал. Михайлов преподавал в Литературном институте или даже им командовал. И невольно подумалось: какое счастье, что судьба обнесла меня этим учебным заведением! Ну право, неужели же Ал. Михайлов, командуя ныне Московской писательской организацией, действительно думает, что кто-то обливается слезами над его критическими статьями?

Эпиграфом к статье «Критика как литература» маститый

Б. Бурсов взял слова Гоголя: «Мы должны только заметить, что критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением».

Безупречная формулировка! Творение может быть и литературоведческим, и искусствоведческим, и химическим, и даже критико-космическим.

Посмотрим, однако, как Б. Бурсов, описывая поездку с К. А. Фединым по набережной Невы, справляется с обыкновенным пейзажем: «Дело было в конце мая или в начале июня, то есть в лучшую для Ленинграда пору. Хотя день был облачный, город был прозрачен, словно сам излучал свет. Всматриваясь в необыкновенно красивую панораму, в особенности, как мне показалось, в белую колоннаду Фондовой биржи, словно на невидимых нитях висевшую над Невой, на Стрелке Васильевского острова, Константин Александрович сказал, ни к кому в отдельности не обращаясь: „Ничего не знаю равного по линиям“. Позже, бывая в Париже и Риме, этих красивейших городах мира, я не раз вспоминал слова К. А. Федина. И Париж, и Рим, при всей их красоте, несомненно уступают Ленинграду по гармонии линий. Вот так и балет зачаровывает нас гармонией движений, наполненной дыханием красоты».

Но ведь источник света сам никогда не бывает прозрачен — разве прозрачно Солнце? Висящая на невидимых ниточках необыкновенно красивая панорама и Биржа; балет, который зачаровывает гармонией движений, которая, в свою очередь, наполнена дыханием красоты,— все это образец полнейшей невозможности для автора иметь дело непосредственно с окружающим его миром. То есть иметь-то дело он может, но что из этого получается? Ведь даже начинающего прозаика в литкружке лупцуют и четвертуют за все эти «города, которые такие прозрачные», что «словно сами излучают свет», и за биржи, «словно висящие на невидимых нитях».

«Ничего не знаю равного по линиям»! А по плоскостям — знает? И давно пишется автором РОМАНОВ, как и его собеседник Константин Александрович!

*

Удивительно, что Роберт Стоун (автор «В зеркалах») ни чуточки не боится изображенного им самим ужасного и отвратительного мира. Он спокоен так, будто видит этот мир действительно в зеркалах, а не в живой окружающей натуре. Что

это — такое мужество? Или мужество от привычки? Или мужество от равнодушия?.. В любом случае это очень заметное, яркое мужество.

*

Даже самым нашим талантливым писателям и сегодня позарез необходимы медали, премии и чины. Почему? Потому что каждый в подкорке чует свою неосуществленность и несущественность. И острую нехватку неосуществленности в духе компенсирует материей лауреатских медалей, премий и чинов.

*

Мне иногда кажется, вся просветительская литература испокон веку отличалась безмятежной компилятивностью и не дотошничала со справочно-библиографическим аппаратом. Великая цель — просветить людей, напичкать их добрыми намерениями, спасти их — вполне оправдывала средства.

Кавычки настоящие просветители оставляли только на тех мыслях, которым требовалась мощная поддержка авторитета Пророков. Воровали просветители из многих, если не из всех жанров, что на современном научном языке называется их синтезом.

Вышеизложенное отлично иллюстрируется разделом «Примечания» к просветительским литературным памятникам. Наши литературоведы должны были бы ставить авторам литературных памятников золотые памятники, ибо именно безмятежность, с которой великие литераторы в прошлом воровали друг у друга все то, что лежит хорошо, позволяет нашим кандидатам и докторам проявлять в комментариях научную эрудицию и детективно-овчарочные таланты при выведении на чистую воду авторов скрытых цитат, например.

Мое гуманитарное образование получено единственно при чтении комментариев к великим литературным памятникам. Потому, будучи честным человеком, я отдаю себе отчет в том, что все здесь написанное есть «пасквиль по невежеству». В результате могу походя с полнейшей внутренней свободой заявить, что, например, как и Герман Мелвилл, не вижу греха в пиратском обращении с чужими сочинениями, так как придерживаюсь в этом вопросе филдинговской теории творчества. При этом мне совсем не обязательно знать, что такое «филдинговская теория

творчества». Ведь мой университетски образованный оппонент это и без меня наверняка знает. Ему от меня и малейшего намека достаточно.

Кроме примера великого просветителя — Мелвилла я в своем пиратском обращении с чужими мыслями обычно использую еще и опыт матушки Екатерины, которая была редактором первого русского сатирического журнала «Всякая всячина». Журнал-русак тянул всю свою сатиру из-за рубежа и никогда не целил ею в «особ», а единственно в абстрактные пороки…

*

Все-таки ни в коем случае не следует поддаваться житейской жалости и щадить литературных героев из опасений легкой угадываемости. Мелкие неприятности для прототипов в живой жизни не идут ни в какое сравнение с пользой и необходимостью их демонстрации крупным планом всему белому свету (и потомкам!).

Надо будет указывать виды примечаний: «Примечание для литературных критиков», «Примечание для работников ММФ» и так далее, включая «Примечание для человеческого читателя».

Итак, решено. Посадим в дендрарий этой книги растения всех широт — от райских кущ до адских лишайников.

*

3.03.62. Таруса.

> «Милый Керя! Как ты там существуешь? Как переносишь свою повесть? Я видался с Семеновым и в присутствии Уварова и Аксенова, кот. со мной заходили в „Знамя“, сделал этому Семенову нагоняй. На меня снизошло, и я что-то ему набормотал высокопарное, расстроил его, и он потом полдня мучил меня в Клубе своими извинениями насчет тебя и что он м. б. тебя не понял. А я говорил злорадно-устало и снисходительно: ладно, ладно, только впредь не гадь ближним своим!
>
> Что я мог еще сделать? Будь у меня журнал, я бы тебя напечатал, несмотря даже на то, что ты женился.
>
> Хоть многие и говорят мне, что я сейчас прозаик № 1, но из этого толку для меня мало (это я без фастовства говорю), да и потом, наверное, то же говорят

и другим. А если бы и не говорили, все равно, это мне едино, ибо на этот эпитет отвечать надо. А чем? А как?

В „Знамени“ рассказам моим „Адаму и Еве“ и „Нам становится противно“ — дали отпор. Скорино написала маленькую рецензийку, как поправить рассказы, чтобы они пошли. И в этой рецензийке сто семнадцать пунктов, и если я их все исполню, то получается статья на тему, как стать вегетарианцем, и кастратом, и импотентом. А этого я не хочу, пущай народы, которые этого хотят, сами доходят, своими мозгами, я им в этом не помощник. Так я забрал рассказы, скрипнул прокуренными зубами, ударила мне в голову почти черная кровь (как на меня в пародии написали), и понес их в „Новый мир“ к Твардовскому. Понес, сдал и уехал в Тарусу. И не знаю, сколько там насморкал и наплевал Твардовский, когда их читал. Вот поеду в Москву скоро дня на два, тогда узнаю.

Да! Забыл тебе новость сказать. Я тут не пью совсем. Как-то отшибло, причем без всяких моральных усилий. Выпил, правда, один раз — тут Трифонов был, купил себе дом — так вот, вроде обмывания было, выпил я и очень мне плохо было, паскудно, я теперь и думать забыл. Почти две недели — ничего. И желудок не болит, как ни странно. Этак я и совсем скоро исправлюсь, чего доброго.

Ну, будь здоров! Передай привет женщине, но не смей жениться. Это ты не должен делать по всем законам, ибо совершил бы преступление против меня, женившись. Я тебя старше, и ты не должен в этом вопросе меня обгонять. А пока привет ей — она славная, только еще любопытная насчет нашего брата, как котенок. Ей думается, что мы бог знает какие интересные и загадочные личности. Она считает тебя плохим исключением, а про меня и про других думает, что мы хорошие. Разуверь ее в этом.

Пришли мне свою повестуху, я ее почитаю, ладно? Так жду.

Адрес мой: Таруса, Калужской обл. Почта, до востребования.

Ю. Казаков».

*

25.03.62. Я — Казакову.

«Слушай ты, пьянчуга и лысая бездарь!

Долго мне еще тратить свое время, бумагу и ленту машинки на письма к тебе? Я прочел в газетах, что Ю. Казаков выпустил книжку для маленьких недоносков и получил за нее, естественно, огромный гонорарий, как говаривал старикашка Куприн. Так вот, растлитель октябрят и маленьких девочек с тугими косичками, садись-ка в поезд (15 р.), вылезай в Ленинграде, садись в такси (70 коп.), езжай по адресу ул. Дзержинского д. 1 кв. 44 и попадай в уютный подвал со сводами (маневренный фонд — 18 семейств в квартире), где я сейчас порчу бумагу из последних сил в ожидании такого достойного собутыльника, как ты.

У меня, понимаешь ли, почки болят. Не нравится моим почкам алкоголь, вот с-с-суки, а?! Но я их, подлых, приучу! Воли у меня на это хватит!

Вчера от меня ушла квази-жена. Серьезно.

Слезы кап-кап-капают. Не знаю теперь: идти мне за ней или нет?

Написал гениальный рассказ под названием: „Банальное происшествие“. Посмертный. Повесть хотят печатать в девятом (sic!) номере „Невы“. Им, понимаешь ли, торопиться некуда.

Уходя, квази-жена забрала с собой: 1) байковый халатик, 2) крем „Утро“, 3) коротенькую ночную рубашечку, 4) две пачки сигарет „Фильтр“, 5) флакон зубного эликсира „Идеал“ с витамином „С“ и лимонной кислотой. И я теперь, как ты понимаешь, остался без всех этих необходимых для меня, как воздух, вещей. Сижу в пустыне моей тоски по ним, в океане моих слез на острове своего самолюбия.

Грустно мне. Приезжай — развесели меня, украинский классик. Платят ли хохлы гонорарий?

Целую тебя с отвращением, потому что терпеть не могу запаха перегара.

Твой В. К.»

18.03.62. Таруса.

«Здорово, …Керя! Будущие мои историки и биографы будут ставить вместо нормальных русских слов точки, чтобы не показать русскому народу все многообразие моих слововыражений, ну да хрен с ними!

Я был в Москве, только вернулся и получил твое письмо. Отчего ты не пишешь, что повесть твоя принята в „Неве“? Зажимаешь, гад! Мне Нагибон сказал про это. Поздравляю тебя, старик, безумно и радуюсь, что еще есть где приткнуться такому ошметку, как ты.

Ты там не гордись, что тебя издает Жюльен, такого издательства вообще нету — это во-первых. А во-вторых, для французов и вообще всяких шведов один хрен, что ты, что Бабаевский. Они русского языка не понимают и переводят всех под одну гребенку. И премии никакой ты не получишь — факт. И вообще напрасно ты ноешь, получая такие бешеные деньги за свои фиговые фильмы. Развратился окончательно — не то что я. Я тут каждый рассказ выбиваю из себя, как старик, страдающий хроническим запором, рву свою сраку и рыдаю от боли, а ты там живешь в Комарове и пьешь лимонную настойку. Нет того, чтобы пить просто водку, какую еще наши прадеды пили.

Сидел я, пил коньяк в Клубе (когда был в Москве), и подошел ко мне благоухающий Б. Сучков. Он был из парикмахерской. Он сиял внешне и внутренне. И прямая кишка у него не болела. И желудок не давал о себе знать. И ничего у него не ныло. И длинная статья его в это время печаталась. И он сел, ничего не подозревая. Он не знал, что я выпивши.

И тут я ему выдал. Я сказал ему про тебя и про себя. Он мне, гад, ответил, что он не читал ни тебя, ни меня. „Почему это?“ — вопросил я. „А когда мне читать? Некогда!“ — ответил он. „Ага! — сказал я.— Ага! Я понял. Вы, конечно, завалены рукописями Льва Толстого и Вильяма Шекспира. У вас еще Гомер непрочитанный лежит. И вообще у вас до хрена непрочитанных гениев толпится в коридоре, и Пушкин ловит вас в коридоре, потому что секретарша не пускает его в кабинет. Куда уж тут читать Конецкого или Казакова. Не тот коленкор!“

Б. Сучков ус . . . . . .Поскольку это было сказано вслух при скоплении народа. И начал лопотать, что они тебя защищают. И что дают письмо моряков, которые тебя хвалят. Понял? Моряки там какие-то, герои, понимаешь, богатыри и капералы считают, что ты молоток и ихнюю душу понимаешь запросто. И письмо ихнее будет опубликовано. Так сказал Б. Сучков. Так что задирай хвост выше, старик. Пей побольше, начинай с лимонной и кончай ликером. Валяй, дуй! Презирай всех,

пиши фиговые повести и огребай деньги, как Нагибон. Или Антонов. Я слыхал что-то про твое раздутое самомнение. Что ты лучше всех пишешь.

А меня, старик, выпирают к едрене фене из этого дома. Не везет мне — негде сочинять свои рассказы. Ищу дом. Пусть история плачет кровавыми слезами.

В общем, я рад за тебя, что повесть твоя принята. Ура! И шпильку в ж… Кожевникову и Сучкову. Пусть они не выпендриваются. Ах, я думаю, если б мы так всегда могли — напечататься где хотим,— как бы вымаливали и клянчили хоть строчку у нас все эти издатели и редакции журналов! А то знают, собаки, свою силу. Поэтому и небрежничают. А насчет трех букв это ты верно сказал. От этого мы и помрем.

А сегодня я выпил, ибо прочел письмо твое, где ты, как всегда, прав.

Я тебя очень **где-то** люблю**, будьте счастливы!**

Ю. Казаков».

10.01.63.

«Здравствуй, Виктор! Второй раз за эти дни песня из твоего „Пути к причалу“ вставляет мне палку в зад. Очень задушевная песня. Если увидишь композитора, скажи ему, что я доволен. Скажи, что Ю. Казаков в Тарусе доволен. Потом если увидишь **Ингу** — забыл, как фамилия — она из „М. Ленинграда“, у нее там есть такая штучка „Костик и я“, что ли, называется, то тоже скажи ей, что я доволен.

А если увидишь Конецкого, скажи, что я недоволен, почему не шлет своего „Радиста Камушкина“. Я бы, конечно, мог здесь в библиотеке взять, но считаю, что это будет полный бордель, если из библиотеки брать — пришли, раскошелься на полтинник.

Вылез ли ты из больницы?

Работаешь ли?

Как дела с кино?

Я как-то прочел в газете, что у тебя идет фильм по повести и что консультантом фильма — капитан Жуков. Это тот самый Жуков, с которым я плавал на „Юшаре“ и про которого писал в „Сев. дневнике“. И если ты его увидишь когда-нибудь, скажи, что я им тоже доволен, а короче, что я счастлив, что с ним плавал и о нем писал. Правильный мужик и в твоем вкусе.

А я, брат, все сижу и бледнею над повестью о войне.

И вдруг меня кинуло в другую сторону, и я написал о мужике одном примерно около листа. А этот мужик только и хорош был, что тонкую слабую шею имел, старенький был, а теперь уж и помер, лежит в Печорах в могилке, год скоро будет, как помер. А стал я о нем писать, потому что прочел вонючий один рассказик, про мужичка, который помер,— расстроился и стал писать сам. Выпивал тут раз с Данелией и хоть говорил ему разные слова плохие про „Путь к причалу“ — однако не поругались почему-то: мне даже как-то скучно стало. Это, наверное, потому, что тебя не было.

Ну будь здоров — жалко, понимаешь, что не пошла моя статейка о писателе. Она должна была идти в Литературке, но пришел А. Чаковский, она и не пошла. Но она пойдет. И там я со слезой пишу о нашем брате-писателе.

И вот, согласно этой статейке, я сижу тут и корплю над очередным опусом.

Будь здоро<в>, напиши что-нибудь.

Ю. Казаков.

P. S. Помнишь, как мы с тобой однажды распинались в любви к Г. Бёллю? Так вот, я узнал, что он тут был и всюду искал меня, и я оказался его любовью. А я в это время на Дунае уток стрелял. Возле самой Румынии, и написал очерк о том, как стрелял уток, и он выйдет скоро, я тебе пошлю, если буду знать, где ты.

Еще раз будь здоров.

Ю. К.

P. S. S. Я теперь член редколлегии „Молодой гвардии“ и уже успел тебя порекомендовать редактору. Так что, если получишь письмо из этого журнала, не удивляйся, а дай что-нибудь. Этот журнал должен быть хорош, там в редколлегии кроме меня еще Б. Ахмадулина, В. Амлинский, Евтушенко и еще кто-то».

Нагибин — мне.

«Дорогой Витя! Получил твое письмо, которое меня и обрадовало и тронуло не знаю как! Тем более, что мне казалось, будто ты не то чтобы охладел к нам, а несколько утратил интерес. Но, судя по твоему письму, это не так и, значит, все хорошо. Очень хотелось бы повидаться. Ты не собираешься в Москву? Мы будем тут до середины июня, а затем, наверное, поедем к Орловскому дней на 10. С конца июня и до осени я буду

здесь и на даче. В Ленинград я едва ли попаду в ближайшие месяцы. Ты пишешь, что недоволен своей работой, а мне Казаков говорил, что ты начал рассказ, который уложит на лопатки всех, и я ему верю. Кстати, говорил он мне это трижды, и трезвый, и пьяный, значит, ты сумел потрясти его неокрепшую душу.

Я его видел вчера в Тарусе, на пляже, он очень гордился своей фигурой и говорил, что осенью будет показывать себя за деньги.

Проплыл на лодке Паустовский с удочками, я едва сдержал слезу: такой изумительный человек и так пишет.

Блеснул фантастическим по неприличию поступком (но уже не в Тарусе, а в Москве, на секретариате СП) один мой близкий друг. Изящный устный донос на меня и на Казакова, но подробно об этом при личной встрече.

Я закончил марокканские рассказы, двадцать штук — ровно 3,5 листа, сдал их в „Знамя“, но там зловеще молчат. Писалось, во всяком случае, с удовольствием.

Очень о многом хотелось бы поговорить, но не в письме, а рядом, за столиком, есть разные мыслишки и наблюдения. Если ты соберешься в Москву, извести меня заранее, чтобы я приехал с дачи. Я страшно жалею, что последние наши встречи были как-то невыразительны.

Прости, что пишу от руки, у меня стерлась лента на московской машинке. По-моему, писать на машинке — это лучшее проявление вежливости, но тебе придется разбирать мой куриный почерк.

Мы оба тебя целуем и очень хотим видеть.

Юра Нагибин».

15.01.63. Я — Казакову.

«Ю. Казаков! Скажи, пожалуйста, когда ты выходишь на улицы Тарусы, торчат из тебя палки или ты их ставишь в сенях к стенке? Будучи бывшим художником, я ясно вижу, как ты с двумя палками ниже спины идешь на почту, чтобы проверить на до востребовании корреспонденцию. Твои очки на морозе запотевают, с синего носа падают капли, перхоть сыплется на искрящийся снег, а ты все поправляешь палки и думаешь о девице, которая не шлет тебе открытку, которая не любит тебя, а только греется в бенгальском огне твоей славы; которая в этот самый момент отдается летчику-

испытателю; которая сорит твоими деньгами и на каждом шагу говорит, что ты импотент. Я вижу все это совершенно ясно. И мне хочется плакать и рыдать. Я прошу тебя: вынимай палки обратно! Особенно, если они вставляются такой вшивой песенкой из дрянного фильма.

Я не шлю тебе Камушкина по той причине, что он продался правым, вошел в редколлегию комсомольского журнала, печатается в центральных органах, скоро едет в Америку; вместо того чтобы умереть в конце повести, этот Камушкин выжил и даже пошел в больницу, чтобы упросить сестру не делать аборт. После таких штук Камушкин мне опротивел и теперь мне стыдно посылать его к тебе в гости. Но я, все одно уж, пошлю.

Читал ли ты „Еще о войне“? Я так старался наставить тебе этим рассказом рога! Так старался! Думал, ты где-нибудь в киоске покупаешь журнал, читаешь рассказ, бежишь на телеграф, шлешь мне телеграмму, потом напиваешься, корчишься от зависти, влезаешь на гостиницу „Украина“ и прыгаешь вниз с самого серпа и молота. И вот ничего этого нет! Никакой реакции! Я объясняю это только тем, что ты еще не прочитал мой шедевр. Поэтому трачу лишних семь копеек и посылаю его тебе. Таких рассказов я могу писать по две штуки в день, но я этого не делаю только потому, что тогда затоварю весь литературный рынок шедеврами и всей другой мелкой шушере жрать будет нечего.

Твое жалкое хвастовство Г. Бёллем меня умилило. Вчера вечером звонок раздается. Беру трубку. „Вас вызывает Лос-Анджелес!“ Говорю: „Включайте!“ Включают. Слышно прекрасно — как в пивной возле завода в день получки. Но все на английском, то есть американском, языке. Просят сценарий. На современную тему. Понял? Из Голливуда просят. Я отказался. Говорю, что, мол, далеко ездить с поправками. Они не поняли про поправки, но я все-таки отказался, потому что теперь совсем ничего не пью: нажрался антабуса. А у них там без виски и без содовой ни тпру ни ну. Мне же и от пива можно теперь в ящик кинуть копыта и хвост. Трезв уже два месяца. Состояние это странное — ходишь обалделый и видишь все прорехи на теле человечества.

Купил машину. „Волга“, серая. Гниет под снегом на улице. В долгах по кадык. Жрать нечего. Такого ужаса не

переживал с 57-го года. Ничего не печатают. Везде набрал авансов, сроки кончились, а в больнице ничего не писал. Кошмар. Скоро брошу курить из экономии.

Весной приглашаю тебя съездить на моем моторе к А. С. Пушкину в Михайловское.

В последних числах января буду в Москве, чтобы попытаться заключить где-нибудь какой-нибудь договорчик.

Худею и худею. Причин не говорят. Рожа испитая и старая. Противно смотреть на себя в зеркало.

Пишу рассказ с поножовщиной и другими ужасами.

Куда ушла моя романтика? Я такой был романтичный молодой писатель. Туманные морские дали стелились вокруг меня. Где они теперь? Ухожу в казаковский реализм. Скоро охотничьи рассказы сяду сочинять. Ужас!»

15.05.65.

«Дорогой старик! На нечистоплотных голливудски-американских хренов нервов русских тратить нечего. Ты запомни, что литературу делают не они, а мы. Мы ее делаем медленно, подчас хреново, но все-таки делаем. И если вообще литература нужна кому-нибудь на этом свете, значит, наше дело в шляпе. Как бы там ни было, я все же склонен считать, что литература нужна. Ибо как сказано в Евангелии: „Сначала было слово, и слово было Бог!“ — вот так, старик, помни об этом, даже когда пьешь в Одессе и взираешь из окна на внутреннюю жизнь Пассажа.

Я в Малеевке, но не по своей воле. Мама моя ни в чем не хочет уступать твоей. Взяла и сломала ногу в Тарусе. Я ее привез в Москву, весь апрель мотался в больницу, потом достал путевки для нее и для себя в Малеевку — и вот я здесь. Весна, старик! И спраздновал я тут 9 мая лучше всех, потому что был один. Была тут раньше одна баба, с которой с ходу у меня началась выпивка и все такое прочее, потом под праздник она как раз уехала, я остался один и праздновал 9 мая лучше всех, как я тебе уже, дураку, сказал. Потому что, когда ты один, есть возможность подумать. На людях только плотничаешь, а когда один — думаешь. Ведь все-таки мы существа мыслящие в некотором роде. И я сидел один на один с пол-литром „Московской“, изготовленной в пресветлом граде Калуге, и думал о фашизме. Не о

фашистах, которые жгли, стреляли, тащили женщин к себе в постель, пили, сходили с ума, потом сами стрелялись, которые были потом убиты и разбиты и которые еще сейчас многие живы во всех частях света,— нет, я думал о самом высшем фашизме, о средоточии его, о человеке, который, достигнув власти, все подчиняет себе. Это не бесчисленные серо-зеленые солдаты шли на нас, это он их гнал, угрожал расстрелом. Это не генералы и штурмбанфюреры творили зло — зло творил он, потому что, дорвавшись до власти, он обожествил себя и стал над нацией, над человечеством. Ничто не делалось помимо его воли, и никто ничего не мог решить за него. Как бы ни были крупны остальные фашисты, они могли в лучшем случае советовать ему, соглашаться с ним, подсказывать ему и исполнять его волю. И чем лучше они советовали и исполняли, тем все более возвышались в его глазах и в собственных. Они даже становились наконец более фашистами, чем сам он, но все равно он был главный. И все-таки не он был главное зло, а самое главное зло была система. Та система, при которой он мог зародиться, этот человек, этот вождь, диктатор, фюрер, мог подняться и существовать вопреки всему, во веки веков, пока он сам жив, потому что никаких демократий, никаких ограничителей при этой системе не было, и он не мог быть смещен.

Вот так, старикашка, я и сидел, и думал многое разное еще, чего в твою вшивую голову отродясь не взбредало. В твою голову всегда взбредает вздор всякий, вроде „Ванну — капитану!“ или „33-й зуб“. Тошно мне на тебя глядеть, потому что ты сваливаешь свое пьянство на всех, вернее, раскладываешь его на всех нас и пишешь: четвертое поколение нырнуло там куда-то в прозрачность Столичной водки, изготовленной из опилок в Калуге. Врешь, это ты нырнул, а я сижу тут и думаю о разных вещах.

Кстати, как ты использовал машину свою, когда сюда на ней приезжал? Я свою главным образом использую для поездок в Старую Рузу на предмет добывания разных жидкостей. Очень удобная штука, моментом можно смотаться — 10 минут, я засекал. 4 минуты туда, 4 — обратно, 2 — на расплату с продавщицей.

Ю. Казаков».

«Письмо твое, старик, я получил в Литве. А писать не стал, что-то настроения не было. И второе письмо я твое получил, которое ты с пьяных глаз не отправлял целую неделю. Написано оно тобой 7 ноября, а опущено — 14-го. Ты там написал, что не любишь праздников. Написал ты мне это дело, а потом пошел и надрался. И целую неделю не просыхал.

Видал я тут Вальку Ежова, звал он меня на другой день на просмотр вашего фильма, говорил, что Васька Аксенов глядел и смеялся. А я вот не пошел. Ну вас всех на фиг! Вы, гады, выперли меня из своего коллектива, да еще платить заставляете. Очень это по-свински. А если бы мы с Васькой участвовали, то фильм был бы в пять раз лучше.

А тут еще повесть свою потерял. Там у меня много было написано, разрозненно, сзаду наперед и по-всякому, но написано было порядочно, а теперь вот не могу найти никак, жалко будет, если я ее посеял где-нибудь в своих переездах или сжег нечаянно. Я тут в марте, когда в Тарусе жил, многое пожег, всякие там черновики и прочее, может, и повестуха моя погорела.

„Нестора“ моего по Москве читают, откуда только журнал достают. Читают его, а критики делают вид, что ничего такого и не было. Один Дёмичев меня нехорошо помянул вкупе с Солженицыным и Залыгиным. Было у нас в ЦДЛ партийное собрание, так вот он там выступал и очень был мною недоволен.

Ты, старик, когда в Москву приезжаешь, пьянствуешь только да дерешься, да по бабам бегаешь, и морда твоя опухлая дрожит и трясется. Нет того чтобы пришел тихо-смирно, с умным разговором, философию какую-нибудь придумал бы, школу какую-нибудь литературную начал бы, оно и приятно было бы. Собрались бы у Шима, потолковали бы, у него квартира большая, новенькое свое почитали бы, покумекали бы, как быть нам дальше. Вон погляди на разных фирсовых, как дружно держатся, я прямо с умилением на них гляжу и взираю. А мы что? Каждый прохиндей только и считает, что он самый талантливый, каждый сам по себе, нет спайки, дружбы настоящей нет, а есть одна пьянка, похмелье на другой день, да воспоминания — где был, да где пил, да с кем пил, да сколько выпил, да чего выпил, да с какой бабой после поехал.

Там у вас в Питере сейчас работает один американец

из Корнелльского университета. Этот американец написал прекрасную статью обо мне в качестве предисловия к английскому изданию моих рассказов. Работает он у вас в Пушкинском доме. Зовут его Джордж Джибиан, или как он себя зовет на русский лад — Юра Гибиан. Так вот ты его найди, передай ему от меня привет, скажи, что я с удовольствием с ним встречусь, когда он вернется в Москву. Он у вас там долго будет жить, месяца два, наверное. Так вот ты с ним познакомься обязательно, да поговори, наберись ума, человек он серьезный, нашу литературу знает отлично, тебя, конечно, тоже знает и ценит, я уверен, так вот ты с ним поговори, как у них в Америке сейчас расценивается наша литература, это тебе будет интересно знать. Приди в Пушдом, спроси: где тут у вас американец, тебе его и выдадут, понял? И дай ему почитать „Нестора“, если найдешь журнал. И свой „Соленый лед“ обязательно дай, пусть просветится. Да не надирайся сразу с ним, а сперва задумчиво походи по городу…

В барах не заказывай 200 или 300 гр., они не понимают, а скажи так: „Fünf vodka. Zusammen“, что значит: пять порций водки вместе. Ясно? А то и не выпьешь ни хрена. Попей там пивка. Пивко у них будь здоров!»

Из эмигрантской книги Виктора Некрасова:

«А потом? Когда стали топтать Максима Рыльского, Сосюру, Яновского — за национализм, умиление прошлым, низкопоклонство? Не встал же и не сказал: „Товарищи, что вы делаете? Опомнитесь! Это же лучшие наши писатели!“ Нет, ничего этого не сказал, промолчал. (В тот же день Корнейчук, как бы между делом, осведомился: „Почему ты заявку на строительство дачи не подаешь? Подавай, поможем…“). И в разгар космополитической кампании, кратко, но осудил с трибуны что нет, не „позорное“, как говорили другие, „прискорбное“ явление. (На следующий день, на этот раз не Корнейчук, а Збанацкий — секретарь парткома, намекнул, что есть возможность без очереди получить машину.) И выросла среди дубрав Кончи-Заспы, на берегу Днепра, двухэтажная дача, с верандой и гаражом, где стояла бежевая „Волга“, а после поездки в ФРГ и недурной „Оппелек“, и не только в „Гослите“, но и директор „Совписа“ Лесючевский встречал с улыбкой, просил

присаживаться, спрашивал, когда новую повесть принесете, включим сверх плана… Да, сидел за одним столом. С шулерами за одним столом. И хлебал из их же миски… Потом вставал из-за стола и, утерев губы, шел в „Новый мир“, неся под мышкой свой „Родной город“, где Митясов вовсе не бил по морде декана Чекменя, а в „Кире Георгиевне“ бывший ее муж, Вадим, ни в каких лагерях не сидел, просто работал где-то на Крайнем Севере… И все меня любили. Читатели, в основном, за первую книгу, друзья за веселый нрав и компанейство, редакторы за покладистость, начальство за то, что на их языке называется принципиальностью — пьет, правда, и выпивши не прочь поиронизировать над системой, но линии партии придерживается, никогда не отклоняется, ни вправо, ни влево…»

Нырок в очень далекие времена

Был такой публицист Аввакум Петрович. Сгорел в прямом смысле этого слова 1 апреля 1681 года. Был публицист Александр Радищев. 4 сентября 1790 года приговорили к смерти, но по случаю мира со Швецией засадили «на десятилетнее безысходное пребывание» в Илимский острог.

Юный и наивный Пушкин писал Бестужеву: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева! Кого же мы будем помнить?» Вскоре Пушкин на опыте убедился, что вспоминать об авторе «Путешествия» не так легко: его статья о Радищеве не была пропущена цензурой и появилась в печати через двадцать лет после смерти поэта.

Убили Пушкина, ясное дело, не за поэзию, а за публицистику.

Это я все к тому, что поворот нашей литературы к публицистичности, который намедни обнаружили, произошел уже довольно давно.

Кстати, впаяли Радищеву десятку не только за то, что он «вооружался противо цензуры», но и за выступление «противо праздничных приемов у начальства».

Были братья-публицисты Ульяновы. Одного повесили, другой прошел тюрьмы, ссылку, эмиграцию, тоже получил пулю и умер 54-х лет, упрямо утверждая, что ничего в художественных делах не понимает.

Вот анонимка. Нет не только имени и фамилии, но и обратного адреса. Речь о книге «Соленый лед»: «Половина Вашей книги — дешевка, бьющая в нос пошлость, поверхностность. Отчего? Думаю, от воинствующего Вашего невежества. **Воинствующего.** Вы не только малообразованны, Вы гордитесь этим!.. Что там паршивая заграница! Вы своей страны не считаете нужным знать! (Не в том дело, что Вы не знаете, где город Пирятин, или думаете, что это фамилия, а в том, что Вы похваляетесь этим, Вам не стыдно!) (…) Что Вам сказать на прощание? Нанесем удар ниже пояса — тем более, что лба Вашего мне как-то жалко, все же в нем что-то есть. А не перечитать ли Вам Речь Ленина на III съезде союзов молодежи, а? Дельные мысли могут прийти в голову. С тов. приветом».

Вместо подписи следует: «Педагог, конечно!» Штемпель на конверте московский.

Автор — бабуля, которой идет девятый десяток,— она об этом сообщает в первых строках. Злость педагога, который не знает, что нет ничего позорнее на свете анонимок, дала такую яркую вспышку потому, что в книге я немного прошелся по своим

школьным педагогам. Но это бог с ней. Бабуля ловит меня на том, что она знает перевод названия мятежного брига «Баути» — «Щедрость», а я не знаю. Правда, пишет она названия кораблей без кавычек, потому и понять не может, что «Пирятин» вполне может быть и названием города, и именем героического моряка, например. Но это бог с ней. Но вот почему бабуля считает ударом ниже пояса свой совет почитать Речь Ленина на III съезде молодежи?

Куда цеховая обидчивость заносит, а?

Сам же совет правильный. Перестали мы Ленина читать. А был он — в меру исторических обстоятельств — политиком высоконравственным.

«ТАЛАНТЛИВАЯ КНИЖКА

Это — книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко: „Дюжина ножей в спину революции“. Париж, 1921. Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки. Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только не похоже, любезный гражданин Аверченко! Уверяю вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете.

Зато большая часть книжки посвящена темам, которые Аркадий Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться революция представителям командующих классов. Огнем пышущая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большей частью — яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещички, напр., „Трава, примятая сапогами“, о психологии детей, переживших и переживающих гражданскую войну.

До настоящего пафоса, однако, автор поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в Петрограде — нет, не в Петрограде, а в Петербурге — за 14 с полтиной и за 50 р. и т. д. Автор описывает это прямо со сладострастием: вот это он знает, вот это он

пережил и перечувствовал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и искренность — из ряда вон выходящие.

В последнем рассказе: „Осколки разбитого вдребезги“ изображены в Крыму, в Севастополе бывший сенатор — „был богат, щедр, со связями“ — „теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды“, и бывший директор „огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина, в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию“.

Оба старичка вспоминают старое, петербургские закаты, улицы, театры, конечно, еду в „Медведе“, в „Вене“ и в „Малом Ярославце“ и т. д. И воспоминания перерываются восклицаниями: „Что мы им сделали? Кому мы мешали?..“ „Чем им мешало все это?..“ „За что они Россию так?..“

Аркадию Аверченко не понять, за что. Рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях.

Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять».

(«Правда», № 263, 22 ноября 1921 г. Н. Ленин.)

*

Терпи, бедный редактор! И самого Ленина нынче следует перепечатывать в массовых изданиях, а не только в собраниях сочинений.

Скромничал Владимир Ильич, когда твердил, что в художестве ничего не понимает и судить этот предмет отказывается. Обратите внимание на хвалебные эпитеты в адрес рассказов Аверченко: «замечательно сильные места», «высокоталантливая книжка», «поразительный талант», «рассказы яркие до поразительности», «прямо-таки превосходные вещички»…

Вот употреби он один раз в адрес книги слово «искусство» — и все стало бы спорно, ибо даже самая животрепещущая ненависть породить искусство не может. Ни замечательно сильного, ни замечательно слабого. Ностальгия, конечно, может. А гений и злодейская ненависть несовместны, хотя нынче об этом опять пошли спорить до пены на губах, то есть с ненавистью друг к другу.

А вот почему Владимир Ильич называет Аверченко белогвардейцем? Кажись, до Турбиных тому было далеко, не

сражался он под знаменами белой гвардии…

Лежит на старом Пражском кладбище. Плита треснула. Буквы надписи почти исчезли: «РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ АВЕРЧЕНКО А. Т.»

Наказ Н. Ленина о поощрении таланта Аркадия Тимофеевича был выполнен. И перепечатали не «некоторые рассказы», а здоровенный том — 313 страниц, «Развороченный муравейник», издание «Земля и фабрика», «Библиотека сатиры и юмора», тираж 10 000 экз., 1927 г., типография «Красный пролетарий».

Эта книжка у меня есть. В ксерокопии. На форзаце круглая рецептурная печать — вместо экслибриса: «ВРАЧЪ Смирновъ Владимиръ Ивановичъ».

Упрямый доктор был. Ер с печатки не стер. Этим он напоминает киевского мальчишку Вику Некрасова: «Единственное в моей жизни „Полное собрание сочинений“ увидело свет (в одном экземпляре!) в 1922 или 1923 году. Состояло оно из шести томов. Страницы были пронумерованы, через каждые десять или двенадцать значилось — Глава такая-то. Текста, правда, не было, считалось, что со временем я восполню этот пробел. Безжалостные варвары, немецко-фашистские оккупанты сожгли этот раритет вместе с домом и шкафом, где он хранился,— маленькие, сшитые нитками странички, с обязательным на каждой обложке „Издательство Девріенъ, Кіевъ, 1922 г.“. В те годы я был еще монархистом, носил в кармане карандаш и на всех афишах приписывал „ъ"».

Вот этот столбовой дворянин Виктор Платонович Некрасов и будет главным действующим лицом дальнейшего повествования.

Цель же у меня простая: вернуть на родину его книги.

В 1963 году «Новый мир» напечатал «Минувшее» С. Н. Некрасовой (родная тетя В. Некрасова). Там есть о Владимире Ильиче:

«Ленина я помнила еще с 1895 года, когда он в свой первый приезд в Швейцарию заезжал к нам и провел у нас полдня.

Было это так. Горничная сказала моей маме, что ее кто-то спрашивает.

Вошел незнакомый человек и сказал, что его прислал Классон.

Мама ввела его в гостиную, там у нас на столике лежали социалистические газеты. Человек этот бросился к столику и, не обращая внимания на маму, весь погрузился в газеты.

Потом они с мамой разговорились. Мама должна была объяснить ему, как проехать к Плеханову.

Обращаясь к маме, незнакомец сказал:

— А мы с вами из одного города, из Симбирска.

— Как же ваша фамилия?

— Петров,— ответил он.

(Ленин одно время, как известно, подписывался Петровым.)

— Какой же это Петров,— раздумывала мама,— может быть, сын булочника?

— Да нет,— ответил он,— этого Петрова вы не знаете.

За ужином Петров был очень сдержан, разговаривал мало. Позже, когда к нам приехал Классон, он спросил маму:

— Был у вас Ульянов?

И тут все выяснилось…»

В 1914 году семейство Некрасовых жило в Париже на рю Ролли, 11, в одном доме с Луначарскими.

Сына Луначарского звали Тотоша. Пацаны часто дрались. Когда Вика и Тотоша таскали друг друга за волосы, Анатолий Васильевич спокойно «сидел и правил рукописи, ибо, кроме революции, занимался журналистикой». В начале 1915 года некрасовское семейство через Англию и Швецию добралось на родину — в Киев.

В 1929 году Некрасов навестил Тотошу в Кремле и встретился еще раз с Луначарским. Тотоша погиб в десанте под Новороссийском в сентябре 1943 года.

В Лозанне мать Некрасова училась медицине, тетя Соня — биологии. «А бабушка, как это называлось, „вела дом“ и вместе с женой Плеханова успевала еще устраивать благотворительные концерты для русских эмигрантов и студентов. У бабушки в доме на рю Мопа, 55 бывал и сам Плеханов, бывал и Р. Э. Классон, муж бабушкиной сестры, видный русский марксист, на квартире которого, кстати, Ленин познакомился с Надеждой Константиновной Крупской».

Записана В. Некрасовым еще одна семейная легенда, или предание: «Рассказано оно было мне самой бабушкой и связано тоже с визитом Ленина на рю Ролли, у парка Монсури (или „на Мопа“?) и старинной фарфоровой чернильницей в виде юного всадника в клетчатом берете с пером. Чернильница эта сохранилась и стоит на специальной полочке под большой застекленной цветной (вернее, раскрашенной, но очень удачно, хотя это было лет сто тому назад) фотографией Шильонского замка. Почему все это сохранилось и почему именно *это* — мне не ясно. Уходя из Киева, немцы сжигали дома, предварительно очищая квартиры. Но делали это со свойственной немцам педантичностью и систематичностью — не торопясь, загодя, этаж за этажом, квартира за квартирой. И только днем. Изгоняемые жильцы пользовались этим и по ночам переносили вещи на свои новые места жительства. То же делали и моя мать с теткой. И начали, по их словам, с наиболее легких вещей — картин, разных

фарфоровых статуэток, дорогих как память о чем-то и о ком-то, оставив тяжелые книги под конец. Конец пришел скорее, чем его ожидали, и все книги (а их было очень много) сгорели в своих прекрасных красного дерева шкафах.

Так спасся, унесясь на фарфоровом коне, и юный принц в клетчатом берете с оранжевым пером. Как попал в наш дом этот принц, бабушка уже не помнила, но твердо помнила, что о принце этом, вернее о его „внутренностях“ (верхняя часть снимается, и в нижней обнаруживается маленькая чернильница и песочница), у нее с Петровым-Ульяновым тоже шел какой-то разговор. Почему Ленин обратил внимание на принца — бабушка тоже не помнила (очевидно, просто чтоб заполнить возникшую паузу), но то, что Ленин взял со стола листок почтовой бумаги, что-то написал на нем, посыпал написанное золоченым песком из песочницы, а потом сказал: „Вот и посыпался песочек из нашего с вами принца“,— запомнила хорошо.

— Но, бабушка,— удивлялся я,— ведь в конце девятнадцатого века давно уже не было песочниц, были промокашки.

— А вот в принце был еще, сохранился,— невозмутимо отвечала бабушка.

— Странно…

— Ничего странного. Сохранился, и все.

— А что Ленин написал на бумажке? — не унимался я.

— Не помню уж. Да, вероятно, и не читала. Так, несколько каких-то слов…

— И где же эта бумажка? Выкинула небось?

Бабушка смущалась:

— Выкинула, вероятно.

Я укоризненно качал головой, и бабушка еще больше смущалась.

Бабушка прожила 86 лет».

*

Еще бабушка Некрасова знаменита тем, что танцевала мазурку с Александром II на балу в Смольном институте.

Родился автор «В окопах Сталинграда» 17 июля 1911 года.

Эмигрировал в Париж 12 сентября 1974 года.

Исключен из Союза писателей СССР и Литфонда 29 декабря 1971 года.

В ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ

Прошел уже немалый срок с тех пор, как мои очерки «По обе стороны океана» были подвергнуты критике на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Еще более резкой критике я был подвергнут первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым на июньском Пленуме ЦК КПСС.

Как коммунист и писатель, который не мыслит себе творчества в отрыве от партии и народа, я обязан прислушиваться к партийной критике и сделать соответствующие выводы.

Я стал кандидатом партии в самые тяжелые для нашей Родины дни 1943 г., в Сталинграде. В члены партии был принят летом 1944 г. на передовой, в дни тяжелых боев на днестровском плацдарме, в районе г. Ташлык. С тех пор прошло 20 лет. За эти годы я не имел ни одного взыскания. Весь мой творческий путь (а писать я начал еще в госпитале, после ранения, в последний год войны) направлен к осуществлению одной задачи — помочь партии в борьбе за нового человека, честного, страстного, бескомпромиссного, борца за передовые идеи. В своих военных рассказах, в повести «В окопах Сталинграда», в фильме «Солдаты» я пытался в меру своих сил рассказать о подвиге и единстве народа, о простых советских людях, вынесших на себе всю тяжесть войны — о рабочих, колхозниках, интеллигентах, взявших в руки оружие и сражавшихся против фашизма за свободу Родины, за идеи коммунизма.

В повести «В родном городе» и пьесе «Опасный путь», шедшей в Москве в театре им. Станиславского, я писал о демобилизованных фронтовиках-коммунистах, в борьбе с приспособленцами и карьеристами отстаивающих чистоту рядов партии. В небольшой повести «Кира Георгиевна» я попытался рассказать о жизненном и творческом крахе художника, для которого личное заслонило общественное, о сложной судьбе людей периода культа личности Сталина.

Я позволил себе кратко остановиться на своих произведениях для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что основной герой их — рядовой советский человек, а главная мысль — борьба за чистоту идей коммунизма, борьба с врагом, будь он немецким фашистом во время войны или беспринципным негодяем и стяжателем в послевоенные годы.

В 1957 году после поездки в Италию я обратился к новому для себя жанру, жанру путевых очерков. Две серии этих очерков — «Первое знакомство» и «По обе стороны океана» — вышли в свет, над третьей, посвященной поездке во Францию, я

работаю сейчас.

Побывав на капиталистическом Западе — в Италии, в США, во Франции — я встретил там среди прогрессивной интеллигенции и простых людей невероятную тягу и интерес к нам, желание как можно лучше разобраться в наших целях, мировоззрении, взглядах на жизнь. Рядовой итальянец, француз, американец не может найти ответа на эти вопросы в буржуазной прессе и литературе, поэтому он и тянется к нам, поэтому таким успехом пользуются сейчас на Западе (особенно в Италии) произведения советских писателей. Наши книги выходят сейчас большими тиражами, их быстро раскупают, вокруг них завязываются ожесточенные споры.

С другой стороны, и наш читатель все больше и больше проявляет интерес к зарубежной жизни, к тому, как и чем живет рабочий, крестьянин, интеллигент той или иной капиталистической страны, хочет побольше узнать о культуре, искусстве, экономике, о материальной и духовной жизни этих стран.

На все эти вопросы с большей или меньшей полнотой можно ответить, прожив долго в этих странах, узнав по-настоящему народ, его чаяния, беды и радости. Гораздо труднее обо всем этом рассказать, когда знакомишься со страной в две-три недели в качестве туриста или члена какой-нибудь делегации. И все же долг писателя, как бы кратка ни была его поездка, рассказать о том, что он видел, что он слышал, и попытаться разобраться в этом. Однако я не ученый, не экономист, меня как писателя и в прошлом архитектора больше интересуют вопросы искусства, культуры, встречи и беседы с людьми, круг которых, в силу условий, в каких мы находились, был ограничен. Поэтому, к сожалению, многое не могло не выпасть из круга моего зрения. Я не был, например, в итальянской деревне, а крестьянский вопрос один из самых сложных в Италии, я не был на Юге Америки (куда нас не пустили, о чем я писал), где особенно сложно положение негров, не встречался с американскими рабочими, да и вообще в Америке видел больше небоскребы и музеи, чем людей (о чем тоже с сожалением пишу в своих очерках) — одним словом, понять и воссоздать полную, широкую картину жизни той или иной страны мне не удалось. Это тем более прискорбно, что без серьезного, глубокого анализа положения рабочего класса Америки и его борьбы за свои права трудно разобраться в современной действительности этой самой развитой капиталистической страны. Думаю, что в этом и коренятся недостатки моих очерков, послужившие поводом для их критики.

Основанием для критики могли служить, безусловно, и

некоторые формулировки тех или иных положений, которые в силу этого могли быть неправильно поняты и неверно истолкованы. В первую очередь это касается фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» и моей оценки его. Фильм этот был подвергнут критике Н. С. Хрущевым. Когда я писал об образе старого рабочего, я подразумевал под этим отнюдь не рабочий класс, который люблю и уважаю, а только кочующий из пьесы в пьесу сценический штамп. И тут-то я допустил неточную формулировку, что послужило поводом для критики. К тому же, очевидно, не стоило писать о не законченном еще фильме, фильме, который не видел зритель.

Меня критиковали за то, что я в своих очерках недостаточно вскрыл язвы капиталистического мира, представил его в более привлекательном виде, чем он есть на самом деле. У меня не было такого желания. Мне кажется, что за внешним благополучием и роскошью капиталистического мира скрываются язвы куда более болезненные, чем нью-йоркские и чикагские трущобы, о которых столько уже писалось. Язвы эти в основном идеологического, морального порядка. В своих очерках я прямо говорю о пагубном воздействии на зрителя американского телевидения с его бесконечными драками и убийствами, о широченном мутном потоке полицейско-детективной литературы, одной из самых страшных отрав для подрастающего поколения, о тупике, в который зашло изобразительное искусство (сюрреализм Сальвадора Дали по силе своего воздействия куда опаснее малопопулярного в широких кругах абстракционизма), о трудностях, с которыми сталкиваются прогрессивные итальянские режиссеры, как, например, Пазолини, которому определенные круги в Италии — церковь, полиция, крупная буржуазия — чинят всяческие препятствия, вплоть до специально спровоцированного ареста ведущего актера. Во всем этом и есть одна из основных трагедий капиталистического мира. Эти «трущобы» куда пострашней трущоб городских.

Описывая ту или иную страну, трудно избежать некоторых параллелей, которые возникают при сопоставлении двух миров — капиталистического и социалистического. В вопросах быта и внешнего благоустройства они пока еще не всегда в нашу пользу, зато в таких вопросах, как идейная устремленность, моральная стойкость народа,— наше превосходство неоспоримо. Глядя на самое ценное, что есть в каждой стране, глядя на молодежь, видишь, насколько вырвалась вперед наша молодежь по сравнению с западной. Я об этом и пишу в своих очерках, противопоставляя американских юношей, пусть даже самых честных и прогрессивных, но ближайшая цель которых — сделать

карьеру или основать небольшое дельце,— нашей советской молодежи, для которой вопросы личной выгоды всегда уступают место вопросам общенародным. Мне кажется, что именно в этом вопросе достаточно ярко проявляется преимущество социализма над капитализмом.

Мысли о превосходстве социалистической системы невольно возникают и при размышлении о судьбах и творческих возможностях крупнейших западных архитекторов. В своих очерках я пишу о Франк Ллойде Райте, знаменитейшем американском архитекторе, вынужденном строить загородные виллы для богачей и не имевшем возможности осуществить свои широко задуманные планы по переустройству городов, планы, которые так легко было бы ему осуществить в Советском Союзе.

Во всех этих вопросах — вопросах воспитания подрастающего поколения, массового роста культуры, широты творческих горизонтов — преимущества нашей системы неоспоримы. Этим мы гордимся, в этом наша победа. Но есть еще в нашей жизни досадные, мешающие строительству коммунизма отдельные недостатки. Партия всегда учила нас смотреть прямо правде в глаза и не замазывать эти недостатки, а наоборот, вскрывать их, чтобы избавиться и не допустить их в дальнейшем. Побывав туристом в Америке, я считал своим писательским долгом сказать о плохой организации туристских поездок, о том, что мешает нам в нелегком деле налаживания культурных и человеческих контактов. Рассматривая архитектурные памятники Италии, я не мог не задуматься о том, что у нас до недавнего времени не везде и не всегда уделяли нужное внимание памятникам старины, а подчас, без достаточного для этого основания, разрушали их, как это случилось, например, в период культа личности с Михайловским монастырем в Киеве. Будучи писателем и коммунистом, я считал своим долгом об этом написать, и отнюдь не с целью якобы очернить свою Родину, а только для того, чтобы эти ошибки не повторялись.

Меня критиковали за то, что, приводя примеры из советской жизни, я привел слишком много примеров отдельных наших недостатков, чем создал неполную, однобокую картину нашей действительности. У меня, конечно, и в помыслах этого не было, но если при чтении моих очерков возникло такое впечатление, я об этом очень сожалею и считаю своим долгом в дальнейшей работе над очерками учесть критические замечания. Думаю, что предложенная мне «Новым миром» поездка по нашей советской стране — в Сибирь и на Дальний Восток — даст мне достаточно материала, чтоб рассказать о труде, жизни и успехах нашего народа, нашей страны.

Хочу подчеркнуть, что, находясь за рубежами нашей Родины, я в своих интервью и публичных выступлениях всегда отстаивал линию Коммунистической партии Советского Союза и высоко держал знамя нашей Родины.

Все вышеизложенное я написал вовсе не для того, чтобы доказать, что очерки мои безупречны. Они далеко не безупречны — я это знаю как никто другой,— но писались они с самыми искренними намерениями помочь читателю разобраться в нелегких, противоречивых вопросах жизни и культуры незнакомых ему стран, правительства которых далеко не симпатизируют нам, а простой народ ищет и хочет дружбы. Мне не удалось рассказать обо всем, даже главном, но, работая сейчас над отдельным изданием очерков и над заключительной их частью, посвященной Франции, я постараюсь учесть все те справедливые замечания и пожелания, которые помогут сделать книгу по-настоящему нужной и полезной.

Мне ясно, что писатель должен отвечать на критику не словами и обещаниями, а делом, своей работой. Этим я сейчас и занят, в надежде, что мой труд не окажется напрасным.

Как коммунист я считаю себя обязанным в практической деятельности руководствоваться решениями июньского Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам и приложить все силы к тому, чтобы создать такие произведения, которые принесут пользу нашему народу, строящему коммунизм. Я полностью осознаю свою ответственность перед партией и народом особенно в этот момент, когда в мире идет непримиримая борьба двух идеологий, так как мирное сосуществование двух систем ни в коем случае не означает мирного сосуществования идеологий. В этих условиях неизмеримо возрастает ответственность каждого писателя-коммуниста.

Считаю своей обязанностью объяснить, в силу каких причин я не смог присутствовать на заседаниях партбюро Союза писателей, куда меня дважды вызывали.

С начала мая до середины июля я находился в Ялте, в Доме творчества, где работал над окончанием своих очерков. Вместе со мной была 84-летняя мать. Оба раза, когда меня вызывали в Киев, я не мог приехать, т. к. моя мать упала, расшибла голову и колено, и я не мог ни оставить ее, ни взять с собой. 15-го июля я был вызван в Москву А. Твардовским, редактором журнала «Новый мир», который перед своим отъездом хотел ознакомиться

с окончанием моих очерков. Я срочно вылетел в Москву, завезя по дороге мать в Киев. В Москве мне было предложено Твардовским поехать от журнала в творческую командировку по стране — в Сибирь и на Дальний Восток. Я принял это очень заинтересовавшее меня предложение, о котором было сообщено Твардовским в Киев, но, получив телеграмму из Ленинского Райкома КПУ, поездку отложил и явился по вызову. Мне кажется, что причина, по которой я не смог приехать из Ялты в Киев, является уважительной, в то же время я признаю, что поступил неправильно, не зайдя по дороге в Москву в партбюро Союза писателей и не сообщив о своем вызове в Москву. Август 1963 года.

В. Некрасов.

*

Как, когда, каким путем попал мне в руки этот документ, роли не играет.

Но в те времена и меня вызвали к начальству и приказали покаяться прилюдно, с трибуны Таврического дворца. И я весьма невнятно, но каялся.

На арену меня почему-то выпустили между Николаем Черкасовым и Георгием Товстоноговым. Молотил я что-то про то, что рабство в российский народ вбили еще, мать их так, татаро-монголы, которые во всем и виноваты.

Самое интересное — перед богом клянусь — я знать не знал, в чем и за какие грехи мне следовало каяться. Кажется, в «Леттер Франсез» было напечатано какое-то мое противокультовое интервью.

Отчет о заседании в Таврическом мелькнул в центральной прессе. В списке выступавших была и моя фамилия. И получил от Некрасова открытку с двумя словами: «И ты, Брут?»

*

В то веселое время я работал над книгой, которая казалась удачной. И хотя я давным-давно знаю, что такое ощущение есть самое страшное, но все надеялся на исключение. Его не получилось.

Как будто я вылезал из пещеры и уже видел свет впереди, но складывал вынутые камни позади, и они рухнули и не только закрыли выход, но и размозжили меня самого. И я заметался,

сбивая дыхание, лишаясь остатка воли и самообладания.

Я выкраивал из написанного кусочки и пытался спасти хоть что-то из груды листов. Ночами мне снились герои книги, они хихикали, уходя от меня по карнизам высотных зданий. Надо было найти опору хотя бы в одном-единственном новом рассказе. Чтобы только он получился, вернул мне каплю уверенности…

Из дневника боксера

Утром в воскресенье Клавдия Агафоновна:

— Аполлон, киса моя, идем гулять!

Принес поводок и намордник. Унизительно. Но привык. Приучили, вернее.

Вышли на двор. Запахи сырых дров, сосулек, подвальной гнилой пряности и тысяча других.

Вздрогнул от радости предвкушения встречи с Хильдой — немецкой овчаркой из пятой квартиры.

На дровяной поленнице лежали и грелись на солнышке кошка Мурка и кот Барсик. Не хотел ссориться. Но Мурка:

— Эй, сукин сын, не жмет тебе намордник?

Сделал вид, что не расслышал.

— А что ему еще может жать? — спросил у Мурки Барсик.

Смолчал.

Так славно пахло весной! Снег сошел.

Клавдия Агафоновна отцепила от поводка.

На гранитной тумбе написал кое-что.

— Интересно,— сказала Машка,— зачем он каждый раз поднимает ногу, а?

— А что ему еще поднимать? — спросил Барсик.

Хотел залаять. Не смог — намордник. Делал и делал вид, что наплевать.

— Криволапый друг человека оглох от студня по двадцать восемь копеек или от овсяной каши,— сказала Мурка.— И чего он всегда нюни распускает?

— А что ему еще распускать? — спросил Барсик.

Никакой особой вражды с ними не может быть.

Коты, кошки — твари не думающие, не анализирующие жизненный опыт.

А мы, боксеры, всю жизнь тем и занимаемся, что доходим до сути вещей.

Клавдия Агафоновна, например, обнаруживает во мне достоевщину. И потому при бессоннице читает мне вслух «Преступление и наказание».

Зажжет розовый торшер, челюсти положит в хрустальный бокал и шепелявит: «Аполлончик, мой маленький, подойди сюда!»

Слезаю с кресла.

Иду.

Стараюсь не стучать когтями по паркету.

Клавдия Агафоновна:

— Умненький ты мой, киса ты моя!

Непонятно. Почему я — киса?

Кладу морду на одеяло, стараюсь не очень выпускать слюни. Моргаю на лампочку в торшере.

Клавдия Агафоновна начинает читать.

Сразу чешется брюхо.

Блох нет.

Так, наверное, какой-то атавизм, но чешется ужасно.

Терплю.

Из деликатности.

До того хочется полязгать зубами в брюхе — все бы отдал.

Клавдия Агафоновна шамкает: «…ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца. Ошибка сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный дух иногда и во всей нации, несущий с собой иногда такую степень слепоты…».

Вдруг какая-то потусторонняя сила сгибает пополам.

И я на брюхе — лязг, лязг, лязг… Беру себя в лапы и опять кладу морду на одеяло.

Слушаю.

Ночь поздняя. От уличного фонаря в оконном стекле блики качаются.

По полу от дверей — холодом.

Клавдия Агафоновна читает и читает. В некоторых местах приостанавливается и легонько стучит мне по лбу пальцем.

Делаю вид, что доставляет удовольствие стоять ночью у ее кровати и чесать брюхо только в перерыве между главами.

Еще повиливаю хвостом. Вернее, кочерыжкой. Сам хвост зачем-то отхватили в раннем детстве и, как грузчики из овощной лавки объясняют, по самую завязку.

Да, о чем я?

О том, какая пакость случилась утром в воскресенье.

Итак, написал кое-что для Хильды на гранитной тумбе у ворот и побежал к водосточной трубе. Там оставляет информацию для меня Ральф — бульдог адмирала в отставке.

Возле трубы почему-то очень вкусно пахло борщом.

Выяснил, что давеча Ральфу прищемило дверью лифта ухо.

Было грустно за Ральфа, когда я бежал к фонарному столбу.

— Ну, чего ты все-таки нюни опять распустил, тяжеловес непрофессиональный? — с глупой издевкой спросила Мурка.

И Барсик, и Мурка-Машка всегда говорят гадости. А мне только один раз удалось спихнуть Барсика с перил в канал.

Был, конечно, в намордник.

Подобрался сзади и ударил его лбом в зад.

Он и мяукнуть не успел.

Летел в воду, как белка,— весь растопырился. Минут пять купался, пока под мостом ниже по течению не выплыл.

*

Тогда у меня сработала так называемая ценностно-экспрессивная функция, представляющая как бы активный эквивалент защитной функции. И я, как забулдыга-дворняга, утвердил свою личность путем навязывания кошкам своей системы социальных установок.

Употребляю такие обороты потому, что Клавдия Агафоновна — педиатр по трудновоспитуемым детям и до самой пенсии интересовалась современной психологией.

*

Я, например, знаю, что и человек, имеющий враждебную установку к кошкам, обязательно опрокинет стул, на котором кошка устроилась. Другими словами, как только у такого человека возникает стимул — кошка,— в нем обязательно должна вспыхнуть агрессивная реакция. И у меня тогда вспыхнула.

Глупо. И стыдно. Кошек надо давить презрением.

Помню, пришел к Клавдии Агафоновне знаменитый профессор, посмотрел на меня и говорит ей:

— Разрешите, я обращусь к Аполлону с вопросом?

— Пожалуйста.

Он мне:

— Аполлон, вы очень умная собака. Это видно по вашим глазам. Скажите, пожалуйста, как вы выражаете свое мнение другой особи?

Я приветливо повилял в ответ кочерыжкой. Вообще-то, любой официант вам скажет, что угодить всем — дело безнадежное, но мы, боксеры, стараемся.

— Мнение выражается,— объясняет мне и Клавдии Агафоновне профессор,— и у людей, и у собак одинаково: лаем. А вот установка содержит в себе более глубинное начало, чем лай, и располагает возможностью более разнообразного выражения: жесты морды, мимика хвоста…

*

В ответ Клавдия Агафоновна сразу начала мною хвастаться. Она всем хвастается мною и называет «мертвый хватун». И рассказывает, как я еще в ранней юности прикончил матерого серого волка в Репино. И как кровь волка ручьем лилась по ее кисе, то есть по мне. И как я ухватил волка за складки шкуры на глотке и потом медленно и неуклонно перепускал волчью шерсть и шкуру сквозь челюсти, пока не добрался до кадыка.

Во-первых, даже Мурке понятно, что в Репино волки не водятся. Был это просто полукровка овчара с волком. Драка, конечно, была замечательная, но врать на старости лет зачем? Этот полукровка исполосовал меня от носа до кочерыжки. И кровь из меня хлестала, как вода с плотины Братской ГЭС. Промахнулся я в первом броске. Хватанул полукровку совершенно бездарно — куда-то в брюхо. Вот он и исполосовал меня, как зебру.

Между прочим, Клавдия Агафоновна проявилась в напряженной ситуации не с лучшей стороны. Только и делала, что ахала да авоську с помидорами к груди прижимала, а надо было палку схватить да по нам пару раз вжарить. Я действительно не всегда могу челюсти разжать. Нижняя челюсть у меня выдается вперед, и я имею возможность спокойно дышать, не разжимая зубов, когда вопьюсь в затравленное животное, но властвует надо мной в этот момент не я сам, а моя природа. И — далеко не всегда! — полезная природа. Имею в виду мускулатуру пасти. Впившись зубами в жертву, я со страху уже не могу отцепиться от нее, то есть лишен нормальной возможности удрать.

Временный паралич мускулов, сжимающих челюсти, на нервной почве.

А Клавдия Агафоновна гордится этим. Но даже это я ей прощаю.

Почему?

Я уже говорил, что мы размышляем. Ну, вот скажите мне, кто она такая, эта Клавдия Агафоновна? Так — пшик. Ночью шкаф скрипнет, она уже валидол принимает, а выглядит-то, выглядит! Очки эти дурацкие, да еще коробочки из-под конфет не выкидывает — копит. Зачем? Для пожара, что ли? А лысина? У нее ведь лысина — я-то знаю. А вы ее когда-нибудь без зубов видели? Я-то видел! Хуже Пиковой дамы, вот что я вам скажу. А я что? А я ее люблю! И кому хочешь пасть порву за нее! За каждый ее волосик! Фу, черт, нет у нее волосиков… Ну, тогда клык за клык… Фу, нет у нее клыков… Ну и что, что нет? Люблю — и все. Хотя ей атомный физик за меня большие деньги сулил. Между прочим, я бы у этого физика как кот в масле катался… Тьфу, черт, терпеть котов не могу, а все на них сбиваюсь! И еще смерти

боится. Как боится! А мы — собаки — к смерти спокойно относимся. Люди только в страхе смерти и едины, а мы без него обходимся.

Я смело могу сказать, что в настоящее время огромная часть собаковечества — во всяком случае, его ведущая часть — обладает общим языком. Общность языка в нашем случае — одинаковость семантической системы при разных формах ее выражения. Конечно, мопс или легавая — разные имеют формы. Но мы от роду интернационалисты, нам расовые различия ничуть не мешают понимать друг друга и уважать. Возьмите таксу из Кейптауна, дворнягу из Парижа, водолаза из Аддис-Абебы и гончую Святого Губерта (блоудхоунда) из Москвы и сведите вместе.

И что?

И будем общаться без всяких переводчиков, без «Интуриста», без паспортов и даже без виз.

Ну, вполне может быть, подеремся. И что? Хорошая драка один из видов общения, разговора, развлечения. Как хоккей или вонючий бокс…

Тут надо одного дога вспомнить.

На даче познакомились. Звали прямо по породе: Мастиф.

Напротив он жил.

Молчаливый дог, замкнутый. Не знаю, английский там он был, немецкий или датский. Но мнение выражал только жестами и мимикой. Не лаял вовсе. Раздражал.

Как-то напоминаю Мастифу, что его предки травили в Северной Латинской Америке несчастных рабов. И ему должно быть стыдно.

Он жест хвостом. Уничижающий меня жест: твои, мол, предки тоже рабов преследовали.

Клевета.

Мы от голой египетской собаки происходим и только медведей давили. Попробуй-ка медведя задави! А доги от африканского шакала. Потому с черными рабами им и карты были в лапы.

Драка.

Опять промахнулся в первом броске. Рост у этого мастодонта огромный, а я низкорослый, вот и промахнулся… Вообще-то причина драки другая была. Мастиф все у меня спрашивал, почему он так любит людей, почему у него вроде бы как расстройство желудка начинается, когда хозяин куда-нибудь уезжает?

Сколько раз ему объяснял! Не понимал, бестолочь. Талдычу ему: «КОГДА МЫ, СОБАКИ, ОЩУЩАЕМ ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ,

ТО ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ СОБАКОЙ, НАСТОЯЩЕЙ СОБАЧЬЕЙ СОБАКОЙ. А КОГДА МЫ ОБЩАЕМСЯ ДРУГ С ДРУГОМ, ТО НИКОГО С ТАКОЙ СИЛОЙ НЕ ЛЮБИМ И ПОТОМУ СОБАКАМИ СЕБЯ НЕ ЧУВСТВУЕМ!» Вот и весь фокус! Я вот Клавдию Агафоновну без всякой корысти люблю, а Хильду, например, уже с корыстью — употребить ее хочу, сучку этакую! Или того же Мастифа почему я любил? Потому, что всегда с ним подраться мог, удовлетворить врожденный инстинкт и клыки поточить! С Клавдией Агафоновной мне и в голову не придет драться. Ну, не за овсянку же я ее, скрягу безобразную, тогда люблю? У нее, кстати, в шестом томе Достоевского сберкнижка лежит, а на сберкнижке тысяча семьсот шесть рублей с копейками — могла бы мне и отбивные покупать… А я люблю, потому что чувствую себя при этом настоящей Собакой. А Собака — это звучит гордо!

Почему Мастиф такой простой вещи понять не мог?

И у нас получилась психическая несовместимость при наличии взаимной потребности друг в друге и даже дружеских чувствах. Такое и у людей бывает.

А кончилось трагически.

Ну, сперва сцепились в обыкновенной драке. Хозяин Мастифа опытный офицер был, подполковник десантных войск. Сразу выломал доску из забора до по нам и врезал. У меня челюсти разжались, и мы с Мастифом нормально разошлись, не имея друг к другу никаких претензий. Дело в том, что когда у нас, боксеров или бульдогов, получается повторный стресс, то челюсти легко разжимаются. Первый стресс у меня был, когда мы схватились. Второй, когда мне доской попало между ушей.

Конечно, про эту драку Клавдия Агафоновна тоже рассказывает фантастические глупости. Мол, участковый совал ее кисе в пасть топор-колун с одной стороны, а подполковник с другой стороны совал мне в пасть дуло пистолета. И я на все это только жмурил глаза и сопел носом. Опять враки. Когда тебе в пасть суют наган или топор, то повторный стресс бывает еще сильнее, чем от доски. Тут уж и последний атавистический и дефективный щенок челюсти разожмет.

А что на самом деле получилось тогда плохо? А то, что Клавдия Агафоновна — мелкая женщина — написала в политотдел на полковника донос. Так, мол, и так, рядом с ее дачей проживает кадровый военный с баскервильским мастодонтом. Полковнику: «Вы советский офицер и, будьте любезны, если уж имеете собаку, то чтобы это была нормальная, человеческая собака, а мастодонта — отставить!» Тот, конечно: «Слушаюсь!» И отдал Мастифа безо всяких денег одному всемирно известному пианисту — там же, в Репино. А сам купил

болонку и уехал на Дальний Восток в десант.

Мастиф дважды от пианиста убегал.

Все подполковника искал.

Переживал мучительно.

Ловили.

Привык.

Пианист был хороший человек, отличный музыкант и горький пьяница. Мастифа полюбил. И Мастиф к нему со временем привязался.

Однажды дочка пианиста отобрала у папы деньги, чтобы сохранить ему здоровье и чтобы он «не добавлял».

Пианист дождался, когда дочь уйдет в филармонию, вытащил из-под дивана чемодан и полез на чердак. Там у него пустых бутылок было на сто рублей. А у Мастифа на чемоданы выработалась отрицательная установка. Все доги, если честно говорить, глуповаты. И Мастиф заволновался, когда хозяин с чемоданом вызвал знакомого таксера Васю. Понять, что пианист едет только бутылки сдавать, он не смог. Ну, взвой тогда, цапни хозяина за брюки, закати вообще истерику, как это Клавдия Агафоновна в нужный момент всегда делает! Так нет! Мастиф внешне изображал этакое безразличие. Вероятно, он все-таки английский дог был. А сам решил, что и новый хозяин его бросил навсегда.

Когда пианист вернулся с поллитрой, Мастиф лежал возле калитки. Отнялись задние лапы. Паралич.

Не знаю, отравили или застрелили его. А потом похоронили у дальней ограды участка. И когда мы с Клавдией Агафоновной приезжаем на дачу, я всегда навещаю Мастифа, хотя там воняет известью…

Да, о чем я?

О том, какая унизительная история случилась в воскресенье утром.

Я радостно обходил двор, нюхал запахи и вспоминал кое-что из прошлого. И вдруг Барсик:

— Ну что ты здесь крутишься, как электрон на орбите? Твою Хильду вчера водили на случку к Пирату. У него, между прочим, медалей еще больше, чем у тебя.

Весенний свет померк в моих глазах.

— Она натянула тебе нос не только с Пиратом,— сказал Барсик. И спрыгнул с поленницы.

Кровь приливала к белкам.

Губы вздрагивали.

Почувствовал: ветер обдувает клыки, сушит на них слюну.

— Медалированный скот, выйдем на улицу,— предложил

Барсик угрюмо.

Зарычал и ударил задними лапами по земле. У меня действительно четыре лауреатских медали есть. А кошкам их не дают. Отсюда и зависть, и недоброжелательность.

Барсик метнулся в подворотню.

Я уже не имел возможности проанализировать альтернативы поведения из-за слишком высокого эмоционального возбуждения.

Прыгнул за Барсиком.

Он в подворотню и на улицу — к скверу возле церкви.

Он несся как угорелый, как будто его выкупали в валерьянке. Но я уже близко видел светлые подушечки его негритянских, черных лап. Брызги — мне в морду. И — бах! Он промчался между прутьями ограды, а я застрял в них широкой грудью.

Горько было мне. Потому еще было так горько, что застрял я под самой вывеской «ВХОД В СКВЕР С СОБАКАМИ СТРОГО ВОСПРЕЩЕН!»

* * *

Рассказ этот я показал Юрию Марковичу Нагибину, который много мне помог в юности. Юрий Маркович рассказ разругал. Показывать дневник своего боксера Казакову я вовсе не решился.

И с 1963 года вернулся в моря на профессиональную судоводительскую работу.

Морю я обязан своим спасением.

«Вещать новое и художественное свойственно наивным и чистым, вы же, рутинеры, захватили в свои руки власть в искусстве и считаете законным лишь то, что делаете вы, а остальное вы давите».— Господи! Даже Чехов не мог спокойно переносить захват власти в искусстве сволочами, а он умел плевать на мелочи! Но ведь заорал? Да. А что это значит? А то, что на Руси вечно было так, как оно есть. Но ведь и литература была!

Горький: «Истинное искусство не может процветать среди социальной неискренности. Попробуйте объективно написать бытовой роман, и вы увидите, что это труднее изображения мировой проблемы».

Однако писали!

Мне же такое оказалось не по плечу.

Нырнул в океаны на многие лета.

Морская — так иди в свои моря.
Оставь меня: скитайся вольной птицей.

Умри во мне, как в мире умерла.
Темно и тесно быть твоей темницей.

Это Белла Ахмадулина.

Почему-то я очень удивился, когда узнал, что Твардовский тоже ценил и даже любил Цветаеву.

*

Я часто подкусываю женщин, но когда пришло время оглянуться, то оказалось, что две самые великие глыбы-личности нашей «новой» литературы — это именно женщины: Ахматова и Цветаева. Безукоризненное нравственное величие и чистота духа!

Цветаева — Пастернаку:

«Борис, но одно: *я не люблю моря.* Не могу. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, т. е. моя вынужденная, заведомая неподвижность. Моя косность. Моя — хочу или нет — терпимость. А ночью! Холодное, шарахающееся, невидимое, нелюбящее, исполненное себя — как Рильке (себя или божества — равно). Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, а это и есть — оно, все, что в нем ужасающего,— оно. Суть его. Огромный холодильник (Ночь). Или огромный котел (День). И совершенно круглое. Чудовищное *блюдце. Плоское*, Борис. Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребенка (корабли). Его нельзя погладить (мокрое). На него нельзя молиться (страшное. Так, Иегову, например бы, ненавидела…). Гора — божество. Гора разная. Гора умаляется до Мура (умиляясь им!). Гора дорастает до Гётевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора с ручьями, с норами, с играми. Гора — это прежде всего *мои ноги,* Борис. Моя точная стоимость. Гора — и большое тире, Борис, которое заполни глубоким вздохом.

И все-таки — не раскаиваюсь. „Приедается все — лишь тебе не дано“. С этим, за этим ехала. И что же? То, с чем ехала и за чем: *твой стих*, т. е. преображение вещи. Дура я, что я надеялась увидеть воочию *твое* море — заочное, над’очное, внеочное. „Прощай, свободная стихия“ (мои 10 лет) и „Приедается все“ (мои тридцать) — вот мое море.

Борис, я не слепой: вижу, слышу, чую, вдыхаю все, что полагается, но — мне этого мало. Главного не сказала: море смеет любить только рыбак или моряк. Только моряк или рыбак

знают, что это. Моя любовь была бы превышением прав („поэт“ здесь *ничего* не значит, самая жалкая из отговорок. Здесь — чистоганом).

Ущемленная гордость, Борис. На горе я не хуже горца, на море я — даже не пассажир! *дачник*. Дачник, любящий океан… Плюнуть».

Часть вторая

Париж без праздника

§ 1

Программа пребывания члена Союза писателей СССР во Франции (по обмену МИД)

«ЦЕЛЬ: сбор материала для прозаической книги „СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА“ о русской балерине дягилевской труппы Ольге Хохловой, близкой подруге моей матери, первой жене художника Пабло Пикассо.

СРОК: 14 суток.

1-й день. Прибытие в Париж, посещение Посольства СССР, устройство на жительство, налаживание связей с нужными для дела знакомыми парижанами.

2-й день. Посещение Музея Пикассо, встреча с сотрудниками. Вечером — любой спектакль в театре Шатлэ (желательно балет и желательно побывать за кулисами).

3-й день. Поездка на могилу генерала Де Голля, которому в свое время дарил книгу и получил благодарственное письмо, где он высказался о необходимости сугубо дружественных отношений между Францией и СССР для обеспечения стабильности в Европе. Вечером — любой спектакль в „Театре Елисейских полей“. (Во всех указываемых театрах на „Русских сезонах“ работали мать, ее старшая сестра Матильда Конецкая и Ольга Хохлова. Театры с тех времен не перестраивались, а мне нужен их „антураж“.)

4-й день. Вылет в Ниццу для посещения дома Пикассо (музея) в Каннах-Антибе, ателье Мадура и часовни в Валлори. В Монте-Карло — „Театр оперы“, где Дягилев ставил „Дафниса и Хлою“. Поездка в Авиньон, где одно время жила семья Пикассо.

9-й день. Выезд из Ниццы в Гренобль, где находится Международный тренажер по управлению судами супербольшого тоннажа, и посещение Гляциологической лаборатории (руководитель Клод Лорус). Это мне нужно для работы над книгой на **морском** материале.

11-й день. Возвращение в Париж. Выступление в обществе „Франция — СССР“, „Тургеневском обществе“ („Тургеневской библиотеке“), перед работниками нашего посольства или вообще там, где будет надо. Тема: современная советская литература, VI съезд писателей СССР.

12-й день. Лувр. Вечером — любой спектакль в „Гранд опера“

с проникновением за кулисы и разговорами со старожилами.

13-й день. Встреча с господином Жаном Перюс, славистом, старым коммунистом; неоднократно принимал его у себя в Ленинграде.

14-й день — буду действовать по обстановке, которая к этому моменту сложится. Готов к встрече и выступлениям перед любыми группами эмигрантов из СССР (многих из эмигрантов-писателей знал лично). Их нынешний образ мыслей, быт, степень ностальгии очень интересуют. И не только из чистого любопытства, которое тоже есть, но и для задуманной работы (Ольга Хохлова, хотя и стала женой великого художника, но без родины-то осталась навсегда).

*

Отлично понимаю, что и эти наметки программы в реальности выполнить окажется чрезвычайно сложно. С уважением…»

§ 2

Весь этот фантастический бред отправился в МИД Франции (10.07.1986 г.).

Французы в этот момент на нас злились. В результате срок пребывания сократился до одной недели, а место пребывания — на манер шагреневой кожи — до одного Парижа. Дату выезда МИД Франции откладывало трижды.

Вылетели 13 января 1987 года из Москвы. Трое. Я — руководитель делегации.

Состав: магометанин (не ест ветчины) по имени Мохаммад и столичная дамочка из академических кругов с англо-французским именем Ирэна, но вовсе не похожая на женщину Вертинского: «Я люблю ваше тонкое имя Ирэна…» Увы, совсем не похожая. Так же, как Мохаммад не похож на Магомета, хотя и не ест свинства.

Всю жизнь не везет на попутчиков при воздушных и сухопутных путешествиях.

Магометанин разыскивал в Париже родную правнучку Фридриха Энгельса, который, по моим сведениям, детей не имел, — книга для политиздатовской серии о пламенном дагестанском революционере.

А Ирэна в первый же день успешно нашла белое длинное платье за восемьсот франков, которое для нее сняли с витражного

манекена. Надо было видеть выпученные глаза Мохаммада, когда он обнаружил голый женский манекен: стриптиз?! И надо самому слышать его «цок-цок-цок!» — так он делает языком в моменты всяческих заграничных потрясений — первый раз покинул отечество. Биде в номере повергло Мохаммада в шиитский транс на полдня: «Чего они только — цок-цок-цок! — тут придумали! Ай-ай-ай! Сколько это будет стоить? На наши деньги? Не знаешь? А в каком году здесь придумали метро? Тоже не знаешь?» Самые нужные заграничные слова магометанин записывает на бумажку. И «биде» записал. Но даже процесс графической фиксации не помог. До самого конца поездки он не внедрил в свой череп «мерси»…

*

Рыская по Музею Пикассо и на полном ходу успевая пресмыкаться перед его всемирным величием, я еще пытался надиктовывать свои эмоции, ощущения, названия картин и их содержание на малюсенький японский магнитофончик, который дал мне на время Юра Резепин — капитан теплохода «Кингисепп»,— Юру я дублировал в навигацию 86-го года в трудненьком рейсе Мурманск — Диксон — Тикси — Зеленый Мыс — Певек — Зеленый Мыс — Дудинка — Игарка. Магнитофончик барахлил, инструкции к нему не было, и (к великому моему счастью) ничего из бормотаний моих в залах Музея Пикассо не записалось. А «к счастью» — потому, что к концу осмотра ничего от пресмыкания во мне не осталось. Наросла только и даже расцвела пышным георгином усталая раздражительность. Да, увы, Пабло не для моих вставных зубов. Ему Вознесенский нужен — как минимум.

И все стояла перед глазами рецензия Феллини на выставку произведений швейцарской художницы Анны Кеель. Три четверти рецензии — воспоминания гения кинематографа о тех двух случаях, когда он позировал для средней известности живописцев. В детстве — по причине замечательно тощего тела («как у деревянной куклы») и выпученных глаз — живописец написал с Феллини отрока, который валится в ад вместе со стадами овец, пастухами и собаками. Фреску в новой церкви капуцинов художник не закончил и от расплаты сбежал в Бразилию. Но все же одна рука Феллини на фреске торчит до сих пор. Рука обороняется от чего-то, падающего сверху. Второй раз Феллини позировал живописцу, который нашел в нем сходство с Бетховеном. Из этого дела тоже ни фига не вышло, и модель

вместе с творцом отправились в бар.

«Редко можно в теперешней жизни найти художника, который обладает мужеством не скрывать свои изобразительные способности» — так замечает замечательный Феллини в своей рецензии.

С ним смыкается наш П. В. Палиевский в статье «К понятию гения». Автор рассуждает про характерное для XX века явление «гения без гения». Там и о «Гернике», хотя автор и не называет знаменитую картину прямо: «…присоединяться можно не только к именам, но к чему угодно уже известному, например к событию, поразившему мир, которому гений посвятит свое создание или прямо трагически выразит его какой-нибудь искромсанной дрянью, подчеркнув смятение души,— кто осмелится отбросить? Людям в момент печали не до того; отвергнуть загадочное сочувствие было бы и невежливо. А когда обнаружится глумление, не всякий — далеко нет! — решится признать обман; да и зачем, в самом деле? Лучше уж обойти его стороной, тем более что гений, как выясняется, перешел уже в другой „период“».

Вот и я в последнем зале Музея Пикассо обошел сторонкой великое творение, изображающее, вероятно, одну из жен художника. Супруга воссоздана вместе с подлинной детской коляской. Голова ее — или кастрюля, или форма для пасхи, как я помню эти формы еще из детства. Вместо грудей формочки для бисквитов. Из чего сделаны ноги, не рассмотрел, потому что меня нормально замутило. Скульптура эта огорожена со всех четырех сторон страховочным канатом. Вокруг толпилось порядочно народу со всех концов света, и экскурсовод лепетала на всех языках сразу какие-то почтительные объяснения о гениальном произведении.

Особенно тошно было мне потому, что последняя супруга Пикассо месяца за два до моего приезда в Париж выстрелила себе в рот — очень редкий вид самоубийства для женщины. Французские газеты продолжали гадать о том, почему вдова гения, супермиллионерша, еще сравнительно молодая женщина, окруженная ореолом всемирной славы своего супруга, имеющая возможность общаться с самыми интересными и прекрасными людьми нашего времени, вдруг так нелепо и страшно покончила с собой.

Портрет же первой жены — один из самых великих женских портретов XX века.

Летом 1917 года поэт Жан Кокто, написавший либретто на музыку Эрика Сати к балету «Парад», предложил своему другу Пикассо создать декорации для этой постановки. И оба они отправились в Рим, где в то время гастролировала труппа

русского балета.

Многие месяцы Пикассо провел в обществе танцоров, людей музыки, театра.

Искусство Анны Павловой, Карсавиной, Фокина оказало решающее влияние на смену стиля Пикассо. Интерес художника к красоте человеческого тела, который, казалось, навсегда пропал в годы кубизма, возродился. Таким образом наш балет вернул Пикассо к классическому реализму.

Он делал массу зарисовок танцовщиц во время репетиций. Вполне вероятно, что пластика тел моей мамы и тетушки помогли гению обрести праведный путь, но потом он опять свихнулся.

Да, действительно таинствен и даже страшен путь Пикассо от классической простоты великого реализма к кастрюлям, формочкам для бисквитов, к металлическому чучелу-пугалу, толкающему подлинную детскую коляску, в которой, вероятно, живая женщина возила теплого ребенка.

*

Пикассо: «В конце концов, единственно важна легенда, порождаемая картиной». Какое-то странное и настораживающее декларативное заявление. Оно настораживает еще и тем, что не можешь понять, о чем он говорит. Важен шлейф, который тянется за картиной, этакий кометный хвост? Так ведь подлая кража какой-нибудь картины из Лувра тоже порождает легенду через обыкновенную сенсацию…

И все-таки гений есть гений. Он сам разъясняет: «Эти люди (это о Сезанне и иже с ним) жили в невероятном одиночестве, которое, пожалуй, было для них благословением, даже если и было их несчастьем. Что может быть опаснее симпатизирующего понимания?»

Вот это вопросик! Он по зубам только гению. Ведь каждый из нас-то — рядовых — как раз и стремится к симпатизирующему пониманию!

Ведь кажется, что главная задача художника — искать в душе зрителя счастье сопонимания, хотя бы на доли секунды…

Думаю, что «Герника» так поражает зрителей еще и своими огромными размерами. А мое непонимание Пикассо имеет те же корни, что и тормоза нашей апрельской весны и вообще перестройки: застарелый консерватизм, бюрократизм, разрыв между словом и делом, между замыслами и практическими действиями, создававшийся во мне многими десятилетиями механизм ретроградства, который, как всем известно, особенно

цепок в психологии, а особенно в психологии, которая занимается художеством. Есть во мне еще и нехватка темперамента, конструктивности, смелости в постановке проблем. Дают себя знать и болезни — тромбоз вен нижних конечностей, поверхностность, «идеебоязнь» — как заметил секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев; подмена анализа назидательностью, слабоватость в культуре дискуссий, часты случаи, когда одна полуправда заменяется другой четвертьправдой, а от такого особенно страдает сама правда. Свойственна мне и поспешность, что никак не свидетельствует о моем высоком журналистском профессионализме.

В результате я намертво споткнулся на новаторстве Пикассо.

А преследуя Ольгу Хохлову, вдруг оказался на приеме в Обществе французских писателей. Шикарнейший особняк с садом. В вестибюле «Бальзак» Родена. Были президент, руководитель ассоциации критиков, поэты, прозаики, искусствоведы. Прием с шампанским и виски.

В СП меня просили договориться с этим Обществом о безвалютном обмене писателями. Хотя огромный интерес французов к Пикассо распространился и на мою особу, но никакого разговора об обмене у меня не вышло. Вообще никакой политики и никаких практических вопросов не было. Люди на прием приехали даже из пригородов Парижа — это подвиг, равный сталинградскому, ибо снег и десятиградусные морозы вызывали у французов настоящую панику.

Президент Общества бесконечно извинялся, что какой-то главный спец по Пикассо не смог преодолеть сугробы и прибыть.

Самая моя крупная гафа — под финал никак не мог понять, что откланиваться уже давным-давно пора: переводчица намекнула слишком деликатно.

Я заговорился с каким-то критиком, который немного знал русский язык и вообще был похож на русского, во всяком случае глаза у него были такие добренькие, какие бывают только у наших добрых пьяниц. Жена — скульптор. Она только что закончила оформление фасада дома в 19-м районе Парижа. Это самый бедный район. И, вероятно, потому ей разрешили там экспериментировать без всякого удержу. И она осуществила свою давнишнюю мечту — попыталась заменить скульптуру на фасаде неповторимостью человеческого почерка. Как я понял, она попыталась вложить в буквы французского алфавита такой же смысл, как японцы и китайцы вкладывают в художественное рисование иероглифов. Полости букв на фасаде дома заливали цветным бетоном. Когда еще только знакомились и я узнал, что она скульптор, то проверил ее руки на мозоли,— мозолей, в

отличие от Эрнста Неизвестного, не оказалось. Вот тогда она смутилась и стала объяснять про свою иерографическую деятельность. Очень славная, маленькая женщина: «Я хотела своими „фресками“ сказать этим несчастным и бедным людям, что человек счастлив один раз — когда он родился…» Понимайте это как вам угодно.

Мало кто знает, что наш скорбный белорусский писатель Василь Быков до войны учился в художественном училище на скульптурном факультете.

§ 3

Отчет о моих частных встречах с деятелями культуры Франции и эмигрантами

«**Жан Лимари.**

15 января, вечер, встреча в моем номере, переводчик Анне Ренард.

Жану за 80, друг Пикассо с 46 года, очень известный и во Франции и в СССР искусствовед и эссеист. Разговор только о причудах Пикассо, Ольге Хохловой и восторги от посещения Ленинграда, где ему каждый час приносили в номер бутылку шампанского, а все искусствоведы говорят по-французски. Обаятельный старик, помнит еще Наталью Гончарову и ее великую живопись. Для задуманной мною работы встреча была очень полезна. Вывел меня на другого специалиста по искусству начала века Бориса Кохно (Кошно) — этот владеет русским так, что из кино приезжают его записывать, когда снимают фильмы „про Петербург“. С Борисом встретиться не удалось.

Мишель Лерис.

Был у него дома в сопровождении К.-С. Кароля и переводчицы Ренард. Старейший поэт и меценат Франции. Самый аристократический район Парижа. Чрезвычайно труднодоступный господин. При мне категорически отказался давать интервью для „Нувель обсерватер“. Переводчица чуть не рухнула в обморок, ибо стены квартиры обвешаны подлинными Леже, Пикассо и другими супервеликими. Никаких разговоров о политике. Думаю, он сделал состояние, ибо одним из первых „открыл“, начал собирать и продавать „новую“ живопись начала века. Прекрасная память. Я узнал массу мелочей из отношений Пикассо с Хохловой. Ввел меня к нему мсье Кароль, который живет через дом от патриарха. (Это подчеркивает значительность фигуры самого Кароля.)

Кароль.

Познакомился с ним на обеде у Жана Катала.

Прекрасно владеет русским, ибо с 41-го по 45-й воевал в составе Донского казачьего корпуса. Затем два года в Польше готовился к дипломатической работе. Для изучения французского языка был послан в Гренобль, дальнейшее — черный ящик. Человек состоятельный, пригласил меня в русский ресторан (название не запомнил), закатил шикарный обед, цены там не для диссидентов. В ресторане он был с госпожой Моник. Она переводчица с русского, училась в Москве, перевела книги Абрамова, сейчас заканчивает перевод однотомника Фазиля Искандера, влюблена в русскую прозу.

Кароль подарил мне свою книгу на английском „Жизнь в Советском Союзе с 1939 по 1946 гг.“ Даря, спросил: „А вы не боитесь везти ее в Россию?“ Из чего я понял, что книга не для вечерних университетов марксизма. При этом резко отчуждается от оголтелых антисоветчиков: „Я четыре года воевал вместе с советскими солдатами, я знаю Россию и верю, что за вами будущее“. (Был ранен, один глаз или косит, или искусственный — след ранения.) По приглашению Кастро три месяца прожил на Кубе, чтобы написать о ней книгу, но потом: „Мы с Кастро не смогли понять друг друга“.

Накануне встречи со мной был принят или главным редактором „Коммуниста“ Фроловым или членом редколлегии „Коммуниста“ Федосеевым — точно не засек. Получил от них № 13 журнала со статьей Т. Заславской. Этот номер гремит в Париже наравне с перепиской Эйдельман — Астафьев.

(Вообще-то не только русско-еврейские и еврейско-русские отношения у нас весьма своеобразны. И внутрирусские, и внутринациональные отношения, на мой взгляд, тоже своеобразны. Поэт Сергей Давыдов рассказывал, как вместе с другим пиитом Олегом Шестинским поехали они выступать в Волгоград.

Из окон интуристовской гостиницы пииты увидели компанию парней. Парни сидели на берегу матушки Волги, играли на баяне и пели народные песни,— дело было еще до роков, панков и металлистов — в старые добрые времена. Шестинский, стремясь к народности и демократизму, надел под пиджак тельняшку, и ленинградцы отправились наводить мосты с местными парнями. Ну, подошли к компании. Шестало (подпольная кличка Шестинского) распахнул пиджак, мелькнул тельняшкой и сказал:

— Здорово, ребята! Я — с берегов Невы! (Тогда его еще не спровадили с этих берегов в столицу: мы, ленинградцы, постоянно и равномерно снабжаем матушку Москву секретарями

СП, начав аж с Кочетова.)

В ответ на представление ленинградца самый здоровый сталинградский парень встал, безмятежно размахнулся, врезал балтийскому пииту в глаз и миролюбиво объяснил:

— А мы, друг, с Волги!

Это называется: „Загадка русской души“.

Ведь никакой поэзии этот волгарь не знал и никаких личных претензий к знаменитому переводчику с болгарского языка не имел. Думаю, ему просто размяться захотелось.

Не удержусь, повторю еще раз. Итак: „Здорово, ребята! Я — с берегов Невы!“ Другой: „А мы — с Волги!“ И — фингал другому русаку под глаз.)

Натали Саррот (Наталья Ильинична).

Об этой загадочной французской писательнице и замечательном человеке (петербургская уроженка) у нас знают достаточно. Осенью хочет прилететь в СССР — „показать дочери Россию“. В путешествие собирается только НЕОФИЦИАЛЬНО — без прессы, интервью, за свой счет. Деньги собирается получить из ВААП за две вышедшие у нас книги. Об этих деньгах просила похлопотать через Маргариту Алигер. (Беспокоит сумма гонорара: вдруг не хватит на посещение не только Москвы, но и Ленинграда.)

По просьбе нашей культатташе уговаривал Натали приехать в Москву на Февральский форум деятелей культуры. Ее отказ не связан с политическими мотивами, но, возможно, ее не устраивает компания: Андре Стиль, Базен и какой-то главный французский модельер, который катит в Москву по личному приглашению Майи Плисецкой. Натали предпочла бы Стендаля или — в крайнем случае — Сальвадора Дали.

Из эмигрантов встретил еще на обеде у Жана Катала Эткинда. Он почти все время молчал. Только улыбался, когда жена Катала Люся рассказывала, что у нас на сибирских рудниках работают рабы-вьетнамцы, а потом совала мне для передачи ее брату в Союзе два кило чернослива, ибо у нас этой дряни нет. Когда я говорил, что мои уши скрутились трубочками от рабов-вьетнамцев в Сибири: „Неужели вы не понимаете, что вьетнамцы — южные люди и передохнут в Сибири в первую неделю??“ — на это мне говорили, что я несу пропаганду.

Больше об эмигрантах не буду, так как дальше пишу о своих с ними встречах.

И последнее: для выезжающих за границу советских писателей следует устраивать техминимум или симпозиум, ибо один из моих спутников по уровню своей общей и частной культуры — чистокровный шимпанзе, а это позорно для страны.

02.02.1987, Л-д.».

Печальная контаминация

Контаминация — 1) смешение двух или нескольких событий при их описании; 2) соединение текстов разных редакций одного произведения.

«…Казалось, что это ненастоящее, что это открытка…»

В. Некрасов. Маленькая печальная повесть

В телефонном справочнике,— три тома петитом на папиросной бумаге, в тумбочке у изголовья, без микроскопа не прочитаешь,— Некрасова не оказалось.

В левацких писательских организациях и заведениях его телефон мне, как старому коммунисту, не говорили. Возможно, опасались быть уличенными в связях с диссидентом. В правых заведениях тоже хранили телефонную тайну, вероятно опасаясь моего в адрес Некрасова террористического акта. Тем более террор во Франции бушевал на двенадцать баллов.

Вышел я на Виктора Платоновича только на третий день через своего переводчика мсье Катала.

Позвонил Некрасовым около полудня.

Ответил женский голос по-русски. Я назвал себя и добавил, что прилетел из Союза, из Ленинграда.

Раздалось:

— О, Виктор Платонович сейчас в ванной под душем, не могли бы вы позвонить минут через десять?

— Нет! — сказал я.— Я еще ни разу не разговаривал по телефону с голым и мокрым эмигрантом. Зовите, мне не терпится.

В трубке было слышно, как женский голос прокричал: «Вика! Тебя какой-то советский писатель! Ленинградский! Виктор!» Затем раздался, вернее, донесся мужской рык: «Что? Черт! Донецкий? Скажи, что я иду!» Мужской рык был с неповторимым одесско-киевско-шпановским акцентом, то есть принадлежать он мог только Виктору Платоновичу Некрасову.

— Алло! Он уже бежит! — доложил женский голос.

— Алло! Это действительно ты? — спросил Некрасов.

— Привет,— сказал я.— Первый раз говорю с мокрым и голым эмигрантом! Просто потрясающе! С тебя капает на

кленовый паркет или на персидский ковер?

— Да, едрить твою мать! Даже на хрустальную люстру капает! Слушай, мне надо вытереться!

— Тогда запиши телефон, буду ждать,— сказал я, ибо звонил из номера отеля и всеми советскими фибрами ощущал, как электронный счетчик отсчитывает франки: во Франции звонить из гостиницы можно только за деньги. А французское МИД, по приглашению которого я находился в отеле «Аэробика», то есть «Авиатик», выдало на все про все 1200 франков — один ужин в приличном ресторане. Ну а хлебосольная Москва выдала 300 франков — два бутерброда с ветчиной и пять кружек пива. Цены на выпивку и закусь во Франции не идут ни в какое сравнение со стоимостью уцененных пуловеров и тем более колготок — черные, с кружевным развратным рисунком колготки всего-то 20–30 франков. Вот и занимайся арифметикой на старости лет.

Виктор Платонович позвонил через пять минут и назначил свидание на бульваре Монпарнас, дом 59 — кафе «Монпарнас», на 14 часов.

— Найдешь?

— Да. Это два квартала от моего отеля. Знаешь «Авиатик»?

— Нет.

— Улица Вужирар, сто пять.

— Вожирар.

— Ладно, не будем мелочны. До встречи! Да, а в кафе раздеваться надо внизу? Гардероб там или что?

— Нет, эти лягушатники не раздеваются даже в опере. Поднимайся по лестнице на второй этаж и садись к окну, если придешь раньше меня.

— О'кей!

За широким и высоким окном номера густо и монотонно падал парижский снег. 16 января. За бортом минус десять. Национальное бедствие для лягушатников. Снег безжалостно заносил корявые миниатюрные деревца на балкончике дома напротив. Очень симпатично, когда на карнизах, выступах, нишах домовых фронтонов растут зеленые создания.

В Ленинграде остался один-единственный плющ — он оплетает стену Института культуры имени Крупской, выходящую на Марсово поле,— самый живой дом в городе. Сейчас там ремонт, и я боюсь, что последнему плющу, или хмелю, или дикому винограду, придет конец, хотя его корни прикрыли дырявым железным раструбом. Сколько раз скользила мысль: если есть один морозоустойчивый плющ, то можно развести их и тысячу, и тянуло тайком отломить веточку, попробовать

вырастить у себя на балконе…

Снег падал на зеленые деревца напротив и заносил автомобили, которые дрожали от холодрыги на дне уличного ущелья Вожирар.

В номере было жарко и душно. Краник на отопительной батарее не работал, а если откроешь окно, снег и холод моментально заполняют номер и ветер задирает шелковое покрывало на широченной двуспальной кровати.

Русского чтива не было. Только три толстенных телефонных молитвенника на тумбочке у изголовья.

Своих подчиненных спутников я отпустил на все четыре империалистические стороны света.

Без стука вошла горничная, испуганно сделала книксен — в это время дня постояльца никогда не было в номере.

Я воспользовался случаем и вручил девушке несколько ленинградских открыток. Она еще раз сделала книксен и вышла.

Увы, она меня ничуть не взволновала. Времена Франциски из Хорватии канули в Лету.

В отеле было тихо — как на подлодке, которая легла на грунт и заглушила двигатели. Или как утром в городе после ночной бомбежки.

Снег все валил за окном, но все не мог завалить наглухо деревца на фронтоне противоположного дома. Они, возможно, выделяли тепло, живое и упрямое. Левее декоративных растений было окно — третий этаж. Поздними вечерами я смотрел в него на частную французскую жизнь. Женщина средних лет стелила на тахте пледы, потом задергивала занавеску.

Сквозь занавеску еще минут двадцать мерцал телевизор — как раз столько, чтобы подействовал нембутал, то есть помог мне преодолеть зыбкую мягкость роскошной постели и зыбкую сумятицу мыслей и чувствований. Мне этот (второй) раз в жизни Париж не дарил ни секунды радости. Быть может, из-за снега и морозца, и плывущих по Сене льдин, и застывших автомобилей, на которых побаивались ездить даже таксеры, и мы не вылезали из метро, четверть станций которого была закрыта — забастовка железнодорожников перекинулась и черт-те знает на кого еще, под землю…

…Хорошенькие сравнения я нашел, чтобы описать полдневную тишину парижского отеля в январе одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года! Но, как твердит Грэм Грин: «Я репортер, а бог существует только для авторов передовиц». (Ибо у репортера ни о чем не бывает своего мнения.)

Так и не понять: зачем я в Париже — в предчувствии новой книги, где мне предстоит описать ностальгию во всем ее пышном

и зловещем цвете, или в честь и память матери? Всегда, когда я наливаю воду «через руку», то есть левой рукой вправо или правой влево, вспоминаю мать: «Это плохая примета, не смей так делать!»

*

На втором этаже кафе «Монпарнас» было полупустынно. Я сел к столику у окна, снял дубленку, расположился с удобствами: ждать надо было еще минут пятнадцать.

Через площадь был виден огромный небоскреб, вполне нелепый,— Монпарнасская башня, на пятьдесят втором этаже которой прошлым вечером французская полиция провела эффективную операцию по борьбе с террористической экстремистской группировкой «Аксьон директ». У террористов нашли одиннадцать килограммов взрывчатки — вполне достаточно, чтобы крыша одного этого нелепого небоскреба взлетела намного выше Эйфелевой башни.

Об этом я раздумывал, когда подошел официант и высадил меня от приоконного столика в глубину зала. Из иностранного бормотания гарсона я уяснил, что возле окна имеют право располагаться только компании, а не одиночки. Господи, на родине официанты вечно гоняют от столика к столику, и здесь тоже… Ну вот, домашняя тренировка и пригодилась — я не взорвался, не полез в бутылку, пересел послушно и стал формулировать первую фразу, достойную нашей встречи.

Если Виктор Платонович опоздает, то я скажу: «И это офицер-сапер?!» Если придет вовремя: «Точность — вежливость королей!» Боже, какая пошлятина лезет в голову… Но уж от некоторых тривиальностей я уклоняться не буду и «Умом Россию не понять» брякну обязательно.

И брякнул.

Но сперва пятнадцать минут записывал кое-что из впечатлений прошедшего утра, а потом над полом в центре зальца из лестничного люка появилась не покрытая никакими шапокляками знакомая голова, со знакомым волнистым чубчиком и знакомыми усиками. Я опознал его мгновенно. И он тоже мгновенно засек меня.

Ну, обнялись.

Ну, прослезились.

— Зачем ты заказал эту дрянь? — спросил он, брезгливо отодвигая в сторону мой кофе.— Пить будем пиво. И только пиво. Плачу я. Не спорь. Ты у меня в гостях.

— А я и не буду спорить, ибо умом Россию…

— Не понять, в нее, так ее через так, и через этак, можно только верить, мать ее… Гарсон!

Он снял пальто. Из кармана пиджака торчала вязаная шапочка. Шарфа не было. Голая жилистая шея и голая грудь в вырезе до второй пуговицы рубашки.

Французский заказ гарсону пива он продолжал пересыпать таким хриповатым саперским матом, что я несколько раз (невольно) дергал лауреата Сталинской премии за рукав и молитвенно просил сбавить обороты: «Вика, тут же могут быть русские!» Он отмахивался: «Пускай родной речи радуются, и вообще я их всех тут…»

— Слушай,— спросил я.— У нас говорят, что ты здесь получаешь пенсию как ветеран Отечественной войны в советских инвалютных рублях.

— Чушь. Какая пенсия? Скажи, что там у вас творится с водкой? Вовсе купить нельзя? И это правда, что она подорожала в два раза?

— Ну, тут надо целую лекцию читать,— сказал я.— Особенно если будем пить одно пиво.

— Другого не могу. Возраст. С перепоя так плохо, что… Это только здешние Шираки заглотят поутру таблетку аспирина — и никаких синдромов. У них даже утреннего трясуна не бывает…

— Это правда, что последней каплей, которая переполнила твою чашу, был кумачовый плакат над Крещатиком: «Выше роль женщины в сельском хозяйстве хохлацкой республики!»? Говорят, ты увидел этот плакат и заявил, что лучше помереть от тоски по родине, нежели от злобы на родных просторах?

— Вот только теперь я тебя окончательно идентифицировал. Когда наслышался твоей картавости.

— Не картавость, а мягкое эль,— сказал я.— Помнишь, как в Ленинграде, в ресторане «Восточный», теперь отчего-то в «Садко» переименовали, заставлял меня произнести «отоларинголог»?

— Я тогда «Киру Георгиевну» писал. Тому двадцать семь лет прошло. Кира Георгиевна в детстве «эр» не произносила и от «отоларинголога» впадала в транс.

— Я и сегодня эту абракадабру произнести не могу,— сказал я.

Мы шарахнули по первой кружке французского — без всякой водяной примеси — пива, закурили — я «Космос», Виктор Платонович свой неизменный «Голуаз», самые крепкие и дешевые французские сигареты, с этаким черным табаком.

— Расскажи-ка про «Новороссийск»,— попросил Некрасов.— Как он потонул? По пьянке, конечно, они столкнулись?

— Какой «Новороссийск»? — не понял я.— Какая пьянка?

— Прости, я спутал. «Нахимов». Здесь писали, что на обоих судах все были пьяные. Они столкнулись на подходе к Новороссийску.

— Ты с ума спятил! На мостике пьяных не бывает, а уж на выходе и подходе к порту…

— Ты сам моряк — вот и защищаешь своих.

— Не неси бред. К новороссийской беде водка никакого отношения не имеет.

— Слушай, мы же договорились говорить правду. Объясни тогда, как они на ровном месте… Это же такое горе!

— Слушай, мне надо часа два, чтобы тебе что-то объяснить и судебного разбирательства еще не было, я сам толком ничего не понимаю.

— А все-таки они были пьяные. А ты врешь по принципу: моя хата с краю и окна в другую сторону.

Ну что ты будешь с ним делать?!

— Слушай, я был в рейсе, когда все это случилось. А когда в рейсе получаешь известие о катастрофе, то переживаешь особенно сильно. Точно могу тебе одно сказать: никогда мы не получали таких архидурацких радиограмм от министра, как тогда. Вот это действительно факт, а не реклама.

— Ты все еще плаваешь?

— Эту навигацию отплавал опять в Арктике: Мурманск — Диксон — Тикси — Колыма — Певек — Колыма — Игарка. Два месяца как вернулся.

— Господи, как я тебе завидую! — вырвалось у него.— Два месяца назад был на Колыме?!

Он не только завидовал, он ко мне «проникся». Спросил, конечно, причину моего появления в Париже. Я объяснил, что обследую разных жен Пикассо.

— Кажись, они не отличались выдающимися умственными достоинствами,— заметил Некрасов.— А ежели грубее, Толстого перефразирую: «Господа, как я понял, все жены Пикассо были достаточно глупы для того, чтобы их любил гений». Хотя каждая соответствует его «периоду», а это не фунт изюму… Ладно, слушай, как теперь с водкой там, на Севере, на Колыме?

— «А там, на Севере, в Париже…» Сухой закон по всей трассе Великого морского пути. Только в Дудинке по каким-то талонам спиртное продают. Мне лично за три месяца перепало два раза.

— И как же там люди живут?

— Плохо, Вика, очень плохо. Выжрали всю дрянь. Про одеколон, конечно, и не говорю. Это на уровне здешнего «Наполеона». У пограничных солдат сапожную ваксу изъяли. Ее

каким-то образом тоже научились употреблять.

— Это ты серьезно?

— Мы же договорились, что будем правду.

— А как там со жратвой?

— Ужасно. Сухое молоко выдают детям по специальным спискам. Сменим-ка пластинку. Ты же не из тех, кто сует пальцы в рану? Или уже из них?

— Нет, не из них. Но что будет дальше?.. Нет, не спрашиваю. Вряд ли что-нибудь радостное. А плохое всегда успеваешь узнать.

— Правильно. Тыкать пальцами в раны имеют право только те, кому эти раны принадлежат. Слушай стихи. Это про «Нахимова».

Когда чей-то борт
Пробивает чужими форштевнями,
Иль штормом суденышко
Бросит на скалы, на мель,
А люди за бортом
Кричат голосами пещерными,
Такими, что, может быть,
Сам Посейдон онемел,

То с берега сразу
Прибудут эксперты ученые,
Смешавши подобьем коктейля
И правду и ложь,
И в черных машинах
Осенней дорогою черною
Моих капитанов
Конвой повезет на правеж.

Сидят прокуроры
И морщат мучительно лобики,
И в белую пену бумаг
Окунают персты,
В глазницах у них
Не зрачки, а железные гробики,
А жены у них,
Словно Доски почета, чисты.

Их бьют, капитанов,
Железными, ясными фактами,
Распяв на кресте
Штормовых, непредвиденных драм,

Не зная: сердца капитанов
Пробиты инфарктами,
Хоть их не фиксируют
Перышки кардиограмм.

А чайки противно скрипят,
Будто в шлюпках уключины,
Прибрежный маяк
Почему-то надолго погас,
А годы морские
Винтами сквозь сердце прокручены,
И в каждую дырку
Заложен тяжелый фугас.

На мостике стойте,
Шутите с командою бодренько,
Но помня в прогулке
От бака до самой кормы,
Что каждый моряк
Для жены заместитель любовника
По части валюты,
По части жратвы и «фирмы́».

Теперь вы рабы
Распорядка известного, четкого,
Где «попки» на вышках,
Солдат, автомат на ремне…

О дай же вам господи
В лагере срока короткого,
И дай же вам боже
Погибших не видеть во сне…

— Это твои?

— Нет. Есть такой поэт Ян Вассерман, судовой врач, альпинист, дальневосточник, плавал на «рыбаках», из вечных правдоискателей.

— Это напечатано?

— В письме ко мне.

— А теперь будет напечатано?

— Не думаю.

— Какие-нибудь еще его стихи помнишь?

— Пожалуйста. Это еще семьдесят девятый год. «Залив

Креста». Есть такой залив на самом дальнем краю русской земли. А эпиграф из меня: «Соловки — это запах тления и разрушения».

Есть на краю земли Залив Креста,
Там грязный снег стреляет в щеки колко,
Но голубая, ледяная корка
Над тем заливом девственно чиста.

Поселок там, как почерневший труп,
Где ребрами — обугленные рейки,
И вылезает серый дым из труб,
Как вата из дырявой телогрейки.

Там лагерь был. Войди и посмотри:
Сторожевые вышки, как бояре.
Сутулятся, как батраки, бараки,
С засовами снаружи — не внутри.

Продутая земля под цвет халвы,
Есть одинокий дуб и восемь кладбищ,
И словно сотни ровных, серых клавиш —
В одном ряду могильные холмы.

Чьи здесь зарыты мысли и слова?
Кто мертвых помянет хотя б молитвой?

Облезлая дощечка над могилкой,
И надпись на дощечке: «М дробь Два…»

— Это напечатано?

— Еще нет.

— А будут?

— Теперь будут. Обязательно.

— Значит, не все можно?

— Значит, не все.

— Это правда, что по телевидению показывали моих «Солдат»?

— Слухи были, но точно я не знаю, ибо сам не видел. А покажут обязательно. И «Окопы» переиздадут — как пить дать. И скоро. Все мы из твоих окопов вылезли, как классические предки из шинели.

Он заплакал и не стал скрывать слезу.

Так как за кормой оставалась уже четвертая кружка пива, я предложил проведать французский туалет. Некрасов сказал, что

он такой тренированный, что это мероприятие передернет.

— У тебя сталинградский мочевой пузырь,— сказал я, чтобы скрыть волнение. Чужие слезы действуют сильнее собственных. Был нужен перерывчик.

— Мне нравится твоя фасон де парле,— сказал Некрасов.

— Что это значит?

— Манера выражаться. Наяривай, наяривай, так тебя и так! А к пиву у меня отношение святое. Оно, может быть, мне жизнь спасло и точку в боевой биографии поставило.

*

«Война!

Снаряды, бомбы, тупица начальник, нерадивые подчиненные, вор старшина. Да и ты сам. Выпей я, например, больше или меньше после того, как попался на глаза пьяному начальнику штаба.

— Э-э, инженер! Давай-ка сюда! Голую Долину надо кровь из носу взять, ясно? Собирай мальчиков, по кустам расползлись и вперед, за Родину, за Сталина! Возьмешь — „Красное Знамя“, не возьмешь — сдавай партбилет, ясно? Выполняй!

Тут-то я заскочил к Ваньке Фищенко, разведчику, ахнул спирта, стало веселее. Мальчиков собрал человек пятнадцать, пистолет в руку и — „За мной!“. Кончилось все в медсанбате. А возьми я эту чертову Долину?

Вариантов не счесть. В первый же день, как столкнулся с немцами,— май сорок второго, тимошенковское наступление под Харьковом. Десяток сопливых саперов с трехлинейками образца 1891/30 г. против четырех танков с черными крестами. „Справа по одному к роще "Огурец"!“ И побежали. Каким дьяволом не подавили нас гусеницами… Или „Хенде хох!“ — лагерь, потом другой, свой — читай солженицынский „ГУЛАГ“.

Одно знаю — ни Александром Матросовым, ни Гастелло не был бы, окажись я даже летчиком. Все было куда банальнее. Начал младшим лейтенантом, кончил капитаном. В Люблине. И тоже не слишком героически.

На этот раз было пиво. В подвальчике бойцы расстреляли бочки и пиво выносили ведрами. Мы с начфином присоединились. „Эй, танкисты, холодненького!„ В Люблин въехал на броне „тридцатьчетверки“. Не дойдя до Кшаковского Пшедместья, центра, стала. Чего, спрашивается? Фрицев испугались? Железные, а я из мяса, за мной! И с пистолетом в руке покатился по мостовой. Снайпер! А окажись он попроворнее,

и лежать бы мне в Люблине на кладбище воинов-освободителей.

Этим лихим эпизодом и закончилась военная карьера замкомбата 88-го Гвардейского саперного батальона.

Госпиталь. Демобилизация. Инвалид II группы. Карточки, распределители, отоваривания, семья…

…Подведу итоги не сейчас, под женевской сосенкой, а потом, в райских кущах — надо же чем-то там заниматься, а то сдохнешь от скуки».

*

Один читатель (из глухоманной глубинки) в письме ко мне о Некрасове: «Внешне лохматый, неряшливый, безалаберный, хулиганистый стиль, но правдивость его, незализанность, жизненность — запоминается, даже замечательно запоминается. В общем-то средняя человеческая жизнь достаточно монотонна, усреднена, в ней не так много звездных мгновений. Но она, жизнь, такая, какая есть в его книгах, которые вышли и после „Окопов“. Мусор какой-то, пепельница, окурки, мерзость погоды — именно та человеческая неуютность и цапает за живое, дух упрямства, неустроенности, отсутствие железобетонной сытости (в назидание труженикам)…»

Я бы определил Некрасова словами «изящный хулиган».

*

Когда я вернулся за столик, он, нацепив очки вроде как в металлической оправе, читал газету — «Новое русское слово» за пятницу 26 декабря 1986 года (выходит с 1910 года, цена 40 франков).

Эту газетку, которую лучше назвать бы «Старое еврейское слово», Некрасов мне презентовал.

Шедевр на полотне! Люкс!

Судите сами:

«Ясновидящая Ольга. Отведет несчастье и дурной глаз от вас и вашей семьи. Предсказание. Гадания по ладони, на картах и по чайным листам. Помощь в любви, семейных делах и вопросах здоровья. Не надо переживать, Ольга поможет вам советом незамедлительно. Гарантирован успех. Принимает у себя дома или у вас на дому. Ежедневно. С 8 утра до 10 вечера».

«ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ТРАДИЦИОННЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ ПОХОРОНЫ? В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

НА ПОХОРОНЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО? На эти и все остальные вопросы, связанные с похоронами, можно получить информацию на русском языке, позвонив по телефону: Манхаттен, Бронкс, 406-3311. Старейшее еврейское похоронное бюро. 1895 год, Бруклин, Нью-Йорк».

«Московские коллеги тепло приветствуют Сахарова. Через несколько часов после встречи Сахарова на Ярославском вокзале в МИД СССР состоялась пресс-конференция, на которой западные журналисты спросили заведующего отделом прав человека МИД Юрия Кашлева, что он думает по поводу замечания Сахарова об Афганистане. „Я не вижу в его замечаниях ничего дурного,— ответил Кашлев.— Наше руководство неоднократно заявляло, что мы стремимся как можно скорее разрешить проблему Афганистана. Если он будет честно высказываться по международным проблемам, его никто наказывать не будет“».

Из раздела «Юмор»: «У нашего Ханса большая неприятность на военной службе, и все из-за его чрезмерной старательности.

— А что случилось?

— Когда ему приказали вырыть стрелковый окоп, он зарылся так глубоко, что его обвинили в дезертирстве!»

*

— Беззаботные люди живут здесь и читают эту газетку. Завидую,— сказал я, просмотрев заголовки.

— Да-а-а… а вечером все они серые. Ну, не все, конечно, а те, кто работает и служит.

— В каком смысле серые?

— В прямом. После конца рабочего дня. В метро. Серенькие они, да-а-а… И французики, и наши, так их, так и этак…

— Город зажигает огни,— вымолвил я совершенно случайно, ибо начисто забыл, что под таким названием Венгеров снял фильм по книге Некрасова «В родном городе».

— Дрянной фильм. Олег Борисов только хорош. И Леночка Добронравова красоточкой была.

— А на французском ты писать не пробовал?

— Нет.

— Ты же его отлично знаешь. Почему не попробовать?

— Потому что я русский.

— Тургенев тоже был русский.

— Увы, я не Тургенев.

— Но вот, говорят, Васька Аксенов уже на американском пишет и как кот в вашингтонском масле…

— А я не Аксенов, я Некрасов. И вообще, французы говорят: «Сравнение не доказательство».

— Как ты к Горбачеву? Вот ваше «Старое еврейское слово» пишет: «Журналисты спросили академика, собирается ли он встретиться с генсеком. „Это зависит от Михаила Сергеевича Горбачева,— сказал Сахаров,— это как он пожелает. Я от встречи никогда не откажусь“.— „Это было бы неплохо“,— сказала жена академика Елена Боннэр. „Конечно, это было бы неплохо,— продолжал Сахаров,— потому что я смогу еще раз выразить мою благодарность за изменение, которое произошло в нашей судьбе. Я испытываю большое уважение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву…“»

— Уважение я тоже испытываю, но кусать мне по его милости все труднее делается…

— Всем труднее. И правым и левым. Слышал уже наше: «Двадцать лет понебрежничали — теперь сто погорбатимся!»

— Как здесь горбатиться? По нынешним временам одно остается: передовицы «Правды» и «Известий» на «Свободе» зачитывать. А кто мне за это платить будет?

— Нынче у нас передовиц почти нет: письма читателей вместо них засобачивают. Ладно, с этим вопросом ясно. А как ты к Рейгану?

Тут я зачитал из «Нового русского слова»:

— «В предрождественский день единственным официальным актом президента было поздравление по телефону американских военнослужащих, находящихся за границей. Президент сделал пять телефонных звонков и поздравил солдат на американских базах в ФРГ, Испании, на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, а также на итальянских островах Сицилия и Лампедуза. „Я думаю о вас каждый день, но особенно — во время Рождества, — сказал президент.— Ваша деятельность на благо соотечественников является, без всякого преувеличения, героической. Я знаю, как нелегко быть далеко от дома в праздники, но поверьте, что весь американский народ гордится вами. Передайте всем товарищам по оружию, что их главнокомандующий благодарит их и желает им счастья. Да благословит вас Бог!“» Все, дорогой сталинградец, понимаю, кроме того, что президент нашел героического в тех солдатах, которые сидят под пальмами в центре Индийского океана на острове Диего-Гарсия. Более безопасного местечка на планете днем с огнем не найдешь.

— Про СПИД забыл! Они там на самом переднем крае с этим микробом сражаются. А Рейган мне нравится. Однако самый мой любимый царь — Александр Третий,— сказал Виктор

Платонович.— Черт! Соли здесь в забегаловках нет. Хорошо бы пивко подсолить. Несмотря на всяких там Победоносцевых. Помнится, Мария Федоровна, царица, все удивлялась, когда и как он с начальником охраны успевали набраться, усевшись за свой бридж или преф. Она уйдет на минутку, вернется, а они уже тепленькие. Оказывается, у царя за голенищем плоская такая бутылочка всегда хранилась. Ну, разве плохой царь? И Паоло ему гениальный памятник сварганил. Так во дворе Русского и гниет?

— Так и гниет. Только ему дожди и метели — до фени. Никаких видимых следов всесокрушающего времени.

— Так, значит, и скучает на своем битюге?

— Так и скучает с жестокого похмелья. В холодной сидит — по заслугам своим, по делам своим и делишкам.

— Уговорились правду? Тогда запомни, что американцы мне нравятся,— с некоторым вызовом сказал Некрасов.— Эта нация родила Тома Сойера и Хемингуэя. Читал мое «Посвящается Хемингуэю»?

— Так я же специально готовился к встрече с тобой. И перечитал все, что сохранилось дома. И помню, как ты сидел в бетонной трубе у подножия Малахова кургана. И было у тебя четыре книги.

— «Фортификация» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского, «Медный всадник» с иллюстрациями Бенуа, «Пятая колонна» и первые тридцать восемь рассказов Хема.

*

Герой «Посвящается Хемингуэю» — восемнадцатилетний солдатик-связист Лешка, фамилии Некрасов не запомнил; запомнил, что пацан из какой-то деревеньки под Саратовом…

— Если дам тебе задание,— сказал я,— пять страниц прозы. Война. Сталинград. Любой воспоминательный эпизод. Но записать прозой. Любая выдумка тоже годится, но — проза! Сможешь?

Он отвернулся и погладил свои тусклые, но все еще волнистые волосы, задумался, отключился. Нефтебаки вспомнились? Валега? Фарбер? Смертное братство? Все, конечно, в такие миги вспоминается.

Я боялся, он обозлится на непрошеный тест.

Нет, не обозлился.

Глотнул пива, закурил, сказал:

— Нет, не смогу. И пробовать не буду. У меня к тебе просьба. Вернешься — положи букетик цветов к памятнику «Стерегущему».

На Кировском. Я понимаю, сейчас зима. Вот пусть люди идут, на цветки смотрят и удивляются.

О том, какие цепочки воспоминаний и ассоциаций привели его к «Стерегущему», к далекой японской войне, спрашивать не стал.

— Есть, комбат, сделаю,— сказал только.

Юноша напротив заказал еще кофе и зажал в зубах чек, а девушка стала обрывать у его губ прямоугольную бумажку, как билет в автомате парижского метрополитена.

*

«Когда я нес Лешке книгу Хемингуэя, я невольно спрашивал себя, а поймет ли он этого писателя? Хемингуэй не легок, не для всех, к тому же, когда я вручал книгу Лешке, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представления о бое быков, без чего чтение доброй половины вещей Хемингуэя просто бессмысленно.

Очевидно, это была очень забавная сцена: сидят двое в крохотной землянке батальонного НП, в двух шагах от немцев (в эту ночь Лешка дежурил не на командном, как обычно, а на наблюдательном пункте), курят махорку и разговаривают о матадорах, бандерильеро, верониках и реболерах, о которых один ничего не знал, а другой хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал и видал в детстве картину „Кровь и песок“ с участием Рудольфа Валентино.

Часа в два ночи я ушел. Была на редкость тихая, морозная, очень звездная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только передний край ракетами, и домой, на берег, я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И, шагая по истерзанной снарядами и бомбами сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу ночных бомбардировщиков — наш или не наш? — и потом, засыпая в своей жарко натопленной землянке, я думал о том, что завтра, к семи ноль-ноль, нужно сдать схему инженерных сооружений, которую, заболтавшись, не успел закончить; о том, как тесно на войне переплелось страшное и забавное, веселое и трагичное, думал о Лешке, возможно как раз в эту минуту читающем про мадридского шофера Иполито, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд, о том, что, не будь Лешки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только прекрасно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным.

В шесть часов меня разбудил Титков, мой связной,— надо было заканчивать схему.

— А парнишко-то вашего ранило,— подавая мне котелок с кашей, сказал он с тем обычным спокойствием, с каким говорил о смерти ближнего и о полученных на складе двух плитках шоколада…

Лешка лежал на земле, на подстеленной плащ-палатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блеском в глазах.

— Где же тебя кокнуло? — спросил я.

— Да там, около насыпи, где мостик, знаете? Ерунда,— он с натугой улыбнулся,— скоро вернусь. А книжка ваша…— Он скосил глаза, показывая, что она у него под головой.— Испортил немного, не сердитесь.

Оказалось, что она слегка испачкана кровью, десятка три страниц, по самому краешку.

— Ничего, это ее только украсит,— сказал я.— А прочесть успел что-нибудь?

— …Три штуки только успел. Про шоферов мадридских, про старика, у которого два козла и кошка остались, и третий — про Пако, помните, как два парнишки в бой быков стали играть и Пако напоролся на нож?

— „Рог быка“?

— Ага, „Рог быка“…— Он мучительно наморщил брови.— Вот глупо получилось, а? Просто ужас… На два дюйма только… Сколько это — дюйм?

— Два с половиной сантиметра.

— Значит, на пять сантиметров в сторону, и не попал бы ему в живот… Бывает же такое…— и, помолчав, добавил, глядя куда-то в сторону: — Жаль Пако, хороший парень был.

Больше нам не дали говорить…

Жив ли Лешка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. И тот томик прочел — тогда, в госпитале, или позже, после войны. Не думаю, чтобы Хемингуэй стал его любимым писателем, слишком у того много недоговоренного, а Лешка любил ясность. Но, как это ни странно, в этих двух, столь несхожих людях, в старом прославленном писателе совсем из другого мира и мальчишке-солдате из-под Саратова, мне видится что-то общее. В Лешкином „жаль Пако, хороший был парень“, в этой фразе, сказанной через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофера Иполито. Он сказал о нем: „Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или Гитлера. Я ставлю на Иполито“.

И на Лешку, хочется добавить мне».

Я ставлю на Некрасова.

Я не знаю, насколько он замазан. Это знает КГБ. Но я знаю, что всю жизнь и до самого конца он ставил на Лешку. И этого мне достаточно.

*

— А не страшно, что здесь похоронят? В чужой земле, навечно?

— Нет. Я, Вика, безбожник. Один черт где гнить. Я и полюбил этот глупый Париж. Терпеть не могу Шираков, ле пенов с их фашистскими миллионами, забастовщиков и вот всех этих,— он круговым макаром мотнул головой.— Все они засранцы, мурло, бляди, скупердяи, буржуазная сволочь, все с жиру бесятся, но Париж я люблю.

В моей башке кругообразно завертелось: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись; горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится». Однако, может, Некрасов уже начитался здесь Набокова, который Тургенева в грош не ставил и ужасался тем литераторам, которые признают Тургенева писателем. Тогда и эти слова упадут в пустоту. Да и вообще цитаты в таком разговоре не аргумент. Впрочем, они цикады, как заметил Мандельштам, и потому нигде не аргумент. Кроме поэзии.

Я театрально продекламировал:

На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей родной страной…

— Анна Ахматова. «Смерть»? Да?

— Да.

— «Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу…»

— Насчет улиц не знаю. А новый здоровенный сухогруз уже назвали. Плавает Анна Андреевна по океанам. Порт приписки, кажется, Николаев. Скоро где-нибудь в Сингапуре борт к борту встанем.

— Правда?

— Правда, ибо сам видел в «Известиях» фотографию судна. Подпись, конечно, соответствующая, нечто вроде: «Экипаж теплохода, взяв повышенные… используя открытые резервы соцсоревнования…»

— Значит, Ахматова все-таки использует скрытые резервы социалистического соревнования? В ее характере. Небось еще один «Реквием» напишет… А знаешь, о чем я сейчас думаю? Как Анна Андреевна, встретившись с Солженицыным, а он ей очень нравился, сказала: «Одно у вас осталось испытание. Испытание славой». Или что-то в этом роде. И Солж не выдержал. Даже Солж, великий Солж…

— А как ты к нему? И что он делает?

— Впал в политическое детство и в результате выпал как из литературы, так и из политики… А может — обыкновенная старость. Ты Анну Андреевну знал лично?

— Жили несколько раз одновременно в Домах творчества, но я робел. Вечно она была окружена интеллигентненькими мальчиками, подававшими гениальные поэтические надежды. Один раз перемолвились. В Комарове. В старом еще, тогда столовка в этаком деревянном бараке была. А в предбаннике пальто вешали. Мороз был жуткий. Висел там ее лапсердак — вытертое нечто, линялое, в проплешинах, этакий енот, который лает у ворот. И выплывает из столового помещения Ахматова с приживалкой или сожительницей. Царственным жестом указывает сперва на меня, потом на лапсердак и говорит державно и капризно: «Конецкий! Подайте мне мои соболя!» Ну, я трясущимися руками подал. И все. Легенький лапсердак был — как наволочка с диванной подушки. С кем из здешних писателей ты общаешься?

— Нет тут никаких писателей — все засранцы. И все передрались. Только к Наталье Ильиничне Саррот иногда тянет. Ты ее знаешь?

— Да. Вчера угощала виски. Она добрая. Сказала, что ты давно не был и что любит тебя. И еще сказала, что твое главное парижское место в каком-то кафе на берегу Сены. И что ты вечно сидишь и смотришь на Нотр-Дам. А потом ей вдруг занездоровилось, дочь померила давление, Натали всыпала мне целый карман франков и вызвала такси. А ты вот и не на берегу Сены сидишь.

Он махнул рукой:

— Раньше сидел.

— А пишешь где?

— Недельки две в году пишу. Недалеко от Барселоны. На самой границе с Испанией дачное такое местечко. Вот книжку тебе принес. Не побоишься везти к нам?

— Нет, Горбачев велит нам учиться демократии.

Если я чего боялся, так это того, что книжка окажется плохой. Поинтересовался, как к нему относятся французские власти

предержащие.

— А никак не относятся. Нужен я им… Хотя орденом каким-то наградили — за прилежание в литературе или искусстве или еще черт знает за что. Ну, получил бумагу, поздравления официальные, сижу и жду, когда Калинин вызовет в Елисейский дворец соплю вручать, изучаю наградную грамоту. Неделю сижу, месяц сижу, второй сижу. Не вызывает Михаил Иванович. Наконец — здрасьте вам: орден надо в магазине покупать, за свои кровные. Шестьсот франков! Ну, сам понимаешь: чтобы я галантерейным лавочникам шестьсот франков?! Хрен им в глотку. Потом дружки скинулись и повезли в универмаг. Там тебе пожалуйста: и крест эсэсовский, и новозеландскую луну можешь приобрести по наличному расчету.

— Твой-то красивый?

— Красивый, зелененький такой, веселенький. В Сталинграде мне «За отвагу» вручили прямо в блиндаже.

— А как Сталинскую вручали?

— А ты мою «Маленькую печальную повесть» не читал? Нет, конечно. Хотя при чем тут «Маленькая печальная», это в «Саперлипопете». Книжка у меня такая. Ее тебе и принес. Сейчас вспомню, как в сорок седьмом вручали нам премии. Увы, и не торжественно, и не в Кремле, а через окошко МХАТовского администратора тов. Михальского. Он по совместительству был секретарем Комитета по Сталинским премиям. Я постучал в это самое окошко, к которому с трепетом подходил в студийные еще годы в надежде попасть на «Турбиных»… Кстати, это правда, что у вас поставили «Турбиных» на телевидении?

— Увы, да. Володя Басов. Феерическая пошлятина и дерьмо. Булгаков волчком в могиле вертится с тех пор.

— Следовало ожидать,— заметил Некрасов, нацепил очки, полистал книжку, прочитал: — «На сегодня контрамарок нет»,— сказал Михальский, даже не повернувшись в мою сторону, он говорил с кем-то по телефону. «Мне не контрамарку, а…» — «Билеты в кассе. От двенадцати до пяти» — «Нет… Мне это самое… Как его… Диплом, что ли…» Он мельком взглянул на меня — фамилия? — и, продолжая говорить по телефону, вынул из шкафа две плоские бордовые коробочки — большую и маленькую. Из ящика стола папку, из нее лист. «Вот тут, пожалуйста. Распишитесь». Я расписался и взял свои коробки. В большой был диплом. В маленькой золотая (так говорили) медалька с профилем вождя. С этого момента, точнее — дня (шестого июня сорок седьмого года), все издательства Союза, вплоть до областных и национальных, стали включать книгу в планы.

— Знаю я этот автомат. Он и сегодня работает.

— Зато следствий не знаешь. Когда я сюда добрался, парижское «Фигаро» сообщило, что прибыл личный друг Сталина, член ЦК и миллионер в советских рублях. Миллионером не стал.

— Ну, а на что живешь?

— Ну не на книжки же свои, кому они здесь нужны,— ответил Некрасов.— Живу на радио.

— Что это значит?

— На «Свободу».

— А ее кто кормит?

— НТС.

— Слушай, всю жизнь слышу эти буквы, скажи толком, что они обозначают?

— Всемирная политическая партия, имеющая целью уничтожение советской власти в России.

— Богатая партия, если ей и такое шикарное издательство, как «Посев», принадлежит. Но я не знаю среди энтээсовцев миллионеров. На что живет сама НТС?

— У меня нет документов, чтобы положить их перед тобой сейчас на столик, но я не сомневаюсь, что это деньги ЦРУ.

— Получается, Вика, что я пью на деньги ЦРУ?

— Выходит, так,— сказал Некрасов.— Да, нелегко. Нелегко, Викочка, ох как нелегко. Тут с писательства не проживешь. Это тебе не Союз нерушимый, где по триста рублей за лист отваливают. Кроме Сименона и Труайя никто с книг и тиражей своих не живет. Надо подхалтуривать. Прилепиться к какой-нибудь газетенке, журнальчику, радио, телевидению. За книги платят с количества проданных экземпляров. Значит, самому читателю должно понравиться, не ЦК, а читателю! А как ему угодить? Сейчас в ходу мемуары и детективы. На растерзанную русскую душу здешнему читателю наплевать, подавай убийства в «Ориент-экспрессе»… И на квартиры каждый год повышают, сволочи, плату. И цены дай бог… Я приехал, пачка «Голуаз» франк двадцать стоила, сейчас четыре. И так все. В кино иной раз не пойдешь: двадцати пяти франков нету… Писать-то пишется. Но в общем-то… Тренажа здесь нет, понимаешь. Размякли. Дома всегда был собран. И школу хорошую мы прошли. Жонглировать, ходить по проволоке. Мускулы всегда в хорошей форме, реакция моментальная. А здесь? Здесь все можно, все дозволено. И риска никакого, никакой опасности. Здесь не надо быть героем… Пишу-то я не для французов, для вас, гадов. А вы далеко. И путь к вам ох как тернист…

*

«Он привык к тому, что не принято в этой стране стрелять друг у друга трешку. Исключено. Начисто. Это и удивляло, и раздражало. Не принято забегать на огонек, о встречах условливаются за месяц, водки не пьют, пол-литра на троих для них смертельная доза, в метро место даме не уступают, и это галантные французы, где ж д'Артаньяны? Обнаружил только одного, бронзового, на памятнике Дюма-отцу. И вообще, французы оказались куда замкнутее, куда прижимистее, чем он ожидал. И бесцеремоннее в то же время. Долго не мог привыкнуть к поцелуям на каждом шагу — в метро, в магазине, на улице остановятся, обнимутся ни с того ни с сего — и взасос…»

Господи,— подумалось мне на этом месте,— может быть, и наш Леонид Ильич Брежнев — француз?

*

— Ты вообще умел жить? Ну раньше, дома, в самые удачливые моменты?

— Здесь говорят «савуар вивр». Нет, не умел.

— Что читаешь?

— «Комсомолку» и Дюма.

— А из наших прозаиков?

— Один другого лучше! Воробьев, Кондратьев, Быков, Астафьев, Распутин. Распутину, как прочитал «Уроки французского», в Женеве это было, сразу посылку послал, анонимно. Альбом с живописью и кое-что вкусненькое: итальянские макароны и искусственные яблоки, очень косой был — вот искусственные и послал. Увидишь — скажи, что от меня. Теперь, верно, это уже ему не опасно будет. А что там у Астафьева с Эйдельманом?

— Оба — и Эйдельман, и Астафьев — с жиру бесятся, как твои французы здесь. Ну, а кто из отщепенцев вернется, если позволят?

— Никто. Разве только Любимов. Он без актерского обожания и подхалимажа жить не может. А тут этого марафета не получишь. Ты хоронил Гаврилыча?

— А кто это?

— Иванов, «Солдат» ставил.

— Нет, не хоронил. Не было меня в Ленинграде. Да мы с ним и несколько разладились: очень уж дрянной фильм по моему рассказу поставил. Старость.

— Сколько сейчас Астафьеву?

— Шестьдесят три.

— Мальчишка. Его «Печальный детектив» я под подушку засунул, когда читать кончил. Еще совпадение у нас с ним роковое. Мой последний опус тоже печальный. Так и называется — «Маленькая печальная повесть».

— Подаришь?

— Нет, я же тебе другую книженцию приготовил. А с Астафьевым ты лично знаком?

— Да. Всего два месяца назад был у него в Овсянке под Красноярском. Пролетом из Игарки. Ты его рассказ «Ловля пескарей в Грузии» читал?

— Нет.

— Придется похвастаться. Рассказ начинается с литфондовского Дома творчества: «Когда в очередной раз меня поселили в комнате № 13 в конце темного сырого коридора, против нужника, возле которого маялись дни и ночи от запоров витии времен Каменского, Бурлюка, Маяковского, имеющие неизгладимый след в литературе, но выжитые из дома в казенное заведение неблагодарными детьми, Витя Конецкий, моряк, литератор, человек столь же ехидный, сколь и умный, заметил, что каждому русскому писателю надобно пожить против творческого сортира, чтобы он точно знал свое место в литературе». Этим высказыванием Виктора Петровича открылся последний съезд наших козлотуров. За «Ловлю пескарей в Грузии» баснописец Михалков на весь свет объявил Астафьева неинтеллигентным мужчиной. А кто у вас здесь самый талантливый?

— Талантливых, может быть, и много, а книг хороших нет. Одну назову — роман Сергея Довлатова.

— Что Аксенов?

— А ну их всех в…

— А твой шеф Максимов?

— Максимов? Я с ним в разрыве. Но прохиндей он идейный, и плохого, на радость тебе, о нем говорить не буду, хотя ни одного французского слова так и не впитал в свою башку. А «Континент» закатывается. Да и Владимов подсидел — хороший журнал в ФРГ делал. Хочешь, дам его телефон во Франкфурте? Позвони. Жоре сейчас плохо, боссы из НТС ему под дых дали — в дерьме на тротуаре кукует.

— Ну давай,— сказал я, хотя знал, что звонить не буду.

Он продиктовал: «1949612758-96».

— У тебя отличная память.

— Дерьмо, а не память. Просто утром звонил ему. Забавно: вчерашнюю встречу забываешь, а вот какого-то солдата Ютэн и лежавшего рядом с ним зуава помню, как будто вчера их видел.

Оба они лежали в «Опиталь Станислас», где работала мама, один был ранен в ногу и позвоночник, другой в руку. И даже запах, исходивший от их гипса, я вспомнил, когда мне в свою очередь накладывали гипс в госпитале, в Баку. В Баку мне было уже тридцать с чем-то, а тогда, когда видел зуава в Париже, четыре или пять.

— Позволь-ка спросить, откуда ты тогда знал, что это именно зуав? Он что, черный был?

— Почему черный?

— Мне кажется, что зуавы — это то же, что и спаги.

— Нет. Спаги — во французских колониальных войсках — кавалеристы из местного населения в Северной и Западной Африке. Зуавы же — части легкой пехоты и комплектовались не только из местных, но и французских добровольцев. А где ты слышал о спаги?

— От Пьера Лотти. Или от Пьера Бенуа.

— А откуда «сапер» — знаешь?

Конечно, я не знал.

— От французского «сапа», а «сапа» от итальянского «заппа» — заступ. Траншея, которая велась осаждающими, в то время когда они подступали к крепости ближе, чем на оружейный выстрел. Ну а сапер — это тот, кто ведет сапу. Скажи, пожалуйста, можно ли нынче в Союзе свободно снимать ксерокопию?

— Сам не пробовал, но думаю, что нельзя.

— Понимаешь, самый первый номер «Зуава» сохранился у моего дружка в Ленинграде. Это наш мальчишеский рукописный журнал.

— Ну,— сказал я,— если твой дружок крупная шишка, то он, пожалуй, сможет его ксерокопировать.

— Ты понимаешь, какой это раритет! Очень хочется скорее получить.

— Скажи мне, кого там в Ленинграде надо подтолкнуть,— сказал я.

— Замнем для ясности,— сказал Некрасов.— А как твои издательские дела?

Я похвастался, что с будущего года должен выходить четырехтомник.

— Ну, до полного собрания вряд ли доживу,— сказал Некрасов.— А внуку через месяц двадцать. Звать — Вадик. Он в армии, но не сапер, и порядки здесь такие, что каждый уик-энд приезжает домой. Вид сытый и довольный.

— Кто папа?

— Инженер-шахтостроитель, но работает сейчас в основном

по линии переводов. Мама преподает русский в лицее. А вот что будет делать этот чертов Вадик после армии — не совсем понятно, так его в этак и перетак. Ни в отца, ни в деда не пошел — без книг свободно обходится. Но руки умелые. И вообще парень симпатичный. Есть девушка — француженка. К брачным узам только, подлец такой, что-то не очень стремится. Я, правда, тоже не стремился.

— На Новый год соленые грибы были у тебя?

— Постарайся понять, я не офранцузился, но парижанином стал… Седею что-то быстро. И болею. То что-то, то, как видишь, кашель, то еще какая-нибудь хреновина… Но, видишь, живу и даже пишу. Пишу не длинно, не утомительно — это главный грех всех нынешних писателей. Хвастаться нечем, но и жаловаться не буду. Про березки спрашивать будешь? Про мою тоску о них?

— Буду.

— Их тут полно. «Було» называются. А вот как — плакучая или кудрявая, не знаю. Может, ее-то и нет. Ну и хрен с ней, зато… Что зато? Вика, дорогой мой Викуля, поверь мне, не мучает меня совесть. Ну вот нисколечко. Прозрачна и чиста, как слеза младенца.

*

«И все же — это уже наедине — он иногда спрашивал себя: стоило или не стоило? Нет, что стоило — это ясно, но насколько оправдались или не оправдались ожидания, как прошел процесс переселения из одной галактики в другую, одним словом, что такое эмиграция, понятие, которое всю жизнь пугало и казалось для нормального человека противоестественным? Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Бенуа, Куприн, Михаил Чехов, всех и не перечислишь,— все они, каждый по-своему, тосковали по дому, по прошлому. Правда, в основном по тому, что было „сметено могучим ураганом“, даже по осуждаемому всеми приличными людьми самодержавию. Нынешние эмигранты в несколько другом положении. Мало кого тянет обратно. Уезжают — дети там или не дети, земля предков и всякое такое, а если в корень глянуть, от въевшейся во все поры советской власти. Осточертела голубушка. А кому и кое-что прищемили…»

*

— Ну, а если бы тебе предложили, вернулся? — спросил я.—

Только, бога ради, не подумай, что я облечен какими бы то ни было полномочиями выяснять это.

— Нет, Вика. Сегодня у вас Горбачев…

Вот видите, что значит по памяти пытаться передавать диалог. Он сказал «у нас».

— Сегодня у нас Горбачев, а завтра опять Брежнев. Высадись где-нибудь в Коктебеле, допустим, отец и учитель, как в свое время Наполеон с Эльбы. Сто дней… Помнишь? Французские газеты писали вначале: «Узурпатор высадился в бухте такой-то», а через сколько-то там дней — «Его Императорское Величество вступает в Париж!». Солдаты, посланные Бурбонами задержать его, падали на колени, рыдали. Маршал Ней — тот самый, любимец, а потом враг — тут же перешел на его сторону. А Наполеон шел и выходил первым — «Стреляйте в своего императора!». Так вот, я боюсь, что случись такое сейчас со Сталиным, окажись он живым,— допустим такую петрушку,— на руках внесли бы в Кремль. И опять меня на Крещатике, трезвого, спровоцируют в милицию, кинут там банок и еще хвост отправят в горком.

— И такое было? — спросил я.

— И не один раз. А вот если бы пустили на неделю проститься. Эх, один раз пройти по Невскому, и к «Стерегущему», и к нашему дурацкому московскому ЦДЛу… Только на Киев я даже из самолета смотреть бы не стал. Похуже твоего Ленинграда мой Киев.

«Преследовать не преследовали, топтуны за ним не ходили, обысков ни у него, ни у его друзей не делали, с работой было более или менее благополучно. Правда, „Лебединый стан“ Цветаевой или мандельштамовское „Про кремлевского горца“ с эстрады не прочтешь, но иногда что-то, не самое просоветское, нет-нет да и втиснешь. И радуешься. Жванецкий, например. Иной раз просто оторопь берет — и ничего, сходит одесситу с рук…»

Конечно, никакого магнитофона у меня с собой не было, диалог, который здесь есть, воспроизвожу только в том случае, если записал его сразу по возвращении в гостиницу или же, как вот и сейчас, использую несколько модифицированные цитаты из двух последних книг Виктора Платоновича.

Когда я читал их, то часто казалось, что слышу его голос, ибо суть цитат и его высказываний в кафе на бульваре Монпарнас, 59 едины. Вот сидит он, курит свой «Голуаз», тянет пиво и вдруг, закашлявшись до хрипа, опустит голову к распахнутому вороту, закроет подбородком жилистую шею, передыхает от кашля и думает неизбывную тоскливую думу свою; красивый даже в площадной ругани, ибо честный, честный, честный русский

человек черт знает в каком поколении… и каком положении… Небось и столбовое дворянство внесло в его судьбу свою лепту…

Бедный ты мой Виктор Платоныч, мой Некрасов, мой сталинградский солдат и спаситель…

«Бел горюч камень. Сколько раз попадался он на его пути. Сворачивал то туда, то сюда, объезжал, ехал прямо. А в итоге — по правильному ли, как говаривал Владимир Ильич, но нужному ли пути направлял он коня своего? И туда ли, куда хотел, приехал он? Может, с тоской вспоминается какая-нибудь оставшаяся позади тропинка, соблазнительно манившая его? Или, напротив, большак, который разумно или неразумно объехал стороной?

Нет, все сложилось так, как и должно было сложиться. Ни на что не сетую, ни на что не жалуюсь.

Ну, какое я имею право жаловаться, если, оттрубив весь Сталинград от первого до последнего дня, остался жив и дошел до самой Польши, и вернулся в родной Киев, и обнял маму, которой тоже не так уж сладко было в годы оккупации, обнял, расцеловал ее, маленькую, худенькую, склонившуюся над своей дымящей из всех щелей печуркой, и прожил с ней еще двадцать пять лет! Подумать только — двадцать пять лет! Не всякому выпало такое счастье. А на меня, вот, свалилось.

И жили мы в Киеве. И в Москве, и в Ленинграде, и в любимом нашем Коктебеле, и в Ялте, и на озере Севан. И ездили по Волге, и в родном мамином Симбирске побывали („Но где же хорошавки, самые вкусные в мире яблоки, что-то не вижу я их нигде…“), и поднимались на Мамаев курган, в Сталинграде, и сфотографировал я ее на месте наших окопов, на фоне скромного обелиска, под которым покоятся кости бойцов нашей 284-й стрелковой дивизии. Не сосчитать, сколько их полегло. И нету больше этого обелиска, снесли и бульдозером прошлись. По могилам, по окопам. И стоит на их месте стометровая „Мать-Родина“ с мечом в руке, и кругом ступени, мрамор, гранит, нагромождение бронзовых мускулов, куда-то рвущихся и кричащих солдат. Мама этого не видела. И слава богу…»

*

«Ну а Париж? Лучший в мире город Париж? И мы в нем — изгнанники. Об этом ведь тоже обязательно спросишь. Что ж, живем, работаем, ворчим, болтаем, боремся против несправедливости, ссоримся все из-за той же истины, которую всенепременно каждый из нас знает лучше другого. По-прежнему

пьем, кто чаще, кто реже, женщины по-прежнему часами говорят по телефону, темы никогда не иссякают, ждут — не дождутся очередных „сольд“, магазинных скидок. Ну а я? Посмотрев недавно по парижскому телевидению все четыре серии бондарчуковской „Войны и мира“ и тут же бросившийся к первоисточнику, который читал взахлеб, будто в первый раз, я понял, что из всех толстовских героев я больше всего смахиваю на старика Болконского. Так же нетерпим, ворчлив и раздражителен, жена считает, что и деспотичен. К тому же неожиданно выяснилась еще одна весьма прискорбная для меня деталь — оказывается, всегда казавшийся мне глубоким стариком князь Болконский моложе меня. Да-да! Если считать, что он ровесник Кутузова, а это, очевидно, было так, то оба они умерли, не дожив до семидесяти, Кутузов — шестидесяти восьми лет… А я перешагнул этот рубеж. Всю жизнь считал себя мальчишкой, делил всех на молодых и взрослых, относя себя к первым, а тут, вдруг, оказался не только взрослым, но и весьма и весьма преклонного возраста…

С миром наживы и стяжательства свыкся относительно быстро, хотя не нажил и не стяжал ничего».

То, что он не миллионер, я понял и без объяснений.

Приезжал и уезжал Виктор Платонович каждый раз на метро. Домой к себе не приглашал. Или, как уже истый парижанин, предпочитал общение в кафе, или же не хотел показывать мне жилье. Думаю, оно скромненькое. На такую мысль наводит то, что в телефонную трубку я слышал шум душа из ванной комнаты. Но и бедняком Некрасова не назовешь, ибо он много летал по миру, а это дорогое удовольствие. Особенно всякие Австралии и Новые Зеландии…

— Не побоишься? — опять спросил он, показывая книжечку со своим фото на обложке. На обложке Некрасов был точно таким, каким сидел напротив меня через столик в кафе «Монпарнас».

Книжка называется не без выпендривания — «САПЕРЛИПОПЕТ, или ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ, ДА ВО РТУ РОСЛИ ГРИБЫ…»

— Я же тебе десятый раз объясняю: Горбачев учит нас демократии,— сказал я.— Надписывай, пожалуйста.

Он надписал: «Дорогому Вике Конецкого от Вики Н… Paris 17/1 87».

Я отдарил шикарным арктическим сувениром — атомоход «Ленин» во льдах, цветной, стереоскопический.

Падежное окончание «кого» вместо «кому» говорит о том, что шесть или даже семь кружек парижского пива в некотором роде

заменяют русское пол-литра.

— Небось в аэропорту в мусорную корзину бросишь? — настаивал Виктор Платонович.

— Нет, и в прежние времена твою книжку никогда не бросил бы.

— Сначала прочитай. Может, все-таки лучше будет бросить.

Он за меня беспокоился и боялся.

— Ладно, прочитаю до отлета,— сказал я и примолк, ибо приближался сложный момент расставания. Я собирался подарить его сыну свой на 100 % советский шарф и запонки, но опасался, что Некрасов сочтет это отплатой за угощение и вообще чем-то оскорбительным для бедного эмигранта.

Но когда я протянул ему шарф и выстегнул из манжет запонки, он ни оскорбленно, ни недоуменно вести себя не стал. Просто сказал:

— Спасибо. Сыну будет приятно. Он у меня русский парижанин. Как и я. А вот внук уже француз…— и сунул шарф в карман пальто.

— Ей-богу, страшно на твою голую грудь смотреть,— сказал я.— Пока-то накинь шарф на шею.

Этот совет он проигнорировал, а меня отдарил авторучкой-фломастером.

— Если книжку отберут, то хоть ручка останется,— сказал он.

— Я же глава официальной делегации. Таких у нас в таможне не досматривают. Забыл уже?

*

Этой ручкой я стараюсь вовсе не писать, чтобы она дольше жива была, чтобы дольше заправка не кончилась. И она все еще жива и сегодня. Черная изящная ручка, хотя и обыкновенный ширпотреб.

*

На улице расстались не сразу. Искали антиникотиновый мундштук для Гии Данелия. Обошли штук пять табачных магазинов, но такой, как Гия просил, не обнаружили.

Это Некрасова расстроило.

Затем Виктор Платонович проводил меня до гостиницы. И даже вошел вместе со мною в вестибюль. Или расставаться не хотелось. Или, что тоже может быть, решил проверить меня «на

подбрасывание».

Есть такое военно-флотское выражение, происходит оно из торпедных дебрей, сохранилось еще от времен паро-газовых торпед. А в переносном смысле обозначает: «Струсишь или не струсишь». И вот, возможно, комбат решил посмотреть, не побоюсь ли я показаться вместе с диссидентом в месте, где возможна встреча с моими попутчиками или соглядатаями.

Встреча, точно, произошла. И для Виктора Платоновича приятная.

Московская окололитературная дамочка, с которой мы прилетели, возникла прямо перед нашими носами и сразу после того, как стеклянные двери автоматически захлопнулись за нашими спинами.

Дамочка всплеснула руками и воскликнула:

— Здравствуйте, Виктор Платонович!

— Откуда мы знакомы? — буркнул Некрасов.

— Ну, вы, конечно, меня не вспомните, но когда-то жили одновременно в Ялте. Вы всегда под ручку с мамой ходили. Безумно рада Вас видеть! — с искренней радостью воскликнула дамочка и еще раз всплеснула руками, отражаясь в десятке вестибюльных зеркал.

И я простил своей подопечной некоторую жеманность и налет бомонда и все другое, что раздражало в этой Ирэн. Потому что я увидел, как было Виктору Платоновичу до глубины печенки приятно и то, что его, старого, изменившегося, все-таки с ходу узнала соотечественница, и что так почтительно и непроизвольно всплеснула руками.

Подниматься ко мне в номер он не стал.

Мы сразу вышли обратно на улицу Вожирар. И чтобы скрыть некоторую приятную взволнованность, он сказал:

— А ты знаешь, что эта рю Вожирар самая длинная улица Парижа? И еще тем знаменита, что на ней жила возлюбленная Д'Артаньяна госпожа Буонасье.

— Теперь знаю,— сказал я. И уже в свою очередь проводил его до бульвара Монпарнас.

Обнялись у черной дыры метро, стоя в рыхлом снежном сугробе по колено.

Парижане брели сквозь метель, как наполеоновские гвардейцы через Березину.

*

«Помру,— отволокут на Сен-Женевьев-де-Буа — там хорошая

компания: и Бунин, и Мозжухин, Мережковский, дроздовцы, Галич…»

*

«…Увы, почти никого из тех, кто стоял у моей литературной колыбели, не осталось в живых. Ни Твардовского, ни Вишневского, ни Толи Тарасенкова и Туси Разумовской, первых редакторов по „Знамени“, ни Игоря Александровича Саца, „личного“ моего редактора и друга, ни Миры Соловейчик, ни Владимира Борисовича, которому я обязан не только тем, что он меня „открыл“, но и тем, что, открыв, приобщил к тому, чем так щедро одарила его природа — к его уму, культуре, благородству и порядочности. Господи, как мало осталось людей с такими задатками…

И очень не хватает мне сейчас мамы. Как радовалась бы она, что мы живем с ней вместе в Париже. Она долго в нем жила и любила его. „Грязный, правда, везде бумажки, мусор, собачьи кучи, но, поверь мне, совсем этого не замечаешь…“ — „Но почему, мама, ты ж у меня такая чистюля?“ — „А потому, что люблю парижан. Всех без разбора. Даже апашей… С одним из них, представь себе, танцевала в каком-то кафешантане. Очень был красивый, черноглазый, с усиками, в красном шарфе и клетчатом кепи набекрень. Говорят, теперь их уже нет. Куда они девались?“ Да, исчезли апаши-воры, грабители и сутенеры маминой молодости, как исчезли фиакры, трамваи, газовые фонари, пелеринки полицейских. Теперь террористы, гангстеры, хиппи, панки. Боюсь, что мама и их полюбила бы, парижане все же…

Но мамы нет. А Париж есть. И в нем тот самый „Городок“, о котором так замечательно написала когда-то Тэффи. Не могу удержаться, приведу несколько строк:

„Это был небольшой городок, жителей в нем было тысяч сорок, одна церковь и неимоверное количество трактиров.

Через городок протекала речка. В стародавние времена звали речку Секваной, потом Сеной, а когда основался на ней городишко, стали называть "ихняя Невка".

Местоположение городка было очень странное. Окружали его не поля, не леса, не долины — окружали его улицы самой блестящей столицы мира, с чудесными музеями, галереями, театрами. Но жители городка не сливались и не смешивались с жителями столицы и плодами чужой культуры не пользовались. Собирались жители городка больше под лозунгом борща, но

небольшими группами, потому что все так ненавидели друг друга, что нельзя было соединить двадцать человек, из которых десять не были бы врагами десяти остальных. А если не были, то немедленно делались.

Еще любили они творог и долгие разговоры по телефону.

Они никогда не смеялись и были очень злы…“

*

Вот и я живу в этом, не так уж и изменившемся за прошедшие годы, городке. Хотел сказать, живу и не тужу. Нет, тужу. И очень тужу. Стоит ли расшифровывать, по ком и о чем? По-моему, и так ясно.

Вот если бы да кабы…»

*

Я читал эти печально-безвозвратные строчки 19.01.87 г.

Около пятнадцати часов по парижскому времени в номере отеля «Авиатик» зазвонил телефон. Мужской, подхихикивающий голос сказал:

«Здорово! Узнаешь?»

Голос был знакомый, но автора признать я не смог.

— «Я Толя Гладилин».

— «Теперь узнал».

— «Некрасов передал мне от тебя привет».

— «Чушь. Я не передавал приветов тебе. И где ты его видел?»

— «Он у меня работает».

— «Во как! Значит, ты его босс?»

— «Выходит, так».

— «Поздравляю, но приветов тебе не передавал. И что тебе от меня надо?»

— «Васька Аксенов написал, что ты в очерке о Казакове его приложил. В „Неве“ за 86 год. А мы здесь этот журнал не получаем».

— «Передай Ваське, чтобы он не встретился мне где-нибудь на международном перекрестке: расквашу хлебало вдребезги. Он знает, я это умею».

— «За что ты на него так?»

— «За то, что по его вине на шесть-семь лет из литературы вылетели Фазиль Искандер и Андрей Битов».

— «Ты имеешь в виду „Метрополь“?»

— «Да. Чего тебе еще надо?»

— «Мне нравятся твои книги».

— «Спасибо. Мне твои никогда не нравились».

— «Неважно. В здешней прессе я тебя регулярно хвалю. У тебя не было неприятностей по такому поводу?»

— «Нет. Не замечал».

— «Почему тебе разрешают публиковать то, что другим нет? Рука?»

— «Нет руки. Просто само собой как-то налаживается. Полежит годик, глядишь, и выскочит. Еще есть вопросы?»

— «Нет».

— «Тогда пока».

Сразу и довольно раздраженно перезвонил Некрасову:

«Прости. Но сейчас Гладилин благодарил за привет, который я ему через тебя не передавал».

— «А, брось, все мы тут одним миром… Чем я от него отличаюсь?»

— «Прости, но ни с Гладилиным, ни с Аксеновым я никаких общений не хочу».

— «Брось, не делай из мухи…»

— «Не делаю. Ты для меня — солдат, кровь за родину проливший и меня спасший, и автор пока лучшей книги о Великой Отечественной войне. А Гладилин — аксеновская приживалка и затычка. Знаешь, как Толя еще выразился? Что „ты у него работаешь"».

— «А я действительно у него работаю».

— «Хороший у тебя босс».

— «Здесь не выбирают…»

— «Ладно, прости».

— «И ты прости».

*

Думаю, для последующего разговорчик с Гладилиным свою роль сыграл.

Заметки любезного гражданина мира с американским паспортом

Мы друзей за ошибки простим,
но измены простить — не просите…

«Дорогой Виктор! Посылаю тебе вырванное мною из „Континента“ упражнение нашего бывшего коллеги в злобе. А я даже и не знал, что ты такой шибко преуспевающий и партийный. Аксенов, по-моему, уничтожает этой злобой себя как писателя. Жаль, конечно, потому что талант у него есть. А может быть, теперь только „был“. Надеюсь, что чтение этого тебя слишком не расстроит. Семь футов под киль.

Твой Евгений Евтушенко. Июнь 1987 г.»

С Женей мы не один раз ссорились. Подкусывал я его и устно, и в печати довольно болезненно. И он даже как-то заявил, что глаза у меня волчьи и взгляд соответствующий — волчий. На что я ответил: «Жень, а хоронить-то друг друга, коли обстоятельства позволят, ведь друг к другу прилетим? Прилетим. Ну, а это и есть главное».

*

«…И НЕ СТАРАЙСЯ! (Заметки о прозаических высокопарностях и журнальных пошлостях). Василий А к с е н о в.

*

Приходится сразу признаться в эгоистическом побуждении к этим заметкам. Не коснись Виктор Конецкий в своем „повествовании в письмах“ под тугодумным заголовком „Опять название не придумывается“, помещенном в № 4 журнала „Нева“, меня лично, я, может быть, и даже скорее всего, просто бы пожал плечами, прочитав его сомнительные воспоминания о Юрии Казакове. Однако коснулся бывший товарищ, прилежно выполнил социальный заказ, обдерьмил „отщепенца“. Эгоистические чувства досады, презрения и глубокой грусти толкают меня сейчас к перу.

Не исключаю, что после этих заметок похвалят храброго „маримана“ и писателя Конецкого в каком-нибудь отделе

Ленинградского обкома партии, что в Смольном институте,— в морском ли отделе, в литературном ли, в другом ли отделе. Так держать партийное перо, товарищ Конецкий! Задело отщепенца за живое!

И правда, задело за живое — как еще назовешь осквернение товарищества, искривление молодости, унылый вздор вместо описания забавной одесской фиесты 1964 года; живое обдерьмил!

Однако, прежде чем говорить о совершённом в отношении меня литературном предательстве, следует остановиться на всем произведении в целом, а еще прежде сказать несколько слов о самом Викторе *Конецком*, напомнить широкой публике, кто он таков.

Мы, в общем-то, считались принадлежащими к одному поколению так называемых советских „шестидесятников“, хотя он начал одновременно с Казаковым, на несколько лет раньше меня, то есть во второй половине пятидесятых годов. К тому моменту, когда я познакомился с ним на киностудии „Ленфильм“ в начале 1961 года, он был уже автором двух нашумевших морских повестей „Завтрашние заботы“ и „Если позовет товарищ“, однако я, только что вскарабкавшийся на эту сцену молодой врач, еще никого не знал и не понимал, отчего это так куражится в студийном кабинете этот небольшой мужичок в мичманке и отчего вся редактура так вокруг него приплясывает.

Помню, он все хвалился огромными деньгами, отягощавшими его карман. Ты, Аксенов, небось никогда не видел таких денег, говорил он мне. Наверно, даже и не воображал, что у человека могут быть такие деньги. Это мне понравилось: все-таки обычно люди деньги прячут, прибедняются, а этот бахвалится, тащит из карманов какие-то смятые пачки сотенных — такой грассирующий морской гусар, да еще, оказывается, и модный писатель.

В те времена, чтобы заработать имя в литературе, надо было слегка попирать законы социалистического реализма, и Конецкий их слегка попирал. Его герои, морские суперменчики (увы, не могу обойтись без уменьшительной формы), все-таки больше походили на ремарковских персонажей, чем на „положительных“ носителей самых передовых идей. Вообще он писал неплохо и с каждым годом все прибавлял, он и сейчас неплохо пишет, вот только название у него что-то не придумывается…

Раньше все-таки лучше придумывались у него названия. Помню, вот такое было — „Соленый лед“, не такое уж сильно хватающее, но достаточно емкое, сдержанное такое название. Подхожу к книжной полке, на которой стоят книги, подаренные друзьями-шестидесятниками, вынимаю сборник Конецкого „Луна

днем“. Тоже все-таки название. Не „Из пушки на Луну“, конечно, и не „На полпути к Луне“, но все-таки луна в названии — это уже полдела. Конецкий никогда выдумщиком не был, такой просто добротный реалистический писатель. Странно, что даже какое-нибудь простое название сейчас у него не придумывается, а вот пошлое вранье о старых товарищах придумывается и не без определенного ража.

Открываю сборник „Луна днем“, читаю дарственную надпись: „Василию Аксенову, человеку, с которым легче вдыхать и выдыхать на этом свете. Будь счастлив. Твой В. Конецкий. 4 ноября 1963 год“.

К тому времени уже окончательно сформировалась наша литературная среда. Ощущая себя участниками какого-то хоть и смутного, но движения, мы очень любили друг друга и — кажется, вполне искренне — желали друг другу успеха. „Старик, ты гений“,— такова была самая популярная фраза в застольях. Писатели, художники, киношники, молодые актрисы смотрели друг на друга в некотором ошеломлении — до чего, мол, мы все хороши! Страшно много пили — в этом, очевидно, сказывалось желание преодолеть скованность сталинского детдома, ощутить порывы свободы.

Порывы свободы ощущались временами с такой силой, что всю компанию начинало трясти в дикой лихорадке. Вика Конецкий был одним из фаворитов, народ любил говорить о нем что-то вроде „вчера с Викой в "Красной стреле" так шарахнули, что…“ или „Конецкий на своей "Волге" с двумя девушками в озеро заехали“ и так далее. Иногда под дурным градусом в нем просыпался злобный ерник, скандальный мужичонка, но потом дурь проходила, и он, милейший и теплейший, дарил книги — „человеку, с которым легче вдыхать…“ и так далее.

Еще бóльшим фаворитом был ныне покойный и незабвенный Юра Казаков, замечательный мастер прозы. Он был похож на огромного ребенка с круглой головой, на которой волосы то ли все уже вылезли, то ли еще не начали расти. К нему все и относились отчасти как к ребенку, хвастливому, немного жадному, удивительно наивному и в то же время гениальному. Ужасно было слушать его, когда он начинал рассказывать свои творческие замыслы. Он нес такую чушь, что невозможно было себе представить, как эта чушь в конце концов преображается в очередной мастерски отделанный, светящийся и умный рассказ. Какая химия переваривалась в этом сосуде? Однажды, шатаясь безобразной толпой, остановились помочиться в темном дворе. Завершив этот суворовский подвиг, компания двинулась дальше и вдруг обнаружила, что Казакова забыли. Вернулись и увидели,

что он сидит во мраке на каком-то приступочке и смотрит на поленницу дров. Кисть его руки прошлась в волнообразном движении. Смотрите! Видите? Там была березовая кора на тех дровах, и она светилась в грязной дыре…»

*

В этом «суворовском подвиге» (?) я участия не принимал, ибо был литератором областным, а не столичным.

Однако есть еще одно свидетельство — стихотворное. Мне оно представляется более художественным.

Комаров по лысине размазав,
Попадая в топи там и сям,
Автор нежных, дымчатых рассказов
Шпарил из двустволки по гусям.

И, грузинским тостам не обучен,
Речь свою за водкой и чайком
Уснащал великим и могучим
Русским нецензурным языком.

В духоте замызганной хибары
Он ворчал, мрачнее сатаны,
По ночам: — Какие суки бабы!
По утрам: — Какие суки мы!

А когда храпел, ужасно громок,
Думал я тихонько про себя:
«За него, наверно, тайный гномик
Пишет, нежно перышком скрипя».

Но однажды ночью, темной-темной,
При собачьем лае и дожде,
Не скажу, что с радостью огромной,
На зады мы вышли — по нужде.

Совершая тот обряд законный,
Мой товарищ, спрятанный в тени,
Вдруг сказал мне с дрожью незнакомой:
«Погляди, как светятся они!»

Били прямо в нос навоз и силос,

Было гнусно, сыро и темно.
Ничего как будто не светилось
И светиться не было должно.

Но внезапно я увидел, словно
На минуту раньше был я слеп,
Как свежеотесанные бревна
Испускали ровный-ровный свет.

И была в них лунная дремота,
Запах далей, северных, лесных.
И еще особенное что-то,
Выше нас и выше их самих.

А напарник тихо и блаженно
Выдохнул из мрака: «Благодать!
Светятся-то, светятся как, Женька!»
И добавил грустно: «Так их мать!»

Это стихи Евгения Евтушенко.

Продолжаю Аксенова:

«Казаков с Конецким были очень дружны и вот, как оказалось, даже состояли в продолжительной переписке, что, разумеется, дает нашему автору если не бесспорное, то все-таки право составить о покойном друге „повествование в письмах“.

Трудно не испытать волнение, когда читаешь письмо, которым открывается эта повесть, последнее письмо Казакова Конецкому, писанное в каком-то Центральном Краснознаменном Военном Госпитале в Красногорском районе Московской области. Он чувствует приближение конца, „на всякий случай“ в совершенно безукоризненном по мужеству духе прощается с другом, по отношению же к тому, что составляло весь смысл его жизни, он одной или двумя фразами как бы пересматривает всю тщету текущей литературы и своих молодых, нередко весьма курьезных амбиций. „Давно уж я не питаю никаких иллюзий насчет воздействия слов на братьев наших, и хочется заниматься литературой ни к чему не обязывающей… счастье, которого нам осталось с гулькин нос, оно, может быть, и есть ощущение, что ты пишешь хорошо…“

Трудно сказать, под каким углом и до какого предела проходил отбор писем для этой публикации (Конецкий доводит до сведения, что большая часть писем не использована и хранится в Ленинграде, в Пушкинском доме), но и приведенная здесь

подборка впечатляет.

Сквозь массу всякой чепухи, иногда очень прекрасной (Забывает Василий Павлович уже русский язык. Сказать «очень прекрасно» можно, пожалуй, лишь в Житомире, да и то в дореволюционные времена.— *В. К.),* особенно для посвященных, различается образ человека ангельского творческого духа, не особенно даже и испорченного за пять десятков лет чертовщинного быта. Он это и сам в себе ощущал, как ощущал и муку своего таланта: „…Я это знаю, поскольку сам испытал несколько раз в жизни приливы божественности, приливы тоски и мрака, слез по уходящему и много прочего…“

Мы видим перед собой человека определенно религиозного, если и не церковного, чрезвычайно русского, но не в новом национал-большевистском духе, а в постоянном. „Святая Россия, Святая! Всю ночь будешь сниться мне ты…“ — эту строчку приводит он в письме еще 1958 года. Такого рода восклицаний немало в этих письмах. „Великий писатель земли Русской“, или „Велик Бог земли Русской!“, или „Возродим жанр русского рассказа, покажем Европе, что Русь жива!“ — такие восклицания, иногда в контексте легкой самоиронии, но в общем-то серьезно, разбросаны в этих текстах.

Я как-то уже писал, вспоминая о Казакове, как он спонтанно, подсознательно отталкивал от себя окружающую „прекрасную действительность“ и как тянулся к остаткам российского прошлого. Герои его рассказов, лесничий А., механик Б., учитель В.,— могли бы прекрасно фигурировать на страницах „Нивы“ и в том случае, если бы революции не случилось, а Россия продолжала бы свое нормальное существование, включающее издание этого журнала.

Карта его излюбленных путешествий говорит сама за себя. Белозерск, Кириллов, Вытегра, Кижи, Повенец… Сентиментальные странствия по местам, максимально отдаленным от СССР, даже названиями взывающим к русскому прошлому. Говоря о падчерице Паустовского Гале, в которую он был, кажется, немного влюблен, Юра всегда называл ее княгиней Волконской, а ее мужа, композитора Волконского, „князем Андреем“, несмотря на то, что нахальная актерская братия в нашей среде нередко обращалась к этому аристократу более чем запанибрата — „князища-козлища“ и так далее в этом духе.

Словом, напечатанное в журнале „Нева“ „повествование в письмах“ не вызвало бы в душе ничего, кроме волнения от встречи с этой уникальной, странной и очаровательной личностью, если бы оно только письмами Казакова и ограничилось. Увы, подзаголовок неточен, повествование

письмами не ограничивается, и в том, что находится за их пределами, перед нами предстает личность совсем иного плана — Виктор Конецкий.

*

В советскописательском смысле это личность чрезвычайно ординарная и, несмотря на все оговорки, чуткой ноздрей повернутая в сторону ветерков-шептунов, исходящих из организации, обосновавшейся в Институте благородных девиц. Вполне очевидно, что ординарность эта им осознается, и он старается во все тяжкие, чтобы создать противоположное впечатление.

Как часто это бывает у такого рода людей, автор этот чрезвычайно щедр на цитаты — тут и Толстой, и Бунин, и Шкловский, и Хемингуэй, и Спенсер, и особенно Чехов. Чехова Конецкий вообще как бы считает „своим“, хотя и удивляется с неосторожной наивностью, отчего у Чехова так мало цитат. „В Бога Чехов не верил“,— успокоительно заявляет Конецкий, выигрывая этим себе у цензора несколько очков вперед. Вот уже и в душеприказчики Антону Павловичу записался, очевидно, на том основании, что написал о нем вялый надуманный рассказ да посидел с похмелья в его ялтинском садике.

(Господи, да кто же с раннего детства не знает, и нужно ли для этого записываться в душеприказчики к Антону Павловичу, когда любой всю жизнь слышит, как сек папаша своих сынишек за нерадивое пение псалмов. Кто же не знает, что своим односторонним религиозным воспитанием папаша не только омрачил детство Антоше, но и навсегда вызвал в душе Чехова не только обыкновенный протест против деспотического навязывания кому бы то ни было своей веры, но и лишил самого Антона Павловича веры. Это одна из главных трагедий Чехова. И для этого не обязательно читать Потапенко или Щеглова. Достаточно прочитать «Черного монаха». А уж если прямо из письма Чехова взять, то: «Религии у меня теперь нет». Это из письма к И. Л. Щеглову.

И в записных книжках у Антона Павловича — просто сейчас времени нет их перелистать — неоднократно с глубинной безнадежностью проскальзывают нотки его боли от неверия в Бога.

Именно в нынешний момент все мы, даже самые глупые, поняли роль веры в жизни человека и всего общества.— *В. К.*)

Повествование о Казакове и о его окружении Конецкий

открывает могучим страстным призывом сродни „Не могу молчать!“. Этот призыв следует здесь привести целиком.

„Русские мужчины, все мои читатели! Если вам дорога Россия, если вы понимаете, что без России не будет мира и самое Земли, соберите остатки воли. Водка — это смердящее рабство, это вечный страх перед любым начальником, включая какую-нибудь стерву-проводницу. Я знаю, что говорю. Кто еще любит Россию, должен бросить водку и растить наших мальчишек в гордой трезвости. Вино убивает талант совести, талант гордости и талант любви“.

Так открыто и прямо, признается Конецкий, повелела ему сказать его писательская совесть. Смелый человек. Сказать такое в тот момент, когда партия выкатила бочки с бузой на улицы городов — пей не хочу! Когда опубликовано постановление ЦК о дальнейшем увеличении производства спиртных напитков и улучшении снабжения ими населения!

(И мое «Опять название не придумывается», и номер «Континента» с произведением Аксенова опубликованы после решений о начале борьбы с алкоголизмом. Здесь любезный гражданин просто и безобразно лжет.— *В. К.)*

Ну что ж, пусть витийствует все в том же плане, только вот противно, что он и смерть своего друга, замечательного писателя, рассматривает как бы в контексте одной лишь водки, как будто не было и других, не биохимических причин, не было скуки, разочарования, тоски по несостоявшейся российской цивилизации.

Можно предположить, что я всю эту совписательскую ординарность Конецкого вытаскиваю на поверхность из-за обиды. Признаюсь, так оно и есть, и, не будь его выпада против меня, совершённого в манере злобной шавки, кусающей сзади (избитость метафоры станет извинительной ниже, когда речь как раз и пойдет о гнусной собачонке), банальность Конецкого, проявившаяся в „Опять название не придумывается“, осталась бы невознагражденной. Благодеяния эгоизма. Нужно же все-таки когда-нибудь говорить об этих короленках советского типа».

(Шесть лет ссылки, Мунтянское дело, выход из академиков вместе с Чеховым в поддержку Горького, «Сон Макара», дело Дрейфуса, «Слепой музыкант»… Да ежели бы я сделал в литературе и для России на кончик ногтя от того, что сделал Короленко, то залез бы в трамвай и с чистейшей совестью поехал бы хорониться на кладбище… Это же куда надо докатиться, чтобы с маленькой буквы «короленки советского типа»! — *В. К.*)

«С большим удивлением я вдруг увидел, что Конецкий подходит в своем повествовании к нашей общей одесской

киноэпопее 1964 года. Неужели будет он об этом рассказывать, подумал я, а если да, то как он избежит упоминания обо мне? Не разрешается же там меня упоминать советским писателям, давно уж все поэты, когда-то посвящавшие мне по-дружески стихи, сняли из всех публикаций свои посвящения. И вдруг, смотрю, упоминает Виктор — или почти упоминает.

Он начинает свой рассказ о том, как зимой 1964 года собралась „могучая кучка“ из пяти молодых гениев, трех прозаиков, одного сценариста и одного кинорежиссера. „Кучка“ решает одним духом написать великолепный комедийный сценарий из морской жизни. Первый прозаик, пишет Конецкий, это я (то есть Виктор Конецкий). Третий прозаик — Юрий Павлович Казаков. Профессиональный сценарист — Валентин Ежов, получивший Ленинскую премию за „Балладу о солдате“. Режиссер — это Георгий Николаевич Данелия. А где же я, Вася-то Аксенов? А вот и я, судари мои! „Второй прозаик в те времена был популярным автором журнала "Юность" и жадно впитывал гены "мовизма", но с космополитическим уклоном“. Ошибиться нельзя, это я, хотя бы уж потому, что никого там, кроме меня, пятого не было. Хоть и не найдя там имени своего, я все-таки едва не растрогался. Дерзнул все-таки Виктор. Послал привет товарищу! Поначалу я не придал никакого значения „космополитическому уклону“, может быть, потому, что мне и в самом деле всегда это слово нравилось, а может быть, потому, что за годы жизни на Западе я как-то совсем потерял его советский зловещий смысл. Здесь-то космополитизм всегда употребляется с позитивным звучанием…»

*

(Виктор Платонович и в эмигрантских книгах, и в беседе со мной несколько раз называл себя изгоем.

Изгой — в древней Руси: человек, вышедший из своего прежнего состояния и лишенный средств существования, например, вышедший на волю холоп, разорившийся купец и т. п. Пришлось посмотреть у Ожегова и «отщепенца», на которого так обижается Аксенов. Отщепенец — человек, отколовшийся от какой-нибудь среды, отступник. Ну, а отступник — человек, который отступил от прежних убеждений.

Толкование «космополита» решил взять не из советских словарей, а заглянул в «Словотолкователь» Бурдона и Михельсона за 1875 год. (Чтобы объективнее было.)

«Космополит — гражданин вселенной, человек, почитающий

отечеством своим не ту страну, где он родился, а целый мир».

Точности ради следует все-таки заметить, что профессор литературы Гаучерского колледжа в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, мистер Аксенов до гражданина вселенной недотянул, ибо является гражданином США.— *В. К.*)

*

«…Постепенно, однако, становится все более ясно, что советский писатель имеет в виду и к чему он клонит со своим „космополитическим уклоном“. Прежде, однако, следует сказать несколько слов о самой кинокомедийной истории и о том, как она отражена в „повествовании“ Конецкого, к которому он никак не мог придумать названия.

Забавнейшие, надо сказать, и забубеннейшие были дни, и мы все друг другу тогда очень нравились. Собирались у Данелия на Чистых Прудах — московско-грузинская эта семья славилась не только талантами, но и хинкали — и в вакханалии острот придумывали заявку на сценарий, который должен был забить почему-то в первую голову „итальяшек“.

Конецкому припоминаются многие забавные детали той истории, и он вроде бы старается не врать там, где это не касается „писателя с космополитическим уклоном“, однако почему-то масса смешного и яркого ускользает из-под его пера (не отнести ли это к тому же состоянию, когда „название не придумывается“?), и временами фиеста под его пером оборачивается довольно унылым вздором.

Осенью того года вся пятерка собралась в Одессе, чтобы поближе к большой воде сочинить не очень-то водянистый сценарий. Несмотря на наши довольно известные уже имена и на лауреатскую карточку Ежова, нас все время выгоняли из гостиниц, потом вселяли опять, пока штаб-квартира экспедиции окончательно не укоренилась в гостинице „Лондонская“, которую советская власть согласно правилам социалистического реализма и борьбы против „космополитического уклона“ переименовала в „Приморскую“.

Трудно сказать, почему Конецкий не вспоминает о множестве забавных эпизодов, сопровождавших этот творческий процесс, сравнимый только лишь со знаменитой крыловской басней,— не вспоминает, например, о том, как Юра Казаков доводил нашего режиссера, рассказывая ему о различных запахах, которые он собирался описать в своей части сценария (нет запахов в кино, нет, стеклянным глазом впивался в него Данелия; врешь,

старичок, есть запахи в кино, усмехался Юра), о том, как по ковру номера-люкс вдруг стали расползаться из ванной комнаты принесенные кем-то для вечернего пира раки, о том, как феерически закружился вокруг нас кордебалет мюзик-холла „Минутка“ и как вместе с ним вдруг стали прокручиваться через нашу штаб-квартиру китобои с только что вернувшейся флотилии „Слава“, о том, как пела у нас Нани Брегвадзе и как появлялся страннейший одесский парень в форме кубинского майора и говорил, что он послан сюда Фиделем Кастро для спасения „золота Одессы“, да мало ли еще чего. Не в состоянии сдвинуть с мертвой точки свой дурацкий сценарий, мы не понимали, что каждый одесский день нашей бражки — это материал для куда более забавного предприятия.

Кончались деньги. Развал нашей творческой группы начался с того момента, когда из гостиницы вышел Юрий Павлович в своей эстонской фуражке с лакированным козырьком, с сидором личного имущества в левой руке и с орудием производства, то есть пишущей машинкой, в правой. Ну вас на три буквы, ребята, сказал он нам, ожидавшим его у подъезда. Вы мне надоели, я поехал в Казахстан. Он стал удаляться от нас по бульвару, а Конецкий все бежал за ним и кричал: „Юрка, куда ты?!“

Таким этот эпизод вспоминается и Данелии, и Ежову, однако у Конецкого память другая. Вот что он пишет: „…первым удрал из Одессы Прозаик № 2. Он удрал действительно по-английски, как крысы с корабля: не простившись и даже не оставив записки…“ Память Конецкого услужливо подрабатывает методу социалистического реализма и его социальному заказу,— ему надо показать меня предателем.

Память вещь вычурная. Не грех будет лишний раз вспомнить, что говорил Осип Мандельштам о так называемой „ложной памяти“ Как-то в раннем детстве он придумал в полусне смешную историю о том, как он вошел в пустой зал Филармонии и одним движением зажег там главный свет. С того времени на много лет он уверовал, что это на самом деле с ним было.

Память пьющего коллектива прихотлива и капризна. Все кажется условным — было, или не было, или было в другой раз и не в том месте?

Был ли, например, такой момент в наших блужданиях, когда, прогуливая свой мосфильмовский аванс, словно банда золотоискателей, мы шатались из салуна в салун, то бишь из одного творческого клуба в другой, и в одном из них увидели оставленный музыкантом в углу контрабас? Было это или не было — большущий толстый Казаков с сигарой в зубах, похожий на карикатурное изображение капиталиста двадцатых годов,

скакнул к контрабасу и вдруг заиграл на нем с удивительным профессионализмом и мягким свингом? Сколько юмора было тогда в его подмигивании и попыхивании „гаваной“; или этого не было?

Был ли в тех блужданиях еще один момент, когда в добродушно покачивающейся очереди на такси Конецкий вдруг поднял истерический скандал, напал с кулаками на какую-то компанию и тут же убежал, предоставив нам отдуваться?

И что было контрапунктом всей той эпопеи — Казаков с сигарой или Конецкий с кулаками? Только писатель, верный методу социалистического реализма, сможет извлечь общественную пользу из подобных историй.

Не исключаю, что, говоря о моем мнимом „бегстве по-английски“, Конецкий имеет в виду не только отъезд из Одессы, но и эмиграцию шестнадцать лет спустя. Вскоре мы увидим, что у меня есть основания для этого предположения. Если это так, то он врет совсем уж беспардонно. Наш дом в Переделкино был всегда открыт, и все, кто хотел и был достаточно смел попрощаться (таких, к счастью, было немало), шли к нам без приглашений в течение двух месяцев. Никто, конечно, не сомневался, под каким строгим наблюдением этот дом находится. Струсили как раз несколько персон, считавшихся у нас самыми храбрейшими, эдакие моряки, десантники, супермены, в их числе Конецкий. Вместо него пришла только жена его, милая Ирина, да и то не решилась войти в дом, а попрощалась за двоих у ворот. (Я никогда в жизни женат не был. В момент отъезда Аксенова находился за тысячи миль в океанах. А если бы оказался в Переделкино, то зашел бы попрощаться хотя бы из любимой мною фронды, но это бог с ним. А вот зачем закладывать некую Ирину? «Вычислить»-то ее просто. Вовсе уж не по-джентльменски, Вася! — *В. К.*)

Теперь мы приближаемся к основной гнусности „повествования“, на которую Конецкий израсходовал все запасы своей фантазии, так что на название уже не хватило.

Довольно неожиданно он переносит место действия в усадьбу своего близкого друга Евгения Александровича Евтушенко. Речь идет в данном случае о его переделкинской усадьбе. Главным действующим лицом последующей главы становится, однако, не сам хозяин усадьбы (очевидно, где-то в отъезде по делам мировой революции), а его собака Бим, завещанная ему пролетарским поэтом Ярославом Смеляковым, умудрившимся и после трех отсидок в лагерях сохранить исключительную верность социалистическим идеалам.

Собаки, наши спутники в этой жизни (Бердяев называл их

„малые души“), вполне заслужили серьезного к себе отношения и разговора о них как личностях. (Я, конечно, грешу обилием цитат — особенно в конце многомесячных океанских рейсов, но, право дело, можно обойтись и без Бердяева, чтобы сообщить, что «собака — друг человека».— *В. К.*)

Этот пресловутый Бим был темной подмосковной личностью, молчаливо-ухмыльчивой и постоянно ждущей удобного момента, чтобы куснуть сзади. Он очень нравился Конецкому в те дни, когда Евгений Александрович пускал его к себе жить.

Однажды Бим и меня укусил в лодыжку (по Конецкому, в ляжку — оно ведь в традициях русской сатиры обиднее). Эпизоду этому, хоть и противному, я придал так мало значения, что даже и не запомнил, кто при нем присутствовал. Жаль только было вельветовых штанов, хоть и старых, но весьма в семье многоуважаемых. Оказалось, Конецкий при сем присутствовал, радовался и запоминал.

Главу, которая почему-то является центральной в „повествовании“ и которой даже предпослан эпиграфом стих того же Евтушенко, посвященный Казакову, автор озаглавил „Некоторое отступление, без которого я легко обойдусь“. Если ты, Виктор Викторович, мог обойтись без этого отступления, то кто же тогда не мог без него обойтись? Расколись, помполит!

И вот он живописует, напрягая все свое воображение и демонстрируя шедевры комиссионного вкуса. Популярный прозаик журнала „Юность“, тот, что с „космополитическим уклоном“, то есть Прозаик Номер Два (Прозаик Номер Один — это сам Конецкий), курит только американские сигареты с очень длинным фильтром. Он только что закончил многотомный роман, который „необходимо и обязательно должен был принести бессмертие“, и потому настроен добродушно-снисходительно ко всему окружающему. Он прогуливается по Переделкино в дохе из леопарда и шапке из соболя, а „под всем этим мехом у него был костюм из итальянской ткани "павлиний глаз"…“

Сначала я не понимал, откуда все эти роскошества взялись у Конецкого. Может быть, отражение каких-то фрейдовских глубин или сугубо морского опыта — ведь приемщики в комиссионках обычно так и записывают „костюм итальянский "павлиний глаз"“… Потом догадался: проинспектировал гардероб своего гостеприимного патрона Евгения Александровича во время „недельного молчаливого сожительства“ с его собакой Бимом. Кто по Москве не помнит триумфальных ПРОМЕНАД национального сокровища, облаченного вот именно точно в соответствии с набором Конецкого.

Однако он рассказывает не о нем, а обо мне. Ему надо

создать емкий образ гнусного и тщеславного космополита. Ну, что еще? Ах да… „после прогулки он собирался отбыть на обед во французское посольство“. Кажется, все? Да нет, чего-то еще не хватает. Вот для завершения — финальный мазок мастера прозы. Леопардовую шубу сопровождает француженка, „молоденькая обаятельная куртизаночка по имени Люси, от одного имени с ума сойдешь!“ Он как-то вот запамятовал малость, Виктор Викторович Конецкий, во что была одета француженка, но это возможно оттого, что „прелестных француженок, если не очень холодно, можно и ни во что не одевать“. Каков наш маринист? А вот еще врут враги, что нет галантных мужчин в ленинградской парторганизации!

Затем Прозаик № 2 желает добить „очаровательную куртизаночку“ знакомством с Евтушенко и заводит всю компанию в его усадьбу, где живет, по Конецкому, в виде Бима дух Ярослава Смелякова. Согласно сей версии, „модерниста с космополитическим уклоном“ не просто мерзкая шавка тяпнула, а все пролетарское родное искусство.

Далее описывается, как среди евтушенковских сугробов собачонка вежливо пропускает самого товарища Конецкого и прелестную француженку Люси, а потом героически атакует сзади классового врага. Жаль, что Конецкий не запел в этот момент: „Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед!“

Меня всегда поражало, с какой неуклюжестью описываются в советской литературе комические ситуации. Конецкий не сделал исключения. Тут у него и какой-то пятиметровый мореный дрын, который Прозаик № 2 выдернул откуда-то „с такой решительностью и беспощадностью, как Пророк у Пушкина вырывает свой грешный и лукавый язык“, тут у него и водосточная труба гаража Евтушенко, которую сокрушил этот дрын, тут у него и ноздреватый снег, в который он вминает „юную француженку“, ибо опасается за состояние франко-советских культурных связей, и какая-то яблоня, старая, кривобокая и растопыренная, которую Прозаик № 2 тоже пытается вырвать, и француженкина „очаровательная ножка в алом сапожке“ (вот уж соплей-то по этой француженке размазал!), и все это привлекается для создания атмосферы легкого небрежного издевательства над незадачливым космополитом, увы… вместо этого мы видим одну лишь косолапость и размазню, легкости не получается. И не получится, не старайся, литературной игры не построишь на дурных замыслах.

Завершает Виктор Конецкий свое отступление, „без которого

бы он мог легко обойтись“, да кто-то другой обойтись не может, следующим пассажем:

„…Ныне фамилию Прозаика Номер Два упоминать не принято (не принято, судари мои, и всё, а Виктор Конецкий знаток этикета.— *В. А.*), ибо он давно уж свалился за русский горизонт.

Туда ему,— скажу от всей души,— и дорога“.

Дождливым мрачнейшим днем июля 1980 года, за пару недель до выезда из СССР, я последний раз в жизни встретил Юрия Казакова. Он вышел из переделкинского сельпо в своем излюбленном эстонском картузе с лакированным козырьком, не исключено, что в том самом, в каком отчаливал из Одессы шестнадцать лет назад. Бывают вещи, поражающие своей живучестью. Английский твидовый пиджак Петра Ильича Чайковского, висящий в его музее в Клину, хоть сейчас носи.

Юра, конечно, искал водку. В сельпо ее не оказалось, и он попросил меня подвезти его до другого магазина на станции. По дороге он начал рассказывать какой-то очередной несусветный творческий замысел: „…один чувак по лесу идет — понял, старик, — такой глухой, на фиг, лес, ни конца, бля, ни краю, и вдруг видит домик на опушке — ты понял, старик? — заходит, а там прекраснейшая девка его встречает, высшего класса такая особа, и множество напитков, на фиг, самого высшего качества…“

Зная, во что подобная ахинея под его пером превращается, я только поддакивал. Вдруг он прервал свой „творческий замысел“ и сказал…» (Почему кавычки? Неужто не слышал Василий Павлович нынче даже уже затертого «из какого сора растут стихи, не ведая стыда»? Да, так Казаков рассказывал близким людям творческие замыслы, самые истинные замыслы — чрезвычайно деликатное, опасное и болезненное дело. Извечно художники здесь прикрываются — часто обыкновенной матерной грубостью. Под «ахинеей» только и может, как под пеплом, тлеть и разгораться из уголька огонь. Кавычки, в клетку которых засадил Аксенов «творческий замысел», несут нечто снисходительное к Казакову. Мол, у самого-то Аксенова творческие замыслы рождались и рождаются сразу, без всяких ахинеи, даже и без магического кристалла, который Пушкину лишь помогал смутно различать замысел романа. Ну, тут каждый своим путем идет.— *В. К.*) «…и сказал: „В Доме творчества народ говорит, что тебя, Васька, либо посадят, либо за границу отправят“. (Тут, по Аксенову, Казаков пьяно бредит. В те времена знаменитых писателей,— а „Звездный билет“ и „Бочкотара“ ввели автора даже в справочник „Кто есть кто“,— не сажали в тюрьмы — мирового общественного мнения боялись. И почему „за границу

ОТПРАВЯТ“? Кто это отправлял за границу Аксенова? Его даже — в отличие от Некрасова — не выживали за границу. Уезжали же оба по собственному решению. Вот Солженицына да — и подсадили, и ногами вперед за границу отправили. А в изложении гражданина мира получается, что навис над ним ГУЛАГ черной тучей. Это над счастливчиком, который к тому моменту уже чуть не полгода провел в США — учил американцев советской литературе и „покуривал марихуаночку“. Последние слова в кавычках, ибо они мною от самого Аксенова слышаны. Никак не хочу навести на него „марихуаночкой“ наркотическую тень. Нет, и от алкоголизма, и от наркотиков Василий Павлович застрахован на 100 %. Тут у него голова с рождения трезвая, и пьяным я его ни разу не видел. Невыгодное дело пьянство — и делу, и карьере повредить может. А уже после командировки в США гражданин СССР Аксенов возил по Европе матушку. За этот поступок я Васю очень уважал. Вывезти во Францию гулаговскую матушку в те времена — это было не самому съездить. Это надо было волю иметь и матушку любить по-настоящему. Помню, она уже больна была раком, была ослабевшая, предсмертная. И вот сын доставил матери такое счастье: покатал ее по Франции и по Испании на автомобиле. В Испанию визы у них не было, но Вася рискнул и махнул без разрешения. И за это я его еще больше уважал.

Так вот, разговора о посадке быть не могло и не было.

Здесь гражданин мира просто-напросто себе в сознании нынешних читателей этакий терновый венец плетет. Никакая Петропавловская крепость над ним не висела и в эмиграцию никто его ногами вперед не выталкивал. Он был БАЛОВНЕМ советской литературной судьбы.

И весь мой ответ на статью Аксенова вызван в первую очередь тем, что в сознании многих читателей (по письмам знаю) все наши литераторы-эмигранты выглядят этакими великомучениками. Это еще от старины идет, от традиции. А эмиграция — разная. И ежели каждая строка эмигранта Некрасова пропитана мукой, болью, гаданием: «А правильно ли?..» — то в выступлении Аксенова вы никакой боли не ощутите. Почитаем дальше.— *В. К.*)

Итак, Казаков: «„В Доме творчества народ говорит, Васька, что тебя либо посадят, либо за границу отправят. По мне, так лучше бы тебя посадили, все-таки хоть и в тюрьме, но с нами останешься, дома…“

До сих пор при воспоминании об этом разговоре меня берет оторопь, но не за себя, а за него: кроме любви к себе, я услышал в словах Юры ноту капитуляции, безнадёги, ухода из „прекрасного

яростного мира“ — …все-таки… в тюрьме… с нами… дома…»

(Оторопь берет тут гражданина мира. Не понять ему капитулянта Казакова. И никогда не поймет. На разных языках рождены эти люди разговаривать. Так уж им судьба положила. И тут только пожалеть можно Аксенова…

«Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее». Это Пастернак, когда отказывался от Нобелевской премии — боялся высылки на Запад. Боже, сколько таких заявлений наших людей я мог бы привести! Но боюсь, не туда бисер посыпется.

Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегает конвой.

Мы прямо лезем, словно танки,
Неотвратимо, будто рок.
На нас — бушлаты и ушанки,
Уже прошедшие свой срок.

И на ходу колонне встречной,
Идущей в свой тюремный дом,
Один вопрос, тот самый вечный,
Сорвавши голос, задаем.

Он прозвучал нестройным гулом
В краю морозной синевы:
«Кто из Смоленска?
Кто из Тулы?
Кто из Орла?
Кто из Москвы?»

И слышим выкрик деревенский,
И ловим отклик городской,
Что есть и тульский, и смоленский,
Есть из поселка под Москвой…)

«Конецкий с высокомерием областного Парткома Парткомыча отправляет меня за русский горизонт. Человек, плававший во всех морях мира, очевидно, не понимает природы горизонта. Чем он там занимается в своих плаваниях? Умеет ли определяться по секстанту?»

(Хоть убей, не могу понять, зачем для понимания «природы

горизонта» областному Парткому Парткомычу надо пройти все моря мира. А фраза «Чем он там занимается в своих плаваниях?» обозначает, естественно, что я во всех морях мира веду по приказу КГБ подрывную работу против мирового империализма, ну и, ясное дело, стучу на своих соплавателей. Правильно, Вася! Тут ты угадал. А вот в следующей фразе: в трех словах — две ошибки!

«Умеет ли определяться по секстанту?»

Определяются по небесным светилам — звездам, Солнцу, Луне, Венере, другим планетам; определяются еще по мысам, маякам, приметным местам. А делают это уже при помощи секстана, а не секстанта. «Секстант» — слово сухопутное, «секстан» — морское. Не надо совать нос туда, где ни бельмеса… Хотя я и понимаю, Вася, твое желание пустить морской пыли в глаза: я, мол, судовой врач, а не обыкновенный, и потому с горизонтом на «ты».— *В. К.*).

«В начале моей литературной жизни одна девушка в переполненном писательском клубе спросила меня: „Кто здесь твои враги?“ Я оглянулся — вокруг были одни друзья, враги были столь ничтожны, что о них не стоило и говорить. Предательство друзей — это литературная банальность, думал я, не зная, что по прошествии времени и после того, как **они** устами Ф. Кузнецова объявят меня „врагом“, я столкнусь с ошеломляющей чередой этих банальностей.

К счастью, есть еще в нашем мире уникальные человеческие качества, есть верные друзья, которые не продадут, Конецкий к числу этих оригиналов не относится, он — общее место.

И все его попытки создать на фоне Казакова свой образ, равный его покойному другу и корреспонденту, образ писателя Земли Русской, рыцаря пера без страха и упрека, рушатся в бытовой соцреалистической банальности. Ничего не получается, не только название не придумывается, не получается никак подняться над стадом, и, как видно, уже не получится. Не старайся!»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «ДВАДЦАТЬ ДВА»

(В каждом номере 224 страницы)

Оригинальная и переводная проза, поэзия, статьи.

Актуальные проблемы мира и Ближнего Востока. Анализ политических ситуаций в России и на Западе.

С 38 номера начало публикации самого знаменитого детективно-политического романа десятилетия — «Маленькая Барабанщица», о сложнейшей операции израильской разведки против террористов. (Исключительное право перевода предоставлено автором Джоном Ле-Карре нашему журналу.)

Подписная цена на год (6 номеров) 40 долларов (авиапочтовой [1] в Европе — 50, в США — 56). Заказы с указанием начального номера подписки и чеки посылать по адресу: «22», ———— 7045.

———

Это рекламное объявление здесь случайно — машинистки перепечатали, ибо оно следует сразу за статьей Василия Аксенова. И одновременно оно здесь абсолютно закономерно и освобождает меня от дальнейших комментариев к высказываниям Василия Павловича.

Только вот Ярославу Васильевичу слово дать обязан — его святая тень велит.

Так вот, гражданин космополитической вселенной, когда ты жил в Переделкино в 1964 году, под тоскливый зимний ветерок, рядом с тобой, в той самой комнате, где застрелился Фадеев, бывший тройной зек писал, как встречаются «этапы вдоль по дороге снеговой»:

Ах, вроде счастья выше нету —
Сквозь индевелые штыки
Услышать хриплые ответы,
Что есть и будут земляки.

Шагай, этап, быстрее, шибко,
Забыв о собственном конце,
С полублаженною улыбкой
На успокоенном лице.

Не будет у тебя, любезный Вася, ни полублаженной, ни блаженной улыбки, да и успокоенного лица.

Сильный человек был Смеляков. Даже в стихотворении о Сталине он своей волей, но женской рукой положил к надгробию убийцы два безымянных цветка. Дурак, может быть? Нет, просто и

обыкновенно заветы Толстого и Достоевского исполнил. А вот гляди, Василий Павлович, как этот плебей и советский пролетарий о князе Святополк-Мирском вспоминает в 1966-м, взяв эпиграфом знакомые нам с рожденья слова: «Князь Курбский от царского гнева бежал…»

Князь Мирский бежал из России.
Ты брось осуждать, погоди!
В те дни, когда шли затяжные,
без малых просветов дожди.

И вот он, измявши окурки
в предчувствье невиданных стран,
на месте дождей Петербурга
увидел английский туман.

Но правда, рожденная в Смольном
октябрьским, сумрачным днем,
дошла до него, пусть окольным,
пускай околичным путем.

И князь возвратился в Россию,
как словно во сне, наяву.
Весенние ветры сквозные
в тот день продували Москву.

Белье за окном на веревке,
заплеванный маленький зал.
Он в этой фабричной столовке
о Рюриковичах рассуждал.

Тут вовсе не к месту детали,
как капельки масла в воде.
Его второпях расстреляли
в угодьях того МВД.

В июне там или в июле —
я это успел позабыть, —
но лучше уж русскую пулю
на русской земле получить.

Конечно, только у совершенно тупой личности, у болта не изменяются за жизнь взгляды, мироощущение, мировоззрение — это закон природы. Меняется оболочка души — материя, форма.

Меняется и духовная сущность, и мысли. И все-таки, отдавая в этом отчет, я не верю людям, которые меняют убеждения полярно (даже если проживают очень долгую жизнь). Я не верю священникам, которые начинают вести антирелигиозную пропаганду. Равно не верю коммунистам, которые уезжают на Запад и делаются священниками, и вещают лелейными голосами о муках Христа по платным «голосам». Ренегат есть ренегат.

За всю историю России еще не было так отчаянно тяжело. Спасение только в правде. Но нужна нынче только та правда, которую мы ЗДЕСЬ скажем или напишем, ибо только она есть правда живительная, оплаченная нашим мужеством, самой нашей жизнью и смертью. И эта правда приведет к победе и всемирной славе, то есть всемирному уважению и со стороны малюсеньких, и со стороны великих наций.

О гонораре. Если у господина Главного редактора журнала «Континент» или у Василия Аксенова возникнут претензии к ВААП по авторскому праву за перепечатку в СССР «…И НЕ СТАРАЙСЯ!», то заверяю их в том, что немедленно переведу востребованную сумму. У меня достаточно инвалюты, чтобы не особенно переживать.

Последний вопрос Максимову — на засыпку. Ты же отлично знаешь, что никто в парижах и лондонах моей повести в письмах о Казакове не читал. Потому в своем мне ответе Аксенов имеет такую полную возможность лгать и передергивать, которую даже наши хулители «Доктора Живаго» не имели. Зачем же ты, господин Максимов, переносишь на чужую почву не лучшие традиции отечественной полемики? Пора, пора и вам, господа, начинать перестраиваться. Возьми вот да и напечатай «Опять название не придумывается». Про то, как шавка укусила Васю в ляжку (или лодыжку), можешь выпустить. Ему — как профессиональному знатоку анатомии — здесь последнее слово. А вот письма Юрия Казакова для всех русских литературных эмигрантов не могут не быть интересны. Гонорар пропьем вместе в кафе на бульваре Монпарнас, 59. Пить на деньги НТС мне уже не привыкать.

*

Хватит — пошутили. Переходим опять к печальному.

Аксеновские заметки о прозаических высокопарностях и журнальных пошлостях заставили все-таки меня ахнуть и хватить кулаком по лбу: я вспомнил, что не выполнил поручение Виктора Платоновича. Он же велел отнести цветы к памятнику

«Стерегущему»! Я же по обычному разгильдяйству и лени все не удосуживался поручение исполнить.

Был конец июля.

Купил красных астр — роскошные, прямо королевские астры попались. И поехал к «Стерегущему». От моего дома до памятника три трамвайных остановки.

Из кингстона — ну, из той дырки, из которой обычно течет вода на этом памятнике,— ничего, конечно, даже не сочилось: водопровод испортился. Таким образом, героические матросы затапливали свой миноносец всухую. Однако народ их не забыл: и без моих астр на выступах памятника было много цветов.

Тишина летнего сквера, которую не нарушают даже гудки автомобилей и шелест их шин по асфальту Кировского проспекта.

Солнце.

Мягкие тени на ухоженных газонах.

И впервые в жизни я умудрился прочитать текст на тыльной стороне памятника:

> «В ночь на 26 февраля 1904 года из Порт-Артура выслан был отряд миноносцев в море, на разведку. За ночь миноносцы разделились, и с рассветом миноносец „Стерегущий“ оказался вблизи четырех японских миноносцев, вдали были видны еще другие неприятельские суда.
>
> „Стерегущий“ повернул в Порт-Артур, а японцы, обстреливая, преследовали его. Вскоре один из неприятельских снарядов попал в машину „Стерегущего“ и миноносец остался без движения среди врагов, осыпаемый градом снарядов. „Стерегущий“ отстреливался из своих пушек до последней возможности.
>
> Одним из первых был смертельно ранен командир — лейтенант Сергеев. Умирая, он напомнил оставшимся матросам, какая великая слава будет для них, если они погибнут, но не позволят неприятелю овладеть миноносцем. Эти слова умирающего командира глубоко врезались в сердца матросов. Следствием их и был тот безсмертный подвиг, который совершил миноносец „Стерегущий“. Вскоре были убиты и все офицеры: лейтенант Головизнин, мичман Кудревич и инженер-механик Анастасов. Вся палуба миноносца покрылась убитыми и ранеными, которые при качке безпомощно скатывались за борт. Когда японцы спустили шлюпки, чтобы подать на „Стерегущий“ буксир и увести его, по

пути ими подобраны были слабые четверо раненых, державшихся за обломки: минно-машинный квартирмейстер Федор Юрьев, машинист 2-ой статьи Василий Новиков, качегар 1-ой статьи Алексей Осинин и качегар 2-ой статьи Иван Хиринский. По окончании войны они возвратились в Россию.

На самом „Стерегущем“ из всей команды остались в живых только два человека. Увидя приближение японцев, эти два матроса спустились вниз и, задраив за собою горловины, открыли кингстоны, чтобы утопить миноносец.

Они предпочли геройскую смерть японскому плену.

„Стерегущий“, взятый уже на буксир японцами, начал тонуть и вскоре погрузился на дно моря вместе с двумя героями».

Дальше идет список экипажа и:

«Вечная слава героям, павшим в боях за Родину!»

Уже и не узнаю, почему Некрасов попросил меня возложить цветы именно к этому морскому памятнику,— ведь сам-то он дрался только на суше. В кафе «Монпарнас» почему-то постеснялся спросить. Запомнился только отрывок из нашего разговора:

— Море! Мне с детства снились море и корабли. А обратил внимание на герб Парижа? Можешь увидеть на ратуше. Парусный галион бороздит океанские волны…

— Такой сухопутный город и вдруг…

*

«Зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, кто прославлен!.. Не хватает смелости, что ли, умения, силы…» Это Бунин мечтает о книге без всякой внешней связи, о «книге ни о чем», вспоминая при этом Флобера, который мечтал о том же.

26 января 1920 года Бунин покидал Одессу. А в 1921 году в Париже записал в рассказе «Конец»: «Прощай, Россия, бодро сказал я себе, сбегая по трапам».

Странная какая-то бодрость…

«В последней повести Вы упоминаете о соборе в память погибших моряков в Цусимском бою. Дело в том, что я был хорошо знаком с этим храмом-памятником еще задолго до его печального конца. Отец мой — к-н I ранга А. И. Лебедев был начальником Центрального Морского архива, который в 20 — 30-е годы располагался в Новой Голландии, и мы жили в том же доме, где был Архив. Отец мой был участником Цусимы, прошедшим японский плен, и был постоянным посетителем храма, а с ним, вполне естественно, и дети. Мне довелось даже неоднократно подниматься на звонницу храма, помогать звонарю, пока разрешался еще благовест по праздникам. Знал я и настоятеля этого собора — Рыбакова (имени не помню), тоже участника Цусимы, с того же судна, на котором был мой отец.

Храм своей строгостью форм, отсутствием всякой мишуры и позолоты производил глубокое впечатление. Со стен над досками свешивались тронутые временем побывавшие в боях судовые знамена. А вот доски с перечнем имен погибших, помнится мне, были бронзовые. То есть основа их была мраморной, а сам перечень имен был увековечен в бронзе своеобразными аппликациями.

И еще одно врезалось в память. В заалтарном нефе была огромная (метров пяти?) мозаика по рисунку В. М. Васнецова „Хождение Христа по водам“. Это было великолепнейшее произведение. Бушующие у ног Христа волны покоряли зрителя своей мощью. Все это кануло в Лету… В храме ведь почти не было образов — только справа и слева от царских врат — благодаря чему еще рельефнее вырисовывалась фигура Христа. Вообще ведь архитектура храма-памятника была истинно русская, близкая храму на реке Нерли.

После взрыва, который пытались предотвратить прихожане, т. е. моряки-цусимцы, и те вдовы, о которых пишете Вы, телеграфируя в Москву, но, увы, тщетно; мы ходили на пепелище, и я лично видел огромную глыбу так называемого пудожского камня, из которого был сооружен храм, где сохранилась мозаика головы Христа с традиционным нимбом над ней. Помнится, старушки-вдовы говорили об этом как о „чуде“. Ну, это к делу не относится, вроде бы мелочь, однако все события,

связанные с храмом-памятником, свежи в памяти. А уничтожение васнецовской мозаики наравне с памятными досками, а может быть и со знаменами — не знаю,— это вопиющее варварство.

Лебедев Гавриил Александрович».

И как это памятник «Стерегущему» уцелел? Надо бы и его за компанию! И Александрийский столп — все-таки на верхушке ангел с крестом и крыльями. То-то бы высоко этот ангел воспарил, кабы под столп тонну-две нитротолуола…

*

Виктор Платонович Некрасов умер 3 сентября 1987 года в парижской больнице от рака легких.

Успел я с цветочками «Стерегущему» — слава тебе, господи!

Совсем разные письма

Для публикации «Опять название не придумывается» письма Казакова я отбирал очень скупо: боялся читательской скучности. Боялся затянутостью переписки бросить тень на прозу Юры.

Получив «…И НЕ СТАРАЙСЯ!», окунувшись в пену эмигрантской злобы, вернулся к письмам Казакова и решил попробовать напечатать еще десятка полтора — из давних-давних времен пишет Юра. И вот интересно — внутренний редактор! — рука сама собой начала подниматься и вычеркивать бесконечные пьянки, цедеэловские рестораны, бары, и пьяное хвастовство, и похмельную стенающую печаль: с души прет…

Но оставлю все — до последней запятой. Юра же светлый человек был, оптимист.

Вот пишет Виктору Лихоносову в октябре 70-го года из Абрамцева: «…Я как-то пришел к окончательному выводу, что в сей юдоли если есть счастье, так это работа. Я имею в виду талантливую работу, то есть ощущение, что то, что ты сделал,— хорошо. Пусть тебя даже не печатают, пусть не замечают, но когда ты кончаешь и ставишь точку, на душе легко и мир прекрасен».

«…Вообще же я бы Вам порекомендовал сейчас попробовать свои силы на крепких радостных рассказах. Я думаю, что радость такая же сторона жизни, как и несчастье, ее, может быть, меньше, но она есть и можно очень честно писать об этом. Она, т. е. радость, очень сейчас подмочена во мнении думающего читателя, и как-то даже мы стесняемся иной раз писать оптимистические вещи, ибо оптимизм иной раз у нас спекулятивен, фанфаронен, а я говорю о другом оптимизме, вытекающем из естественной необходимости счастья и бодрости во всем живом».

И еще Казаков: «Когда я гулял по Малеевке, мне все время попадалась на глаза вывеска со словами Тургенева: „Нет ничего сильнее и бессильнее слова“. Так вот, я глядел на нее и думал о втором качестве слова, о его бессилии. Слово сильно, когда ты крикнешь: бей! А если ты слабым голосом скажешь: любите друг друга?! сколько мы этих слов говорили! и что же? говорить снова, — скажешь ты и скажу я. Правильно, милый, и мы, а не мы, так еще кто-то будет говорить, пока останутся на земле хоть двое…»

24.12.57. Ленинград. Я — Казакову.

> «С наступающим Новым годом, бродяга!
> Грустная и блудливая мыслишка о том, что все

написанное — это все совсем „не то“, что ничего порядочного мои слабые, сивые мозги никогда из себя не выдавят, и т. д. и т. п. Плохо мне как-то. Я очень серьезно это говорю и чувствую. Вот так, бродяга. Срочно надо мне попасть в Африку, но Лаптев ничего мне не пишет и никаких сведений об этом материке я не имею.

Довлатова твоих рассказов НЕ получала, ты ей их НЕ давал! Она даже на это очень обиделась! Ты, бродяга, наверное сослепу отдал их кому-нибудь другому. Маро Довлатова и „Молодой Ленинград“ такая организация, где можно надеяться напечатать что-нибудь из твоих крамольных, аполитичных, безнравственных, глубоко нам чуждых произведений.

Что значит „в Детгизе вылетели два рассказа!!!“? Вышли из печати или их взяли за шкирку и выкинули из набора? Радоваться или горевать? За договор твой с „Совписом“ очень радуюсь и тебя, мазурика, поздравляю. И все мои родственники тебя поздравляют и за тебя радуются. Хорошие у меня иногда бывают родственники!

Львы мне не снятся, ко мне не приходят. Сидят бедняги в клетках и читают Софронова. Политчас им ввели теперь, а то совсем было морально разложились звери…

Вдруг опять вспомнил сейчас одного своего командира роты. Очень был славный человек. Первый раз пришел знакомиться с ротой и говорит (пьяный, конечно, в сиську): „Чего смотрите? (А мы в строю стоим по стойке смирно и действительно смотрим на него очень внимательно.) Чего смотрите? Если у вас, щенки, острая бдительность, то притупите ее!“ И мы притупили… Черт знает почему вдруг это вспомнилось. От тоски, вероятно.

Пиши, Юра, мне. И пришли что-нибудь свое новенькое, а? Может, мне так завидно станет, что я и сам захочу работать! Стимул мне нужен сейчас. Стимул! Целую тебя, бродяга, в лоб и жму лапу.

Сегодня на секции прозы принимают меня в Союз, и Ричи Достян тоже. А тебя — нет! Ты **не дорос!** Ты серый, никому в нашей стране не нужный щелкопер! Очень мне тебя жалко!

В. К.»

27.12.57. Москва.

«Я, милый друг, тоже ничего не делаю, неохота. За все время только и сделал, что перевел с болгарского рассказ, кот. имеет быть в „Крестьянке“ № 2. Зато я пережил несколько робко-восторженных минут: в меня влюбилась одна особа. Я не очень верю в это по своему застарелому скептицизму и фатализму, однако ж — приятно. Тем более что и я неравнодушен к оной особе. Даже сердце в себе почувствовал вдруг.

А выскочили рассказы в Детгизе у меня в том смысле, что выскочили. Отдали их мне назад, и принял я их в лоно свое с любовью и восторгом. В „Совписе“ тоже, наверно, вылетят штуки три-четыре. И что бы это была за жизнь, если бы не вылетали? Ты можешь представить себе время, когда у тебя решительно все идет? Я не могу. Да и скучно это, верно…

Поздравляю тебя и всех твоих — маму и брата — с Новым годом! Поздравляю также с приемом в ССП, молодец! А пить брось, бери пример с Шима, он небось не тоскует и не пьет. Понял? И я не пью — вчера бросил. Понял?

От тоски лучшее лекарство — охота к перемене мест. Лаптев тебе не пишет, говоришь? Я ему напомню, когда увижу в институте, а ты тоже не стесняйся, напиши, он мог забыть.

За карточки спасибо! Я долго разглядывал Чукотское море, мне почему-то не захотелось вдруг туда попасть. Не забывай меня, пописывай о своих делах.

Боже мой, ты в Питере! Прощай.

Эпигон и декадент Ю. Казаков».

02.08.59. Ленинград.

«Юра, сегодня я не буду принужденно острить. Я прочитал „Трали-вали“.

Это — прекрасный рассказ.

Это — великолепный, пахучий, упругий, плотный, цветистый, свежий, умный, русский рассказ.

Я тебя крепко целую, Юра. Я очень рад и горд за всех нас, за то, что это наш рассказ. Наш, а не каких-нибудь американцев, или немцев, или французов. И он очень умный, и ты, как и всегда, сам не понимаешь, сколько в нем умных штук.

Я его прочитал уже много раз и еще буду читать. И это мне будет помогать писать.

Только, бога ради, дорогой, не зазнавайся! Пускай у тебя никогда не будет гонора и голововращения. Никогда! Я тебя поздравляю.

Единственное мое замечание: женщина менее плотски плотна, чем Егор. И еще (это вытекает из первого): Егор должен иногда бывать более чувственным по отношению к ней. Вот когда они рядом лежат во тьме и он разные вещи вспоминает и думает, я должен почувствовать рядом с ним плотное, соблазнительное женское тело, а ему в этот момент на физическую близость начхать. Он нежности и каких-то уговоров ждет. Но женщину надо прописать по-земляному, чтоб я ее сам захотел. Плохо я излагаю. Сумбурно и противоречиво-непоследовательно. Когда встретимся — поговорим.

Еще раз поздравляю тебя и очень благодарю Панферова и удивляюсь на него. Ведь по этому рассказу опять пальба пойдет изо всех пушек и пулеметов. И Панферову тоже достанется.

Моя мать в восторге от „Трали-вали“ и очень хотела приписать тебе пару строк, но сейчас ее дома нет, а я спешу письмо отправить, т. к. боюсь, что ты из Москвы уедешь.

Нет у меня охоты сейчас о делах говорить, но все равно от них никуда не денешься: у меня нет ни одного экз. своего рассказа о Чехове. Нечего послать Льву Никулину…»

С Никулиным я лично знаком не был. Ему попался рассказ «Две осени», и старый, маститый писатель отозвался хвалебным письмом, в котором только одно было замечание. Никулин просил не идеализировать Лику Мизинову, ибо она «покуривала и любила попивать водочку тайком и даже в вагоне поезда». Учитывать такое замечание я не стал, хотя Никулин родился в 1891 году, долго живал за границей и был автором книги литературных портретов «Чехов. Бунин. Куприн».

В 1963 году он напечатал биографические книги «Федор Шаляпин» и «Тухачевский».

А теперь бултыхнемся в сегодняшний день. «Литературная газета», 27.01.88. Ваксберг в статье о Вышинском:

«В общий хор включились и мастера слова. Меньше всего я хочу из нашего сегодняшнего далека упрекать тех, кто волею судьбы тогда оказался внутри разбушевавшейся стихии. Да, многие (даже честнейшие)

присоединили свои голоса к тем, кто „полностью одобрял“, клеймил и хулил. Но сразу выделяются те, кто с восторгом принял лексику прокурора, торопясь стать первым учеником, выделиться в поиске оскорблений похлестче, лягнуть побольнее, надругаться глумливо над уже мертвым. „Звероподобная мерзость“,— вторил Вышинскому Лев Никулин. О Бухарине — он же: „комедиант“, „юродствующий прохвост“, „трясущаяся бородка“, „дребезжащий тенорок“. Жидко, не впечатляет. Унижает, но не до конца… Приходят слова повесомей: „кривляется“, „выламывается, как провинциальный тенор“ (поистине мастер слова!), „виляет хвостом“, который ему „прищемил государственный обвинитель“. И другие — с Никулиным по соседству, на той же газетной странице: „тифозные вши“, „кровавые обезьяны“.

Зачем я все это сейчас вспоминаю? Чтобы свести запоздалые счеты? Пощекотать нервы? Нет, разумеется, не для этого, а для того, чтобы увидеть истоки тех деформаций, от которых сегодня мы стремимся очиститься».

Повезло Льву Вениаминовичу — умер в 1967-м.

*

Смеляков назвал наш век золотым и постылым.

*

«Возможно, повествование от первого лица рекомендуется именно при самоуглубленности — оно обеспечивает более строгий контроль. Можно ради контроля написать от первого лица, а затем перевести это в форму от третьего лица, дабы удостовериться, что последнее не только маскировка; но тогда остаются фразы, которые выигрывают в объективности только когда они написаны от первого лица; переведенные же, слово за словом, в безобидную форму третьего лица, они производят впечатление трусливости: автор не преодолевает себя, когда пишет от третьего лица, он только увиливает».

Так говорит мудрый Макс Фриш. И дальше:

«Вот что обычно называют нескромностью: сообщения из

личной жизни пишущего, которые читателя не касаются. А на самом деле нескромностью являются сообщения о том, что касается читателя и о чем читатель сам знает, но никогда не говорит вслух».

*

Звонит праправнучка Фаддея Фаддеича Беллинсгаузена. Семидесяти лет. Голос молодой, женственный. Требует встречи — очень непреклонно и с уверенностью в праве на это. «Из-за вашего антарктического Фаддея Фаддеича я много пострадала в тридцать седьмом. Ведь после него мы дворяне стали…» Сын ее подводник, кончал «Дзержинку», сейчас на пенсии. От встречи я почему-то отказался с судорожной поспешностью. И почему бы это адмирал стал «моим»?

*

«Разница между повествовательным „я“ и „я“ в дневнике: последнее труднее полностью узнать, потому что автор слишком многое утаивает, отсюда обвинение: нет образа,— а к образу относится и то, что он утаил, что в данный момент его не интересует, что он вообще не осознает и т. д.»

А дальше Фриш ставит меня в тупик, заявляя: «Для исповедальной литературы (максимальная искренность по отношению к самому себе) повествование от третьего лица более плодотворно».

«Почему знаки разочарования — в противоположность высокомерию, которое может позволить себе любое заголение,— всегда нескромны, например, поздний Жид: он пишет не более нескромно, чем Жид ранний, но в своем разочаровании он кажется нескромнее».

*

Письмо читательницы из провинции:

> «*7.11.87.* Умерла моя бабушка. Жила далеко от нас, была вообще-то человеком не нашей семейки. Меня сильно не жаловала: „Дюже языката!“ В наследство от нее остался один рассказ. Он не должен пропасть. Сама я успешно смиряю зуд творчества литературного. Но

„пепел стучит“, и приходится посылать наследство Вам. Чувствую, что это не совсем тема Конецкого, но личные пристрастия — вещь тяжелая,— не отодвинешь.

Время событий — начало лета 1945 года. Бабке — 38 лет, вдова с 1943 года. Еле дожили до победы, голодали, болели. Сама бабушка в 1944 году высохла до того, что моя шестнадцатилетняя мама носила ее, тридцативосьмилетнюю, на руках. Но постепенно перемоглись, стало к лету лучше. Вы знаете цену этому „лучше“ 1945 года.

К бабушке пришла подруга. Муж подруги только вернулся, привез трофейные тряпки из Германии.

Все голы, надо перешивать на детишек.

У моей бабки была швейная машинка. Ценность, сами понимаете, великая. Уберегли кормилицу. Подруга (за эксплуатацию механизма и в утешение) принесла туалетное трофейное мыло. Тогда бабушка, не откладывая, стирает этим мылом свою в некотором роде единственную рубашку.

Позже она не распространялась на этот предмет. Но, Виктор Викторович, что такое батистовая рубашка, четыре года береженная для мужа? Или, может, даже просто память о их счастье. Они очень любили друг друга. Бабушка сдержанная, властная, с темными глазами и бровями. Дед, по рассказам,— веселый, душа всех компаний.

Итак, рубашка постирана пахучим туалетным мылом — висит во дворе, девчонки — в летней кухне, взрослые бабы поют, кроят, шьют. Тут случается банальное „вдруг“ — стащили с веревки белье.

„Существует трагическое в повседневности, нечто гораздо более печальное глубокое и присущее нашему существованию, чем трагизм великих событий“.

Простите, Виктор Викторович, но эта цитата призвана вдохновить Вас на очень сложное дело. Надо рассказать о Плаче по исчезнувшей рубашке. Это был страшный плач, первый прилюдный плач после гибели мужа, помнимый потом ею долгие годы. Она рассказала о нем только через десятилетия, а была не из тех, кто упивается нарядной печалью. Простая женщина, может быть, и сама не поняла, что заставило выть посередь двора ее дочерей и счастливую подругу. Наверное, весь трагизм великих событий выплеснулся в эту бытовую сценку.

Опасаюсь, что эта смесь косноязычия и велеречивости не вдохновит Вас на выполнение социального заказа. И все же жаль, если письмо затеряется. Казахская ССР, г. Гурьев. *Ольга Артамонова*».

Не потерялось.

*

У эстонского народа есть легенда о том, что души их древних предков всегда уходили только на Север. У эскимосов есть похожая легенда. Когда в зимнем черном небе полыхает полярное сияние, то это в небесах, в зените, возле Полярной звезды веселятся и пляшут веселые пляски души их предков.

Современный ученый и писатель не верит в духов, но относится к легендам, мифам, фантастическим сказаниям очень серьезно.

«Промысловиками китобойной флотилии „Дальний Восток“ добыт абсолютно белый кит. Старший научный сотрудник ТИНРО, молодой ученый В. Латышев, находившийся в этом рейсе на флотилии, рассказал: „Встреча с легендарным китом произошла в Тихом океане. Под вечер на горизонте китобои заметили скопление китов. Среди темно-серых плыл белый кит. Точный выстрел гарпунной пушки — и белая громада на лине. Наконец лебедки втянули на слип белоснежную тушу. Лишь кое-где тело кита кровоточило от присосок огромных кальмаров… На земном шаре животные-альбиносы хотя и встречаются, но довольно редко,— читаю я дальше рассказ молодого научного работника В. Латышева, и сердце мое закипает бессильной ненавистью к нему.— Это белые вороны, воробьи, соболи, камчатские лисицы“».

За этими мертвыми газетными строчками я вижу, как в океан опускается солнце. Низкие лучи золотят зыбь. Волны темно-сини, густы. Над океаном пахнет рыбьей, странной жизнью. Стадо китов провожает светило на ночной покой. Среди стада плывет красавец. Один на десятки тысяч, быть может, последний в мире герой легенд — Белый кит, внук Моби Дика.

Гарпунер идет к пушке, ему убить Белого кита — раз плюнуть: море спокойно, а мерцающую белую цель видно и под водой. Вокруг десятки других китов, целое скопление — перевыполняй план. «Белого! Белого!» — орет Латышев. Хлопает выстрел. Внука Моби Дика надувают воздухом, и вот туша уже на слипе, а на туше стоит Латышев, и со всех сторон щелкают

фотоаппараты.

Зачем Латышев убил Белого кита?

Легенда, миф — аккумулированный опыт наших лучших предков.

Когда Латышев полез фотографироваться на «белоснежную тушу», он топтал ногами своих предков, их фантазию и мужество.

Когда люди еще могли создавать легенды и мифы, они шли на Моби Дика с гарпуном в руках.

Если латышевым хочется убивать белых китов, пускай поедут туда, где и сегодня люди бьют кита с вельбота,— к чукчам и эскимосам Уэлена. Пускай живут там и выслеживают Белого кита, как выслеживал его Ахаф. Тогда я поверю, что Латышев ученый, а не мещанин, что ему необходима какая-то истина, скрытая под белой кожей внука Моби Дика».

Это из моей старой книги «Соленый лед».

Через двадцать лет получил письмо:

«*24.11.84.* Пишет неизвестная Вам женщина — Ильина Людмила Васильевна с тем, чтобы попросить совета и помощи. Я работаю младшим научным сотрудником во ВНИИ охраны природы и заповедного дела МСХ СССР вот уже одиннадцать лет. Пришла сюда работать сразу после окончания университета. Специальность моя — биогеограф. Мне 35 лет, у меня прекрасный муж и двое детей. Сама я москвичка, но обстоятельства сложились так, что последние 4 года мы с семьей живем и работаем в Смоленской области на научном стационаре от нашего института. Мой муж-зоолог и я, вместе ведем одну тему по дичеразведению, занимаемся тетеревиными птицами. Работа очень интересная и нужная, но, к сожалению, тему эту закрывают — считают, что не перспективна, да суть не в этом.

Начальником нашего стационара или НЭБ (научно-экспериментальная база) является Латышев Владимир Михайлович. Вы помните его? Лучше бы мне напомнить Вам о другом каком-нибудь человеке — прекрасном и добром, поблагодарить за то, что прочитали о нем в Ваших рассказах. Но о добром, наверно, не стала бы писать, и это естественно. А тут — зло — и нужно с ним бороться!

Так вот об этом человеке — окопался он тут вот уж 10 лет, на этом месте уютно и спокойно. Бьет теперь не китов, но все же бьет — постоянно, методично,

профессионально.

Стационар „Смоленский“ представляет собой маленький обособленный городок среди леса — 4 домика и хозяйственные постройки. 255 км от Москвы по Минскому шоссе и еще 14 км в сторону, на берегу реки Вязьмы — места красивые — грустная Смоленская сторона. Вот тут и обосновался этот мерзавец, я не боюсь его так называть. Теперь клянусь Вам самым дорогим, что у меня есть,— здоровьем моих детей, что все, что здесь написано,— правда!

Так вот в этом прекрасном месте, под такой вывеской процветает теперь убийца Моби Дика. Может быть, ошибки юности, и не нужно о них вспоминать? Но знаете, мы даже обрадовались, когда прочли о нем в повести „Соленый лед“. Нет, этот тип не изменился, стал даже, наверное, хуже, злее — это все тот же обыватель и страшный стяжатель. Предпочитает добывать дорогую пушнину — лисица, куница, белка, но не брезгует и кротами, причем начинает их бить задолго до открытия охоты (когда у них еще — дети), а осенью рюкзаками тащит калину, давит сок, закатывает в банки и отправляет в Москву на продажу. Все поставлено и отлажено, работа идет дружной семьей, хотя семьи нет — есть крепкий союз двух дельцов. Один добывает, а другая перерабатывает пушнину (шьет шапки и пр.), да еще и травами лекарственными приторговывает — и это кандидат биологических наук — позор! Всего и не опишешь — как мерзко. Страшно, ведь это сотрудники Института охраны природы. Противозаконно, наказуемо, и тем не менее ничего нельзя с ними поделать. Он берет ежегодно две лицензии на отстрел, например, двух куниц и сдает их, как положено, а сколько добывает себе сверху, так этим еще хвастается. Оснащен он современной техникой — и автотранспортом, и снегоходом „Буран“, который имеется на стационаре.

Сотрудники рассказывают, что раньше вокруг стационара было много белок, они очень быстро становились ручными, а теперь белки — редкость, все выбиты, лайка помогает хорошо.

Мне кажется, что самое страшное, что теряешь веру в людей, ведь никто не хочет связываться. Людей сам он боится, живет, как волк, и изворачивается, как хищник. Перед переаттестацией, которую он должен был пройти этой весной, в отделе написали ему отрицательную

характеристику, но он и тут вывернулся — лег в больницу — благо врач знакомая (нужный человек, приезжает летом на стационар, как на дачу, всей семьей), затем Латышев перешел в другой отдел, облил грязью всех, с кем работал раньше. Еще до нашего приезда на стационар в институт приходили письма от местных жителей о браконьерстве. Приезжала комиссия, но так ничего не разобрались. А в настоящее время получается, что только мы выступаем против него, а это удобнее рассматривать как склоку между двумя соседями.

Ребята в отделе хотели писать большой плакат „Долой убийцу Моби Дика!“, но так и не написали… А нам, наверное, придется уехать — тема заканчивается в этом году, соседство просто невозможно, а бороться не получается. Конечно, мы мешаем этим людям, и они все делают для того, чтобы нас на стационаре не было, лучшие методы для этого — ложь.

Виктор Викторович! Посоветуйте, что делать? как бороться?

С уважением Ильина Людмила».

Грешен, отфутболил Людмилу к Василию Михайловичу Пескову в Москву. Ильиным сообщил его телефон и адрес и обещал в новой книге опубликовать их письмо, что нынче и делаю.

*

«Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?» Это Платонов, «Котлован».

*

Письмо столичной читательницы.

«Прочитала „Третий лишний“. Спасибо Вам. Но захотелось сказать Вам „несколько гадостей“. И все из-за женщин. Наташи Ростовой, видите ли, нет. Но ведь и Толстого нет, несмотря на утверждение некоторых, что он заменен Айтматовым. Вы в восторге от Наташи в лиловом (действительно, прекрасно!), а я — от пожилой

служащей телеграфа из „Третьего сына“ Платонова. Но это все ерунда. А вот почему Вам не дают покоя бедные подруги гениев — не возьму в толк. Они хороши уж тем, что гении их любили. Кто ж вам виноват, что вы избираете не Таню Ларину, а Натали. Что же касается „незарастающих троп“ к могилам героинь, то давно сказано всеми великими что-то вроде… что человек так устроен: обрыдается над страданиями Раскольникова и не заметит, что на соседней площадке подыхает Марья Ивановна.

А бедная Софья Андреевна! Правда, Вы пишете, что женщина или возбуждает или уничтожает желание творить. А Толстой сотворил много. Вот и судите исходя из этого. А за Софью Андреевну вот Вам несколько гадостей о Толстом. Закрыли „Отечественные записки“. Рассердился „Сатирический Старец“ и написал: „Где, кроме пошлого и оголтелого Пошехонья, может быть такое явление, чтобы вчерашний день не имел ничего общего с нынешним, никакой связи? А со мной именно так случилось. Я не о том совсем говорю, что литература должна была выразить открыто соболезнование по поводу "Отечественных записок". Я знаю, что это немыслимо и даже материально невозможно. Но ведь могли же, например, Островский, который, неизменно 15 лет сряду, начинал новогодние книжки журнала, или гр. Л. Толстой, который за месяц до закрытия писал мне и журналу похвалы,— могли же они хоть несколькими строками заявить мне — письменно, а непечатно — что понимают нечто. Нет, ни один ни слова“.

„…Таков же и Толстой. Говорит о вселюбви, а у самого 30 т. р. доходу. Живет для показу в каморке и шьет себе сапоги, а в передней — лакей в белом галстуке. Это не я, дескать, а жена. А Михайловскому, Скабичевскому и иным есть нечего. Особливо последнему. Обиднее всего, что ни Тургенев, ни Некрасов ни обола Литературному фонду не оставили, а от Толстого и ждать нечего!“

Ну и что? Рассердился один гений на другого — и написал. Они много и хорошо друг о друге говорили. Может, и ошибался Михаил Евграфович, которого я люблю больше всех. А уж Софье Андреевне сам бог велел ошибаться — она детей рожала.

И как сладкую месть за всех женщин процитирую Вам Островского. Это про Вас. „Он молит меня

неотступно из своего Замоскворечья: покажите, говорит, меня публике; покажите, какой я горький, какой я несчастный! Покажите меня во всем моем безобразии, да скажите им, что я такой же человек, как и они, что у меня сердце доброе, душа теплая. А гибну я оттого, что не знал я счастия семейной жизни, что не нашел за Москвой-рекой женщины, которая любила бы меня так, как я мог любить. Оттого я гибну, что не знал я великого влияния женщины, этой росы небесной“.

Так что на зеркало не пеняйте.

Это все юмор, еще раз искренне благодарю и всего доброго желаю. Не подписываюсь, чтоб не думали, будто набиваюсь в знакомые. А более всего боюсь, что где-нибудь походя обругаете, а я и так чертовски знаменита. Живите долго, пишите, любите».

*

У женщин (по последним научным данным) два речевых центра — по штуке в левом и правом полушариях, а у мужчин (кроме левшей) один.

*

Как сказалась долгожданная эмансипация женщин на исполнении ими народных танцев в народном балете? Отрицательно. Современная эмансипированная женщина, отплясывая казачка, жаждет одного: показать вам свои ножки в сапожках до невозможно высокого уровня. На этом творческие задачи современных народных женщин заканчиваются.

*

Изобретен оболочковый парашют. Принцип его конструкции абсолютно неожидан и нов. Автор — женщина. Объясняется тем, что только женщина и могла выдумать новую ткань и строчку для этого сверхоригинального парашюта.

*

Нервные импульсы или химические сигналы поступают в гипоталамус (область предбугорья промежуточного мозга). Гипоталамус отдает приказ гипофизу. Гипофиз дает указание подчиненным ему периферическим эндокринным железам. Выделяются и спешат к месту назначения нужные гормоны…

«Мудрость старости дороже молодости, если бы только… стоял»,— это сказал П. П. Владимирову Мао Цзэдун.

Ходит меж писателями рассказ о встрече Горького с Толстым, когда Толстой шокировал пролетарского писателя большим количеством нецензурных слов в разговоре. Алексей Максимович сперва даже думал, что граф таким путем хочет как бы сравнять свою вершину с равниной Горького, специально таким путем «опрощается», чтобы облегчить гостю общение с собой; но, естественно, только оскорблял этим Алексея Максимовича. Последний смущался и замыкался, потому что, хотя отлично знал матерную ругань, не любил без серьезной нужды употреблять ее. А Толстой видел, конечно, гостя насквозь и понимал все, что в душе того, но продолжал хулиганить, посмеиваясь не без сарказма.

Они вышли на прогулку, и Толстой спросил: «А чем мы, Алексей Максимович, пишем?» Горький начал отвечать на прямой смысл вопроса. Вспомнил, каким пером писал тогда-то и там-то; каким теперь пишет и т. д. Толстой слушал, посмеиваясь, а потом вдруг ощерился на гостя зло и без всяких шуток, срывая на собеседнике обиду против Природы, назвал предмет, которым мы пишем, из трех букв. Он, таким образом, дал собеседнику пример писательского бесстрашия, когда и полное знание не может повлиять на эстетическое ощущение мира.

Толстой говорил об истоках творческого во вторичных половых признаках. Осознание этого факта злило, но не угнетало гения.

Наоборот, он с еще большей силой искал и находил красоту, даже намеренно окружая себя словами грязными и неприличными.

Виктор Шкловский утверждает, что перед бегством из дому Толстому, как самый сильный манящий зов, мерещилась жарко натопленная изба и простая баба в эротических положениях.

Толстой, как и Гёте, творил все с большей мощью до самой смерти. Толстой, как и Гёте, сохранял половую потенцию и беспрерывный интерес к противоположному полу. Сестра невестки Гёте свидетельствует, что он очень любил, чтобы молодые девушки присутствовали в кабинете во время его работы. Даже в день смерти Гёте воскликнул в бреду: «Посмотрите, какая прелестная женская головка в черных локонах

на черном фоне!» И после еще нескольких более или менее бессвязных фраз испустил последний вздох.

За границей я видел учебник математики, в который типографским способом были вшиты страницы с фотографиями обнаженных женщин.

Усталый мозг студента, проталкиваясь сквозь частокол интегралов, вянет и теряет восприимчивость. И — вдруг!..

А что «вдруг»? А что за вдохновением поэтическим? За чудным мгновением? За гением чистой красоты?

Химия.

В настоящее время установлено, что почти все эмоциональные переживания характеризуются выделением в кровь специальных химических веществ. Некоторые из них являются гормонами — такие, например, как адреналин, кортизон, тироксин…

Образ любимой, возникший в моем воображении, или сама моя любимая, вошедшая в комнату в натуре, есть всего-навсего рубильник, который включает возбуждение определенных участков моего мозга; мозг посылает сигнал железе, она выделяет в кровь определенную химию, эта химия действует в свою очередь на нервные центры мозга, от их возбуждения я ощущаю возможность «свернуть горы» или остановить на полном скаку коня, или одним рывком пишу главу из романа. Но обязательно одним рывком! Ибо все химические вещества, выделяющиеся при эмоциональном возбуждении и определяющие его в норме, быстро разрушаются. Это разрушение происходит потому, что в крови имеются еще специальные средства, каждое из которых призвано разрушать тот или иной гормон, препятствовать его накоплению в опасных для жизни количествах.

Половые гормоны смертью не грозят.

Рассмотрим мужчину.

Когда в мужчине накапливаются половые гормоны, он испытывает отрицательную эмоцию томления по женскому мягкому. Теперь представим себе отсутствие женского мягкого. В таком случае мужчина занимается гимнастикой или на атомном ледоколе бегает вокруг вертолета, стараясь пережечь то, что играет в его крови; уничтожить бес гормонов; подобрать к химии гормонов такой катализатор, который заставит их прореагировать, превратиться в такую химию, которая не будет играть в его крови. Если мужчина не может отделить от себя сперму, он заменяет это отделение отделением от себя продуктов своей деятельности — распиленными дровами или написанной книгой. Нерукотворное творчество он заменяет рукотворным.

Теперь рассмотрим женщину. Томится она или не томится по

мужскому твердому, есть возле нее мужчина или нет, никакой роли это для женского творчества не играет. Ей не надо пилить дрова или писать книгу, чтобы заменить отторжение созревшей яйцеклетки. Яйцеклетка обязательно созреет и покинет женский организм. Женщина, хочет она или нет, но регулярно и неизбежно, нерукотворно творит новую частицу живой материи.

Мужское творчество нерационально в самой основе своих основ. Мужское творчество — это то, что создается сверх утилитарного, сверх необходимого. Мужское творчество это игра, и продукт его — игрушки. Рациональность игрушек в том, что они нерациональны.

Я теперь знаю, почему Хемингуэй написал «За рекой, в тени деревьев». Он прощался с женским. Он продлил в себе идеальное женское воображением художника. Как это грустно, как это грустно… И как невесело видеть приметы начинающегося старчества у себя.

Вероятно, каждый вослед за Хемингуэем должен таким путем попрощаться с женским навеки. Для этого надо собраться с духом и написать рассказ, как в Канаде («Столкновение в проливе Актив-Пасс») наш аварийный капитан в очень тяжелый для него момент встретит присяжную переводчицу — русскую канадку и проснется вместе с ней в номере гостиницы накануне морского суда. И у него будут полные штаны правоверного, советского страха, но суд он выиграет…

*

Из письма поэтической читательницы:

> «Вы правы: разница между мужским и женским пером громадна. Но чувство чести — в силу одинаковости воспитания — не разнится так, как вы себе представляете и как вы об этом заявляете (унижая). А то, что нас, женщин, от вас, мужчин, отличает (лучших от лучших), это наша жертвенность БЕСКОРЫСТНАЯ в Любви и ваша преданность БЕСКОНЕЧНАЯ Делу. И это не губить бы, а беречь надо, как зеницу рода человеческого. Эта разница между нами *взаимопонимаемая* есть основа счастья и духовного богатства человеческого. А мы все „на равных“ — глупо! Примите же всю меня как маленькую и краткую неизбежность…»

Сильно Мариной Ивановной ударена эта моя поэтическая

корреспондентка, но и ума у нее, пожалуй, цветаевская палата.

Часто интересуются, почему у меня нет «про любовь» и «про женщин». Законно. Нормальные мужчины, тем более моряки, хотят читать в романах про любовь и женщин, а я от этого дела ушел уже и не в кусты — в глухую тайгу или дебри Амазонки.

Любовь к женщине…

А если нынче я ее не наблюдаю окрест себя? Быть может, просто мало общаюсь с людьми? Да, встречаются влюбленность, ревность, самоубийство даже на почве ревнивой обиды, по причине наивной попытки удержать любовный объект шантажом самоубийства или из страстного желания отмстить объекту, который ускользнул; отмстить теми нравственными мучениями или житейскими сложностями, которые принесет смерть жены мужу или любовницы любовнику. Есть удачи счастливых совпадений психологического склада, когда глубокая взаимная привязанность переходит в необходимость совместной жизни; привычка…

Но нам ведь подай Джульетту и Ромео…

И мужчины, и женщины, и дети, и старухи, и старики веками правильно и точно определялись в художественных произведениях, включая, видит бог, литературу. Но теперь они все стали иными и в сути и в форме своей. Но когда им говоришь об этом, тем более показываешь их так неприглядно, как они есть, то они считают тебя кривым зеркалом и злым неволшебником, а это обыкновенная правда. Нет тех мужчин, к которым приучили нас великие писатели, художники, композиторы. И нет тех женщин, детей, стариков и старух…

А если сесть наконец за повесть о своем детстве?

Все порядочные писатели облизывали свое детство до посинения.

Но, будь оно проклято, не помню я своего детства!

Мы любим твердить о симпатичности сохранения в человеке детских черт характера и молодости духа до самой старости. Ныне, мне кажется, слишком многие страдают обыкновенным инфантилизмом даже в гробу. Это потому, что за жизнь так и не подключаются к решению глобальных задач века, страны, мира. То есть внешне-то они как угодно могут быть «подключены», но внутренне ощущают свою полную неспособность влиять на главное: сколько ни ори в радиоприемник, сколько ни размахивай руками перед телевизором, сколько ни топчи ногами газету, но накопление в человеке ВЗРОСЛОСТИ И МУДРОСТИ не происходит в результате таких экстремистских действий. Вот и переходят к натуральному терроризму — детишки ведь тоже любят «строчить» языком из автоматов, бить стекла из рогаток и

отрывать головы жукам и мухам.

Если мужчины не способны понять женщину умом, то досаду могут компенсировать, обладая женщиной. Это неплохое утешение, в конце концов!

По-моему, любой мужчина, и не имеющий никакого отношения к писательству или психологии, всю жизнь изучает себя, присматривается к себе, пытается прогнозировать свое поведение в тех или иных ситуациях. И в равной степени изучает противоположный пол, присматривается к нему и пытается прогнозировать поведение женщины в схожих ситуациях. Этот «другой пол» есть вполне таинственная половина человечества, хотя на такую тему положено говорить в юмористической и облегченной интонации. Какой уж тут юмор! Языковой барьер, которым Бог наказал человечество за дерзновенность Вавилонской башни,— мелочь рядом с глухой стеной полового различия.

*

Некогда я встречался с женщиной, которая смертельно обижала меня полным отсутствием заботливости о моем элементарном быте, еде, белье, питье. Я с ней порвал. И только спустя много лет понял, что каждая наша случайная встреча для нее была — сияние солнц, свечей, цветов, то есть ослепительный праздник. Вернее, я понимал это и раньше, но не мог поверить, что праздничность ее состояния при свиданиях и есть единственная причина полнейшего отсутствия какой бы то ни было заботливости или даже обыкновенной бытовой чуткости, на которое я горько сетовал…

*

После выхода четвертого номера журнала «Нева» за 1986 год посыпались письма и в защиту классиков.

> «Уважаемый Виктор Викторович! Заранее признаюсь, что решилась написать Вам в момент крайнего раздражения, после прочтения Вашего произведения, особенно того места, где Вы говорите о творчестве Бунина. Напрасно Вы так далеко замахнулись. Это не по силам, пожалуй, никому из современных писателей, а также и Вам. Бунин — писатель во все времена. Вам,

человеку с добрым именем, публично браться за это, да еще с такой хихикающей интонацией, не пристало. Проза Конецкого, может быть, многим помогает, но только сегодня. Как сказал о ком-то Гоголь: „Это был такой писатель, что, глядишь, он как бы уже и не писатель“. Очевидно, позволяю себе резкости, но, дорогие советские писатели, хватит вам подстраиваться под малокультурного читателя, не отравляйте его и без того плохой вкус. К тому же, Бунину никогда не изменяло чувство меры. И еще. Пишет ли он о войне или нет, уверяю Вас, что самая мирная бунинская проза поможет людям куда больше, чем полутрезвый набат некоторых наших литераторов.

С уважением Елена Федоровна Исаева, Ленинград».

Господи, Елена Федоровна, неужели Вы думаете, что Иван Алексеевич после моих «хихикающих» критик превратится в глазах читателей в какого-нибудь Петра Проскурина?

Не бойтесь Вы так темпераментно за великого Бунина. Описки и ошибки у любого есть. Да и на вкус и цвет…

*

Ученые заметили, что в Древней Руси настолько не терпели никакого обмана, что никогда не создавали литературных произведений с вымышленными именами и воображаемыми событиями. В этом своеобразный, средневековый историзм древней русской литературы. Использование канонов, выражений и цитат — это было уже совершенно другое дело. Положение несколько изменилось лишь в конце XIV–XV веках, тогда только стало возможным появление, наконец, «Задонщины», уже на основе отдельных образов и формул «Слова о полку Игореве».

Будем считать тот лирический беспорядок, который вы здесь наблюдаете и который выражается в авторских метаниях от современности к воспоминаниям о прошлом, знамением моей лирической смятенности и невладением ходом своих мыслей,— в общем, все у меня, как у автора «Слова о полку Игореве».

*

Мичман П. М. Новосильский был в антарктическом плавании

на шлюпе, которым командовал Лазарев, и вел там записки. Он напечатал их с предисловием, заканчивающимся словами: «Если найдутся в этом небольшом труде литературные погрешности, то наперед прошу благосклонного снисхождения, вспомнив известный эпиграф к путешествиям первого нашего кругосветного плавателя: „Les marins écrivent mal, mais avec assez de candeur“ („Моряки пишут плохо, но достаточно искренне“).

Кажется, это высказывание восходит от Крузенштерна к Де Броссе — историку плаваний в Антарктиду.

07.05.81. Ленинград. Я — Казакову.

> «Дорогой Блаженный Юра! Где книга, тюлень небритый? Опять зажал? Стыдно! Спишь с Князем Церкви, впадая в сверхтяжкий грех, а сам обещаний не выполняешь — срам!
>
> Где описание мук и путешествий Николы Угодника?
>
> Я 11 мая уезжаю в Дубулты первый раз в жизни. Там, говорят, небоскреб, бассейн для алкоголиков,— чтобы топиться, не покидая рабочего места, и пр. прелести. Приезжай, а?
>
> Две последние недели мне выдирали последние зубы и ставили коронки, обточив живые зубы алмазными бурами и отбойными молотками. И я две недели ходил по потолкам без всякого напряжения — как нормальная муха. За все это время проглотил десять сырых яиц и десять бутылок коньяка, но я его глотал из носика чайного чайника, засунув носик себе в самую носоглотку, ибо даже прикосновение коньяка к зубам закидывало меня сквозь потолок на чердак. Ослаб и начисто вылетел опять из работы. Сейчас клятвенно обещал себе завязать до дня рождения Пушкина — ты должен, естественно, знать, что родился я с ним в один день.
>
> Я потерял всякое желание печататься — это все я тебе как на духу говорю. То, что деньги кончаются и это означает необходимость опять что-то печатать,— ужасно. И не только процесс редактур и цензур, нет! Но просто мне как-то не хочется показывать опять себя всем желающим в своем нежном исподнем. Если бы не деньги, то я все писал бы для того, чтобы печатали после смерти. Тут, вероятно, связано еще с тем, что я выработал очень искреннюю манеру письма, а с годами потрошить нутро на публику все противнее и тяжелее. Писать же иначе уже никогда не научусь. Да, вероятно, и сама природа

моих способностей наподобие рогов не пускает меня в рай чужих образов.

Письмо, которое ты нашел в старье своего клопиного сундука, пришли мне обязательно. С С. у меня прекрасные отношения. Она уже очень старая и вовсе оглохла. Потому, когда входишь в вестибюль „Ленфильма“, то уже в гардеробе слышишь сиплый женский мат-перемат: это С. на третьем этаже разговаривает с начинающим режиссером или старшим редактором. Но держится она очень мужественно. Обнимаю.

В. К.»

18.05.81. Абрамцево.

«Давеча я забыл тебе сказать, что никакого кинотеатра — ни паршивенького, ни шикарного — на Сивцеве Вражке не было, нет и не будет. И точно так же, как Америка не простила Маяковскому Бруклинского моста через Гудзон, так и тебе Москва не простит этого кинотеатрика. Выбрось его. А если он тебе нужен (расходятся люди после сеанса и т. п.), то перенеси свою комнату в другой район. Ну, а теперь о Николае-чудотворце. Это пишет профессор Лен. дух. академии Н. Д. Успенский, командированный в Италию. Можешь, кстати, связаться с ним, узнать разные подробности, рассказать ему в свою очередь, как ты стоял на том месте, где Магдалина мыла ноги Христу, и он тебе выставит шнапса и икорки из церковных подвалов. Итак, внимай!

„С особым благоговением почитает христианский Восток, в частности Русская Церковь, Святителя Николая Чудотворца. "Отче Николае, аще и Мирская страна молчит, но мир весь, иже тобою просвещенный, мира же благоухание и чудес множествы взывает благохвальными песньми" — так сказано в стихаре на литии, глас 2 на день празднования кончины Святителя (6 декабря 350 года). "Мирская страна молчит…" Некогда город с морской гаванью, Миры ныне представляют собою маленькую турецкую деревню. Промыслу Божию было угодно, чтобы останки Святителя Николая сохранились. Моряки из города Бари привезли их в свой город. (Обрати внимание, Витя, *моряки*!)

В Бари на низком берегу стоял монастырь с

церковью во имя святителя Григория Великого. В эту церковь 9 мая 1087 года, как считают в Бари, и был поставлен саркофаг с останками Святителя Николая Чудотворца.

Через два года была построена крипта (подземная часовня) и папа Урбан II собственноручно положил останки Святителя Николая в приготовленный в крипте глубокий, вытесанный из мрамора саркофаг. В середине XII в. над криптой был построен большой трехнефный храм, так что крипта оказалась под алтарями базилики. < … >

В 1953 году в базилике, простоявшей 866 лет, производились капитальные работы по укреплению ее стен и дна склепа, где находился саркофаг с мощами Святителя Николая. По благословению папы Пия XII, был открыт поднятый из склепа саркофаг Святителя; останки его, которые не открывались с того дня, как положил их в саркофаг папа Урбан II, были тщательно освидетельствованы. На дне саркофага было до 2 см прозрачной жидкости, похожей на воду горного источника. Кости, находившиеся на уровне воды, были извлечены, и вода вылита из саркофага. Поскольку крипта Святителя Николая находится на расстоянии около 200 метров от моря и саркофаг лежит ниже уровня воды, естественным было предположение, что морская вода проникла через трещины в саркофаг. После тщательной просушки саркофаг был исследован, но трещин в нем не оказалось. Поэтому вопрос проникновения воды остается пока не разрешенным. Говорят, что она в небольшом количестве появляется и теперь в гробнице. Ее оттуда достают с помощью особого сифона, и паломники могут приобрести ее в маленьких флакончиках в киоске, прилегающем ко входу в аббатство, что сделал и я.

Тщательное исследование останков показало, что Святитель скончался в возрасте от 70 до 80 лет. Изучение грудной клетки и позвоночника свидетельствует, что он страдал артрозом позвоночника и, возможно, анкилозом. Радиологическое исследование черепа выявило костное уплотнение черепной коробки, весьма обширное и ярко выраженное. Полагают, что это могло быть следствием многолетнего томления в сырых тюрьмах, куда Святитель Николай был заключен в возрасте около 50 лет. Таким образом исследование

останков Святителя подтвердило, что он, как исповедник Христов, перенес те испытания, о которых упоминается в его Житии. Путем изучения строения черепа и рисунка лицевой маски (рисунок приводится) удалось восстановить черты лица Святителя. Интересно, что они оказываются довольно близкими к лику его, изображенному на русских иконах. Очевидно, одухотворенный творческий гений русских иконописцев интуитивно открывал им то, что мы видим в результате современного изучения“. Ну и т. д.

Вот, Витя, начал я еще в марте, а продолжаю в мае, получив твое письмо. Ты небось успел уже нажраться латышской водки и опохмелиться? Очень бы этого мне не хотелось бы! Там в этом вшивом Доме перед столовой бар есть. Этот бар, бывало, все меня сбивал с панталыку. Идешь честно на обед, а тут бар… Но все-таки, Витя, я боролся. Свидетельство тому 140 страниц сценария, то есть хорошей прозы. В целях борьбы с баром я зато охотно посещал пивные. Их две: одна возле станции Дубулты. Другая в Майори. И в той и в другой прелестно. Никакого тебе мата, ни опухших рож, ни пальто, надетых на голое тело,— тихо и благородно, и народу мало. Правда, то было в марте-апреле. Теперь небось в Дубултах полно народу. Не знаю, как ты в смысле еды, разборчив ли? Кормили нас дурно. При таком огромном количестве столующихся, естественно, и воровство было огромное, так что калорий нам не хватало. Времена быстротекущи, поэтому не знаю, как сейчас, а тогда я выходил из положения, покупая сосиски или копчушку и пожирая все это, запершись в номере и запивая чудесным рижским пивом.

Не помню, писал ли я тебе, что купил „Жигули“. Так вот, едва проехав 1000 км, она задумалась и думает до сих пор, и никто мне не может помочь, и я в отчаянии. Представляешь, вернулся я (еще в марте) из поездки по магазинам, остановился перед гаражом, выключил мотор, вынул сумки с продуктами, отнес домой, потом открыл гараж, сел за руль, воткнул ключик, повернул и — ничего. Так она у меня и стоит до сих пор на улице.

Витя, Хемингуэй в романе „Острова в океане“ дает своему Томасу Хадсону на опохмел лекарство, именуемое „Секонал“. Вот бы достать! Запомни на всякий случай это лекарство, вдруг попадется. Вот, дорогой мой, заканчиваю я это письмо и отправляюсь за

молоком на ст. Калистово. А в этом Калистове хмелеводческое хозяйство, и хмель забирает Бадаевский завод, этот же завод и снабжает свежим пивом пивнушку. Так вот, опустивши это письмецо, я заверну в эту пивнушку, понял? Теперь вот что, давай-ка ты из Дубулт едь не в Питер, а в Москву, а потом, не заходя никуда, дуй ко мне в Абрамцево. Поживешь у меня хоть недельку, да и в Москве делишки найдутся. Приезжай, Витя, а то кто знает, когда повидаемся! Я даже, если машину исправлю, и встретить тебя могу. Сейчас я тороплюсь, но через дня два повторю тебе приглашение более подробно. Да! Чуть не забыл — получил я из Новороссийска письмо от одного капитана, в котором он восторгается тобою и дико материт меня за мои ошибки в морской терминологии. Вот я это письмо сыщу и процитирую тебе.

Отдыхай, Витя, дай Бог тебе здоровья. В этом Доме творчества, кроме бара, есть также и медицина и даже стоматология, не пренебрегай медициной, покупайся в ванных и пусть тебе в задницу впилится животворная тонкая сталь! Целую.

Ю. Казаков».

18.01.81. Пропал Коля Данелия. Звонила Люба. Сын оставил записку: «Мама, я уехал в Ленинград молиться богу». Оказывается, он баптист. Мне предстоит поехать в баптистскую общину и попробовать его там найти. Как общину искать? Я на арапа набрал «09», и мне без всяких хлопот дали адрес баптистского молельного дома — это у Поклонной горы.

Морозный солнечный день, у Поклонной мотокросс, детишки катаются на лыжах. Нашел «Молельный дом евангельских христьян-баптистов».

«Любовью вечной возлюблю тебя».

«Хвали, душа моя, Господа…»

Дом набит битком. Обращаются друг к другу: «брат» и «сестра». До начала службы я выслеживал Колю, стоя метрах в двадцати от входа в церковное здание, с которого сняты кресты. Курил. Вдруг подходит какой-то юнец и просит загасить сигарету, ибо братья и сестры не курят и не пьют.

Потом меня провели в ложу для гостей, чтобы я мог видеть прихожан в лица и искать среди них беглеца.

Хор в белых кофтах, чинный дирижер, поют гимн, два солиста высокого класса сменяют друг друга. Поют под гитару. Повторили три раза как бы на бис.

Нет крестов, икон, облачений.

Много белых цветов, микрофоны, кафедра для проповедника.

Мужчины-руководители Молельного дома в обычных темных костюмах с галстуками.

Рядом в ложе для гостей два негра — оказалось, студенты из Лесотехнической академии.

Белые соотечественники очень настырны в обращении в свою веру, через одного лезут с вопросом: «А вы крещеный?»

«Последняя церковь» — последней она называется потому, что она последняя перед вторичным приходом Христа на землю. Она готовит ему прием и молится о скорейшем его приходе. Правда, молодежь, как мне сказали, не очень хочет его прихода и боится его суда, ибо «не дожила до детей и внуков».

Я просидел там до самого конца действа.

«Покаянные молитвы» — это мое собственное определение. Мать привела каяться в каких-то грехах дочь. Дочь, изможденная, испитая, с огромным брюхом, билась об пол на площадочке перед кафедрой. Затем рядом с ней стала биться и мать. После определенного времени биений руководители их успокаивают. «Служка» берет их за руки (гипноз?). Затем все друг друга обнимают и целуются. Разобрать, в чем каялись, невозможно. Под самый конец на авансцену вышла молодая женщина и обняла грешниц за плечи, одета шикарно — в мехах и в коже, перстень на безымянном пальце левой руки. Одарила покаявшихся белыми цветами.

Проповедь о нежности произнес заведующий отделом какого-то научно-исследовательского института, мужчина моего возраста. Он рассказал, как после войны мальчишки, и он в том числе, издевались над слепой учительницей литературы в школе, замазывали ей разноцветной краской черные очки, она называла их голубликами. Затем призвал помолиться богу Нежности, ибо Нежность открывает сердца.

Человек и его воля — ничто. Воля только у Господа, и на нее надо надеяться, а не на себя.

Зачитывались приветствия от московской, молдавской, ташкентской церквей.

Молоденький солдат подал в президиум записку с просьбой помолиться за него: служить ему еще полгода, а он устал.

Все дружно помолились.

Затем помолились за старуху, которую обижают квартирные соседи.

Несколько раз спели Радостный гимн на свои тексты. Запомнилась фраза: «Взялся за плуг — не оборачивайся».

Время от времени один из руководителей призывает:

«Сидящие братья и сестры, уступите место стоящим».

А мне вместо бога думалось о пожаре. Церквушка битком набита, а на окнах за стеклами густые решетки. Не дай бог здесь заполыхает.

На стене широкая живопись: Голгофа и три креста на ней, но кресты без распятых, пустые. В Гимне часто повторяется: «Крест между Небом и Землей».

В конце службы все обмениваются рукопожатиями и целуются. Я был вынужден пожаться с неграми.

Никаких святых у баптистов нет. Есть только одно — «Священное Писание».

Вообще все это баптистское дело пошло из Англии и когда-то было одной из разновидностей протестантства…

Колю не обнаружил.

Сегодня, глядя на «Похищение Европы», понял, что это гениальный эпиграф, ибо мы как раз и похищаем Европу, обманывая ее, старушку, пуская ей пыль в глаза (как Зевс молоденькую царицу). Старый Зевс прикинулся молодым, и сильным, и полным будущего быком. И мы такое внушаем Европе, а той давно хочется, чтобы ее, дуру, похитил молодой бычок. И она в процессе похищения весело и бездумно орет, как попугай в зубах у лисы из детской новеллы: «Поехали с орехами!» А это Фома Фомич Фомичев взял ее вставными челюстями за шкирку, а Елпидифор Пескарев ей в этот момент подлизывает зад.

*

27.05.81. Абрамцево.

«Итак, Витя, я вновь тебя приглашаю — пора, пора нам свидеться. Все условия, живи хоть лето. Подумай: съездим с тобой в Лавру к Сергию, поставим твоей маме большущую свечу или закажем панихиду. Обойдем или объедем окрестности, если ты только не прихватишь какую-нибудь латышку.

Приезжай, Витя!

Ну-с, фильм наш окончен и принят в Госкино на ура. Выйдет он на экраны не скоро, т. к. приурочен к 60-летию СССР, т. е. зимой 82 г. А премьера его в Доме кино будет осенью, т. к. Дом закрывается на лето на ремонт. Но мы с тобой можем сговориться с режиссером и увидим его на Мосфильме — интересно, что скажешь ты, старый кинобандит.

Теперь о том, как ко мне добираться. Если ты поедешь прямо в Москву, то прибудешь, естественно, на Рижский вокзал. Самое лучшее и удобное сговориться тут же на стоянке с таксистом и ехать по Ярославскому шоссе в сторону Загорска. Доедешь до 61-го километра, тут тебе и будет поворот на Хотьково, а в 4 км от Хотькова и Абрамцево. Переедешь речку Ворю, поднимешься в горку (справа от дороги увидишь ограду музея-усадьбы), а как въедешь в горку (слева увидишь кафе и магазин), то прямо перед тобой будет асфальтовая дорога, вот по ней и дуй, через 1,3 км будет наш поселок, железные ворота и кирпич, ну, а тут спросишь 43-ю дачу.

Ты писал, что у тебя срок до 6 июня, жду, значить, я тебя 7-го. Ну, а если не приедешь, то все равно телеграфируй, чтоб я тебя не ждал. Обнимаю тебя, дай Бог тебе хорошо поработать!

Твой Ю. Казаков.

Вот я тебе, как штурману, карту нарисую.

P. S. На такси не так уж дорого — руб. 15–16. А если ты все пропил или жалко тебе станет до сердечных спазм, то я тебя тут выручу».

16.12.64. (Казаков — врио начальницы Иностранной комиссии в те времена.)

«Милая Ирочка!

Как делишки? Помнишь ли ты бедного изгнанника или уже и позабыла? Напиши мне, радость моя, напиши хоть что-нибудь! Напиши, не скучно ли тебе пить коньяк без меня? Не хочется ли тебе почитать свеженьких моих рассказов? А не хочется ли тебе поехать на Гавайские острова?

Я тут погряз — ты думаешь, в распутстве? — нет, радость моя, в романе, в казахском романе. Живу в горах, в доме отдыха ЦК КПК. Горы, снег, яблоки мохнатые от снега, речка шумит в снегу и во льду, как в окопе.

Да, чай, ты знаешь, там у вас толкался Айтматов, я тут с ним жил, тихо, нежно работали, а потом он отбыл в Париж, а я остался.

И Рождественский отбыл в Нью-Йорк, и приемы там, сукин сын, устраивал, и глаза свои заливал джинфисом, и вернулся уже, а я опять остался.

Сейчас бы джинфису попробовать, а? Или какого-

нибудь там мартини…

Как тебе показался Апдайк?

И как тебе показался Сартр?

Вот пусть дадут мне Ноб. премию — фиг я откажусь. Пусть дадут, пусть дадут — слабо им! Я ее голубушку приласкаю.

Зато у меня есть „Почетная грамота“ Верховного Совета Казахской ССР и бархатный халат. И я взял, не поморщился, не отказался. В халате я как турок.

Написал бы я тебе чего-нибудь еще, да нечего. Ничего со мной не происходит. Каждый день казахские главы. Даже сниться стали.

Очень хорошо, что Вознесенского Наровчатов поругал. А то ребят забывать совсем стали. Скучно было.

Ну, кланяйся там всем.

Леночка Зонина-то небось теперь за Сартра не пойдет? Скажи, чтоб не ходила. (Кто-то трепался, будто она за него выходит,— или брехали?)

Будь здорова, радость моя, не утомляйся, береги себя для нас, грешных, ну, а мы тебе воздадим (мне отмщение и т. д.).

Поздравляю тебя с наступающим!

Вознесенского увидишь — кланяйся. И Жене Евтуш. тоже.

Ю. Казаков».

8.10.86. Алма-Ата.

«Многоуважаемый Виктор Викторович! В четвертом номере журнала „Нева“ за этот год напечатано Ваше „повествование в письмах“ „Опять название не придумывается“, где в конце Вы открываете, кроме водки, еще один источник погибели Юрия Павловича Казакова — таланта и его самого: „Казаков торговаться умел, за деньгами гонялся, домище купил, гигантские романы переводил… Я, конечно, не против переводческой работы, но думаю, этот гигантский роман сыграл в его жизни роковую роль“. Речь тут, несомненно, о романе Абдижамила Каримовича Нурпеисова „Кровь и пот“.

Не смогли бы Вы пояснить, в чем именно заключалась „роковая роль“ этого романа для Казакова? Казахстанским коллегам Вашим было бы очень интересно знать, а иным, вроде меня, имеющим к

роману далеко не стороннее отношение, тем более. Дело в том, что Казаков работал с добротным материалом, подготовленным одним из творчески состоятельных литераторов нашего региона русско-казахско-немецкоязычным Герольдом Бельгером. Я, консультируя автора по всей историко-революционной тематике, пристально читал материал всех трех книг еще в рукописи и смею Вам сказать, что это была проза высокой стилистической пробы. Так что Юрий Павлович, трудясь над ее улучшением, по-моему, не очень утомлялся. Не поймите меня превратно. Я никак не хочу умалить его переводческих заслуг. Они бесспорны. Но тем не менее могу сообщить Вам такую небезынтересную для Вас деталь, о которой я узнал лично от французской переводчицы Чингиза Айтматова и Абдижамила Нурпеисова Лили Дени. Третью книгу „Крушение“ она готовила для издательства „Галлимар“ с материала Герольда Бельгера без посредничества Казакова. И названа книга эта в ее французском варианте иначе — „Прах лета“.

В любом случае, Виктор Викторович, поясните нам, казахстанцам, пожалуйста, свое заключение о „роковой роли“. У Вас к тому, видимо, есть какие-то очень веские основания. Скажите нам о них. А если таковых нет, то тоже, пожалуйста, скажите.

Видите ли, лично я не разделяю Вашего мнения, потому что видел Казакова в период его работы над романом, писал о его встречах с нашими литераторами. Юрий Павлович был полон энергии и сил, единственное, на что жаловался, так это на утомляемость зрения. Разумеется, он не пил, находясь под Алма-Атой в горах, только лишь отварную воду, но и не злоупотреблял тогда общениями с „зеленым змием“. Он был активно включен в социальное бытие республики, выступил в „Комсомольской правде“ с умным обзором прозы молодых, часто и охотно встречался с нами, тогда молодыми писателями и журналистами, был желанным гостем среди читателей, и действительно, Почетная грамота Верховного Совета республики, которой его наградили, была для него гордостью, о чем Вы знаете, цитируя его письмо от 7 ноября 1964 года.

Ждем Вашего, Виктор Викторович, ответа с нетерпением. В нем заинтересованы не только писатели, но и ученые нашего Института литературы и искусства

имени М. О. Ауэзова Академии наук Казахской ССР, а также работники ряда печатных органов, поручившие мне обратиться, минуя редакцию журнала „Нева“, непосредственно к Вам.

Искренне Владимиров Владислав Васильевич, писатель, заслуженный работник культуры Казахской ССР, кандидат филологических наук».

7.11.86.

«Писателю, заслуженному работнику культуры Казахской ССР, кандидату филологических наук, представителю: 1) „творчески состоятельных писателей региона“, 2) „ученых Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Академии наук Казахской ССР“, 3) „работников ряда печатных органов“ — товарищу Владимирову В. В.

Глубокоуважаемый Владислав Васильевич!

Вы правы, речь о романе „Кровь и пот“. Но вот только не „кроме водки“ работа над переводом для Ю. П. Казакова была погибельна (по Вашему выражению, „еще один источник гибели“), а **следствием** водки.

Можете представить себе трезвого Чехова, который вместо „Трех сестер“ тратит последние годы оставшейся жизни на перевод, например, „Моби Дика“ Германа Мелвилла, с языка, которого Чехов знать не знает и ведать не ведает? Так что мой друг в этом случае поступил глубоко безнравственно и за это роковым образом поплатился. Он клюнул на огромные гонорары за бесконечные переиздания романа с „историко-революционной тематикой“ — Ваше выражение. (Кстати, сколько Вам было лет, когда Вы „консультировали автора по всей историко-революционной тематике“? И какой Вы кандидат — исторический или филологический?)

Итак, „Я, консультируя автора (Нурпеисова или Бельгера?) по всей историко-революционной тематике, пристально читал материал (?) всех трех книг еще в рукописи и смею Вам сказать, что это была проза

высокой стилистической пробы. (Так „материал“ или „проза“?) Так что Юрий Павлович, трудясь над ее улучшением, по-моему, не очень утомлялся“.

Итак, Казаков „улучшал“ „прозу высокой стилистической пробы“, которую уже произвел на свет божий „один из творчески состоятельных литераторов региона русско-казахско-немецкоязычный Герольд Бельгер“, выдав „добротный материал“. (Немецкий-то тут еще зачем?)

Из сегодняшней (5.11.86) „Литгазеты“: „Подстрочник, как всякий сорняк, оказался на редкость живучим, а обработка подстрочников превратилась в материальное подспорье для некоторой части литераторов… В республиках получил широкое распространение "подстрочникист" — фигура достаточно зловещая“.

Итак, мой друг пил в горах под Алма-Атой не только „отварную“ воду (так выражаются на Руси про „кипяченую“ воду только одесские евреи), но и „был активно включен в социальное бытие республики“, и „выступил в "Комсомольской правде" с умным (!) обзором прозы молодых“, к которым (молодым) и Вы принадлежали. Хорошо, что ученики считают статью умершего учителя „умной“. Хуже то, что эти ученики, будучи „стилистами высокой пробы“, умудряются писать только набором казенно-газетных штампов типа „был активно включен“ или „Почетная грамота Верховного Совета республики, которой его наградили, была для него гордостью“. Вы сами-то, глубокоуважаемый, русский писатель? Надо: „была его гордостью“. А что такое „утомляемость зрения“? Видимо, оно у Вас тоже утомленное, ежели Вы из контекста повести не видите, что Казаков к подобным грамотам относился с откровенной иронией! Хотел бы Вам напомнить о том, что Пушкин умер титулярным советником и плевать хотел на звание камер-юнкера. Потому не делайте из Казакова идиота, который гордится грамотами или даже орденами. Хватит того, что в своем письме сделали идиотом Нурпеисова, когда сообщили, что консультировали бедного недоучку по всем историко-революционным вопросам, а потом его книги доводил до русской „прозы высокой стилистической пробы“ Бельгер, а потом еще переписывал Казаков. Или от моего друга только имя требовалось? Тогда Вашими стараниями

Нурпеисов еще хуже выглядит: „Конечно, и сейчас еще хватает писателей, которых более всего интересует, чтобы их повесть или роман попал в руки "маститого", а лучше всего какого-нибудь писательского начальника — ведь в таком случае перевод получит зеленую улицу, будет опубликован и в журнале, и массовым тиражом в издательстве, не исключено, что и в "Роман-газете"“. Не так ли все и шло? Включая Францию.

Лили Дени я тоже знаю — были у нее в Париже в гостях вместе с Нурпеисовым. И издателя Галлимара знаю. Этот капиталист никогда не стал бы издавать книгу, если бы ее не украшало имя Казакова, которое тогда гремело в Европе.

Еще Вы сообщаете мне, что французская переводчица Чингиза Айтматова и Абдижамила Нурпеисова Лили Дени „третью книгу "Крушение" готовила (?) для издательства "Галлимар" с материала (?) Герольда Бельгера без посредничества (?) Казакова“. И названа книга в ее французском варианте (?) иначе — „Прах лета“. Вот сразу и видно, что нет „посредника“ — Казакова. Неужели Ваше русское ухо не чует чуши в „прахе“ лета, зимы, весны или — в крайнем случае осени? Куда лучше было „Крушение“! И что это Вы все деликатно повторяете странное словечко „материал“? Материал, глубокоуважаемый кандидат филологических наук, для писателя — та самая жизнь, на которой он работает. А в нашем с Вами случае следует говорить так: „Переводила на французский с русского перевода Юрия Казакова роман казахского писателя“. Или: „Переводила на французский с русско-немецкого подстрочника роман казахского писателя…“

А Чингиз Айтматов сюда почему попал? Или Вы думаете, что ежели Дени переводила и того и другого, то они этакие синонимы? Нет. Разные фигуры. И никакие консультанты-владимировы, подстрочникисты-бельгеры, переводчицы-дени и улучшатели-казаковы не сделают из Вашего протеже Нурпеисова Чингиза Айтматова.

Надеюсь, что Вы немедленно напечатаете нашу переписку, чтобы все ученые, писатели, журналисты, работники ряда печатных органов, „поручившие Вам обратиться, минуя редакцию журнала "Нева", непосредственно ко мне“, получили ответ на свой вопрос.

Я-то в свою очередь гарантирую Вам, что Ваше

письмо и мой ответ будут обязательно напечатаны во всесоюзном масштабе. Я люблю жанр переписки.

Искренне Виктор Конецкий».

Наши профессиональные переводчики с языков республик знают историю братских литератур; знают, конечно, и творчество и биографию переводимых писателей, короче говоря, знают все нужное для своей работы; даже язык оригинала иногда знают отменно. Одного они не знают — русского языка и слова «совесть».

О вреде кавычек

Лариса Рейснер:

«Этот, на коне, готовом сорваться с пьедестала, с копытом, бесстрашно занесенным в пустоте, этот, немолодой,— само мужество, пресыщенное почестями и добычей, сама верность, непреклонная, пока на нее опираются с полным доверием,— его нужно послать на Южный фронт, как он есть, и комиссаром к нему назначить осторожного, лукавого, с желтоватым цветом лица и рясой, застегнутой у подбородка, великолепного Макиавелли».

Хорошенькую эту парочку Лариса хочет отправить на решающее направление гражданской — «Все на борьбу с Деникиным!» — лето 19-го.

Ах, какая охота выпороть эту военно-морскую комиссаршу березовой, свеженькой, пахучей розгой со свежими, весенними почечками, с тонким музыкальным свистиком.

Неча бабам лезть в военморки…

«О, совсем иначе выглядит кондотьер, идущий в бой без шлема, со свистом ветра в продолговатых, женственных ушах… Откинутый лоб — это слабость и порок, сентиментальность и меланхолия, при железной челюсти и налитых губах — партизан, без вчера и без завтра, на все способный и ничем не ограниченный. У нас он бы пошел на юг, глубоко в тыл Деникину, на Кавказ или в Туркестан, как прежде за Флоренцию против Пизы, за Ломбардию против Тосканы. И всюду за его дикой конницей, за краденными драгоценностями, прекрасными женщинами» — на сим, без точки, обрывается «Автобиороман» этой замечательной революционерки. Здорово повезло и ей, что умерла вовремя! И что папе с мамой роман не понравился, а потому обогатил и украсил нашу жизнь только в 1982 году.

*

Родилась в Люблине — Польша.

Раскольников знал, кого бросать. Или она его бросила в Афганистане?

Стрельбу по Сергею Колбасьеву вели писатели: Варшавский, Вишневский, Соболев.

Журнал «Залп», 1931, № 2, «Гражданская война в кривом зеркале»:

«Сюжетная беллетристика на Западе обычно служила и

служит империалистическим целям колониального разбоя (вспомним П. Бенуа и прочих многочисленных певцов капиталистической экспансии). Сюжетная беллетристика, построенная советским писателем на материале гражданской войны, должна была бы служить делу интернационального воспитания, классовой ненависти и революционной беспощадности, ибо вне политической целеустремленности не может быть советской сюжетной литературы…»

Это бьют по книге «Поворот все вдруг».

«Мы знаем цену подобным авантюристам и убеждены, что в трудную для Советов минуту перед сейбертами вновь возникнет вопрос, по какую сторону баррикады более целесообразно и выгодно сражаться. Весьма вероятно, что они вновь займутся „перестройкой мировоззрения“ и отойдут к классовому врагу. Это типичные кондотьеры, профессиональные вояки, готовые сражаться за любое дело…»

*

Когда-то вычитал у Тарле, что во времена Свифта знатные английские леди развлекались тем, что ездили смотреть на медленную казнь матросов (по военно-морскому суду), прикручиваемых на отливе к колышкам, вбитым глубоко в песок, и медленно затопляемых приливом. Леди брали с собой ветчину с яичницей и холодной закуской и сидели четыре-пять часов в экипажах, заговаривая с привязанными и подшучивая над ними.

И вот у какого-то крайне заурядного мыслителя средневикторианских времен Тарле нашел возмущение по тому поводу, что Свифт не бичевал в своих произведениях подобных явлений, а был равнодушен к ним. И этим — в свою очередь — возмутился добрый и чистый Тарле.

Сергея Варшавского всего более бесили в книге Колбасьева юмор и ирония, которые поблескивают в описаниях гражданской войны.

Тарле заметил, что средневековым эстетическим представлениям ирония была вовсе чужда, ибо она разрушительна и безыдейна с точки зрения догматического и дидактического способа мышления.

«Мух надо убивать, уничтожать. Но Корней Чуковский воспел эту гадость. Он восхваляет эту муху-цокотуху. Вместо того, чтобы привить ненависть к этому гнусному и отвратительному насекомому…»

Про мух-вредителей я сам читал в «Литературной газете» в

60-х годах.

Борис Лавренев, защищая Колбасьева, маневрировал полными ходами:

«…Я сказал о недостатках и ошибках Колбасьева, и справедливость требует указать на основное и большое достоинство его книги.

В последнее время наша литература утеряла умение строить короткие сюжетные новеллы, идеальными мастерами которых были Мопассан, Киплинг, О'Генри. Колбасьев идет по линии воссоздания этого прекрасного жанра, и идет с успехом. Конструктивная сторона этих новелл имеет высокие качества, и они могут быть не бесполезны с точки зрения формального мастерства для писательского молодняка».

Необходимо признать, что редакция журнала «Залп» к поносной статье Сергея Варшавского дала сноску, где указала на несогласие с «некоторыми недостаточно продуманными формулировками автора». И уже в следующем номере «Залпа» Сергею Колбасьеву была предоставлена площадка для ответа.

Колбасьев отбивался хладнокровно: «Тов. Варшавский отнюдь не показался мне врагом, критика его выглядела почти товарищеской, и если я против чего-либо протестую, так только против ее чрезмерной дальнобойности…

Тов. Варшавский, давайте сбавим прицел на десяток-другой кабельтов и поговорим вплотную. Героев „Поворота“ вы обвиняете в кондотьерстве и авантюризме. Вы не одобряете мотивировок их прихода к красным: неожиданного проявления бывшего патриотизма, заставившего их идти за „неразбазаривающими“ Россию большевиками. Однако, партийное руководство времен гражданской войны на этот счет, по-видимому, придерживалось как раз обратного взгляда. Иначе оно не разрешило бы напечатания в нашей прессе воззвания Брусилова к бывшим офицерам, где он призывал их на борьбу с поляками именно из „патриотических“ соображений защиты России».

Дальше Сергей Адамович закладывает головокружительный вираж, используя высокий партийный авторитет Ларисы:

«А мотивировку внезапного перехода на сторону красных под давлением „некоей профессиональной добросовестности“ использую не только я, сомнительный Колбасьев, но и вполне несомненная Лариса Рейснер („Фронт“):

„…На Межень они прибыли, ненавидя революцию, искренно считая большевиков немецкими шпионами, честно веря каждому слову "Речи" и "Биржевки".

На следующее же утро после прибытия они участвовали в

бою. Сперва сумрачное недоверие, холодная корректность людей, по принуждению вовлеченных в чужое, неправое, ненавистное дело. Но под первыми выстрелами все изменилось. Нельзя делать наполовину, когда от одного слова команды зависит жизнь десятков людей, слепо исполняющих всякое приказание, и жизнь миноносца — этой прекраснейшей боевой машины… Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он будет отвечать огнем на огонь, будет упорно нападать и сопротивляться, блестяще и невозмутимо исполнит свой профессиональный долг. А после этого он уже несвободен. Его связывает с комиссаром, с командой, с красным флагом на мачте — гордость победителя“».

Через четыре месяца после статьи Варшавского и через три месяца после оборонительной статьи Колбасьева палит Леонид Соболев. Статья так и называется «Перенос огня» (журнал «Стройка»). Словарь атакующих совпадает — как и степень ненависти…

*

Довлеет дневи злоба его…

*

Если хромые бегают на призы, тот, кто прибежит первым, все равно останется хромым…

*

«Уважаемая Галина Сергеевна! Очень Вам благодарен за присланную книгу. Прошло много лет с конца 1937 г., и мое очень краткое знакомство с Вашим отцом вспоминается в глубоком тумане. Но понимаю, что для Вас важно все — даже мелочи, постараюсь рассказать. Надо, однако, учитывать, что я сам в период встречи был психологически оглушен.

Ночь. Внутренняя тюрьма с „Большим Домом“. После тяжелого допроса в этом Доме меня привели в другую камеру. Открываются засовы железной двери. Вхожу. Горит тускло лампочка, и я вижу, кто-то лежит на единственной железной кровати. Когда дверь заперли,

человек на постели подымается и садится. Худой, обросший бородой, глаза сверкают… Здороваюсь. Он отвечает: „Здравствуйте… Странно, что вас посадили ко мне… Давно сижу один, и меня даже не вызывают к следователю более трех месяцев. Кто вы такой?“ Объясняю. Оглядываю камеру — примерно 2 шага на 5; одна откидная железная кровать, откидные же — маленький железный лист — столик и сиденье. В углу под решетчатым оконцем унитаз и маленькая раковина умывальника под водопроводным краном. Слышу. „Вы с писательским миром знакомы? Совсем нет? Я — Колбасьев Сергей Адамович. Не слыхали? "Поворот все вдруг"… вам ничего не говорит? Вы устали, садитесь, вон на откидное сиденье!“ Хотя мне в этот момент не до тонкостей культурной жизни, все же бормочу что-то в свое оправдание — чтением художественной литературы давно не занимаюсь… Некогда было… Только техника. Странно, кажется, такой ответ его немного успокаивает. Начинает интересоваться моей особой — давно ли с „воли“, что нового и т. п. Затем: „Вы ложитесь спать на кровать, а я устроюсь на полу“. Категорически отказываюсь, тогда он выбрасывает матрац с постели на пол. „Ложитесь и больше не спорьте!“

Окончательно знакомимся утром. Начинаю из дальнейших расспросов понимать, что соседа пугает, не подсажен ли я к нему следователями с целью „разоблачения“. Окончательно как будто разуверился, когда подверг меня следующей проверке. На ответ, что до работы инженером увлекался и любил классическую литературу, вдруг требовательный вопрос: „Кого больше любите — Пушкина или Лермонтова?“ Я смешался (как всегда в таком случае): „Знаете, Пушкин — это более чем гениально, но, не знаю почему, больше всех люблю Лермонтова“. Реакция была мгновенной. „И Вам не стыдно признаться?“ — „Иногда как-то неловко, но ведь что поделаешь“.— „Ну, так можете успокоиться, и я в этом грешен. Необыкновенно люблю Лермонтова“,— и в глазах этого человека на некоторое время погас лихорадочный блеск.

В тюрьме люди узнают друг друга очень быстро. Детали отпадают, остается только существенное. Рассказ о себе: моряк, участвовал в гражданской войне на стороне Советской власти, был на дипломатической работе, писатель — о жизни моряков, жил в Финляндии.

Здесь заставляют дать показания, что он — шпион. „Конкретных обвинений, конечно, никаких. Признайся, что ты — контрреволюционер! Обидно отдать свою жизнь Советской власти и получить после всего — такое“.

Через несколько часов я узнал, что сосед, несмотря на то, что заперт (кажется, около 7–8 месяцев) в одиночке, знает многое, что делается в тюрьме. С несколькими камерами перестукивается. Умеет перестукиваться идеально: и по тюремной азбуке, и по азбуке Морзе. По азбуке Морзе работает как настоящий радист. Имеет несколько постоянных корреспондентов.

Так как я о современной литературе знал очень мало, то беседы по этим вопросам были невозможны. Но сосед, как оказалось, хорошо разбирается в электротехнике, а радио знает лучше меня — инженера-электрика.

Сосед был в неладах со своими следователями, потому что никаких нелепиц о себе до сих пор не подписал. Поэтому разрешения на пользование книгами не имел. Также был лишен „выписки“: кто поладил со следователем, мог, примерно один раз в месяц, выписать на определенную сумму продукты из тюремной лавки. Гулять на внутренний двор его не выводят. Отрезан. Только три раза в день открывается окошечко в двери — утром подают порцию хлеба и наливают в кружку чаю, в обед наливают „баланду“ и дают порцию каши (большей частью ячневой), на ужин еще „баланда“. Водопроводный кран тут же в камере,— умываться и пить можно тут же. Решетчатое окно вверху задней стены закрыто деревянным „намордником“. У самой задней стены можно увидеть, глядя вверх, кусочек неба, но впереди все закрыто некрашеными досками. И вот семь месяцев — всегда один. Чтобы поддерживать в себе жизнь — ходьба вдоль камеры. Пять шагов вперед, поворот, пять шагов назад. Надо пройти десять километров в день. У соседа система: ходит он — руки сзади, каждый ход туда и обратно отсчитывается загибом одного пальца, загиб всех десяти пальцев отсчитывается укладкой одной маленькой деревянной палочки на столе, отсчет десяти маленьких палочек — укладкой одной палочки побольше. Палочки деревянные — единственный несъедобный предмет, приходящий из внешнего мира: ими скалываются кусочки хлеба в пайке.

Один палец — десять метров, маленькая палочка — сто метров, большая палочка — километр. Иногда в камеру врываются два солдата охраны, и все постороннее, даже палочки, выбрасывается вон. А человек опять копит свое „имущество“. Проходят дни, недели, месяцы, а ты один — все передумано, вспомянуто, одно и то же, одно и то же. Одна и та же обида, потеря надежды… Никогда не бываешь в темноте, свет зажигается рано. Ты всегда под наблюдением, „глазок“ чуть-чуть приоткрыт, и охрана непрерывно обходит „глазки“. Нельзя даже сидя закрыть глаза — спать и лежать от подъема до отбоя "„не положено“.

Можно себе представить, как обрадуешься появлению в камере другого человека. Мы говорили о многом, но прошло 34 года, и я почти все забыл. Конечно, очень жаль. Почему-то запомнилось одно: разоблачение Вашим отцом легенды о приходе на Русь трех братьев норманнов — Рюрика, Синеуса и Трувора. На финском (или на шведском?) языке выражение „синеус и трувор“ обозначает не имена, а обычные слова, кажется — „с чадами и домочадцами“. Рассказывал о книге „Поворот все вдруг“, объяснял смысл оглавления, о котором я теперь прочитал вновь. Читал Лермонтова на память, по-видимому знал его наизусть. И, конечно, говорил о личной жизни. Ваш отец очень сокрушался, что не может передать родным главное — о своей полной невиновности перед Советской властью, перед Россией. Это самое сокровенное желание он высказывал с такой болью, которая была мне родна…

Я пробыл в камере с Вашим отцом не более десяти дней из тех почти трех лет, что я просидел в тюрьме. Меня увели внезапно, не дав проститься, и самого водворили в одиночку. Это было 34 года тому назад. После моего возвращения к жизни (примерно с 1955 г.) я всегда искал книгу „Поворот все вдруг“ и переспрашивал многих, что означает на финском языке „синеус и трувор“. Фамилию отца даже забыл. Но когда услышал фамилию „Колбасьев“, снова встал передо мной тонкий моряк с бородой, горящими глазами, необыкновенно подвижный, повторяющий наизусть Лермонтова. И одиночка. А теперь, перечитывая его рассказы, я переживаю свидание с этим необыкновенно интересным человеком, который встретился мне в столь трагической обстановке давным-давно и оставил о себе живое

воспоминание. И если Вы не видели отца после 1937 г., я чувствую себя вправе передать Вам от него привет и воспоминание. В конце концов от нас всех ничего более не остается.

С сердечным приветом *В. Ярошевич.*
4.11.1971 г.»

Прибывшая с помпой из Парижа в Питер знаменитая пиитесса Одоевцева своим визитерам открытым текстом высказывает подозрение в том, что Николай Степанович Гумилев погиб в результате доноса Колбасьева.

Эта дама серьезно раздражает меня с того самого момента, как ее поселили на Невском проспекте, в доме № 13.

Впадать в старческий маразм — тоже дело ответственное.

Из письма однокашника Колбасьева по корпусу Леонида Кербера (заместитель Туполева): «Немного о традициях. Я поступил в Морской корпус в 17 году, а выбыл в начале 1918-го. Однако за этот небольшой срок (ради уж самой полной правды скажу, что 4 года до этого я был в 1-м корпусе) полностью проникся традициями братства и незыблемой честности. Перечитывая порою лесковский „Кадетский монастырь“ и про купринских кадетов и юнкеров, думаю — вот чего не хватает нашим учебным заведениям. Педагоги обязаны внедрять в умы гражданственность, нравственность, что они, педагоги, блистательно не делают. Один Павлик Морозов чего стоит…

А мы, старые ученики Морского корпуса, и сейчас, независимо от занимаемых должностей и пиетета,— все на „ты“, все равные, а этому молодых не учат.

Хорошо помню, как, попав в „Колымлаг“, застал там Селивачева и Капниста из Морского корпуса и немедленно осознал, что мы остались и там едины и совершенно непригодны для подобострастия и подхалимства, хотя это и приводило часто к карцерам, и вполне могло привести к деревянному бушлату.

Я абсолютно незнаком с Вашими однокашниками, но из того, что Вы пишете, вижу, что и они прониклись теми же традициями и верной дружбой. Опять ради полной правды должен сказать, что сталкивался с современными морскими офицерами, весьма далекими от идеалов. Не хочу развивать эти мысли, боюсь, впаду в ересь».

«О Исакове мне писать нечего — этот человек достоин самого высокого почитания…»

*

В рассказе «Плавучие чудеса» Колбасьев вспоминает о том, на каких гробах плавали и воевали. «Плавучие чудеса» — это дредноут из баржи, крейсер из речного колесного парохода, миноносец из лайбы. «Чтобы их сочинить и построить, нужна была дерзость. Чтобы на них плавать, требовался неунывающий характер. Чтобы с ними победить, был обязателен революционный пафос».

«Мне не просто нравится „сочинить" — „сочинить кораблик" из какой-нибудь лайбы… Для меня это не словесные удачи — небесный знак».

Тихонов в литературной радиопередаче говорил, что Колбасьев в Крыму во время империалистической войны издал книгу Гумилева «Шатер». Цитирую по записи радиопередачи:

«Так вот Колбасьев совсем кустарным способом издал эту книжку. Я не знаю, где он достал грубую бумагу, на которой ее напечатали, а переплет он сделал из синей бумаги, которая шла на упаковку сахарных голов. Эти сахарные головы выдавали на матросский паек. Конечно,— с искренней грустью замечает Николай Семенович,— опечаток в этой книге было до черта».

Тихонов — единственный из писателей, который не отшатнулся от семьи Колбасьева.

Марина Николаевна Чуковская (невестка Корнея Ивановича) вспоминала, как на Моховую приходил Утесов после выступлений со своими «джаз-бандитами», так называли их у Колбасьевых. Приходу музыкантов радовались и гости и хозяева. Симон Каган, «джаз-бандит» — пианист, садился за пианино, и заразительно разносились по комнате ритмы джаза… Помимо «джаз-бандитов» помню в доме Колбасьевых знаменитого в те годы гитариста Джона Данкера. Приходили товарищи Сережи по корпусу — моряки. И, конечно, писатели, друзья Колбасьева. «Лучший писатель среди радистов и лучший радист среди писателей» — так называли Сергея Адамовича друзья. Он так хорошо знал радиотехнику, что умудрился собрать нечто вроде телевизора. Телевизор смотрели в доме на Моховой Корней и Николай Чуковские, Николай Тихонов, Михаил Слонимский, Вениамин Каверин, Борис Лавренев и многие другие писатели…

Эстафета Колбасьева могла быть передана моему поколению курсантов через капитана I ранга Петра Денисовича Грищенко. Правда, в те времена, когда Грищенко преподавал нам военно-морскую тактику, вспоминать Колбасьева он никогда бы не осмелился. Зато в теперешних воспоминаниях пишет: «Какой уважающий себя моряк, окончивший Военно-морское училище имени Фрунзе, не читал „Арсена Люпена"?» И цитирует: «Я помню огромный зал. Обед. Роты строем входят в столы. Сигнал

„на молитву“. Хор восьмисот голосов…» «Произведения Колбасьева мы, курсанты, в тридцатые годы встретили с восторгом. В ротах начались диспуты, читательские конференции. В издательство шли просьбы о дополнительном тираже. Однако некоторые наши наставники узнали себя в живой, остроумной повести бывшего воспитанника, они с раздражением ополчились на молодого автора.

— Эта книжица скоро будет забыта, господа… извиняюсь, товарищи,— говорил нам на лекции по астрономии профессор Пасхин.

— Не увлекайтесь бульварщиной вроде морских рассказов Колбасьева,— вторил Пасхину бывший адмирал Гроссман, преподаватель морского дела (в «Арсене Люпене» он выведен как генерал-майор Леня Грейссер)».

Как удивительно дружно эти «бывшие» смыкали ряды с «настоящими» — имею в виду Леонида Соболева. Неизбывный закон истории!

И неизбывная эстафета всевозможных мелочей, из которых складывается внутренняя жизнь военно-морских учебных заведений: ведь и мы ловчили изо всех способностей в лазарет; и в нашем лазарете была чудачка-медсестра по прозвищу Секунда, которая вечно повторяла, что она «никогда не была красива, но была бесконечно мила»…

И у меня, как и у Борьки Лобача, когда я после окончания училища остался без палаша, «было такое чувство, как будто без штанов». И я по примеру писателя Колбасьева всю жизнь борюсь с этакой гардемаринской, фанфаронской, но чем-то весьма для автора привлекательной показушной лихостью в писаниях. А может, и не надо было бороться? Может, этакой гардемаринской лихости современной литературе и не хватает?

*

«Дорогой Виктор Викторович! Извините, что пишу карандашом, но в условиях плановой экономики стержни, как гриб,— то возникают, то исчезают.

Так вот, если я написал, что все воспитанники Морского корпуса были порядочными,— „плюньте мне в глаза“, как изрек единожды гениальный ашуг Стальский.

О том, что господин Соболев — дрянной представитель рода человеческого, знал давно, но то, что он докатился до писания против Колбасьева,— это уже черт знает что.

„Капитальный ремонт“ — неплохая книга, но в то время, когда даже литературные снетки казались осетрами и автора возвеличили, вознеся на Олимп, он (так обычно поступают недалекие люди) уверовал, что действительно великий писатель и… продался! Дрянь!

Эссе Ваше о Некрасове жду с нетерпением. Для меня лучше им написанного о прошедшей трагической войне не создал никто. А с Виктором Платоновичем мы встречались несколько лет эпизодически и порой с приключениями.

В частности как-то в Киеве, куда приходилось ездить по моей работе, меня удивил способ связи с ним по телефону. Требовалось 2 раза набрать № и оба раза после 2-х гудков класть трубку и только на 3-й он ее брал. Оказалось, элементарно просто, это было уже после того, как члены киевского СП исключили его из своих рядов и местная „Вечёрка“ все обрисовала должным образом. И он сам, и особенно бедная Зинаида Николаевна буквально шарахалась от того, что раздавалось из трубки.

Виктор Платонович говорил, что порой брань произносили и знакомые ему голоса членов СП.

Опять вариант „Растеряевой улицы“.

Так вот, как-то мы (москвичи) прибыли принимать, „процентовать“ какую-то работу. Одного из местных КБ или НИИ. Принимали нас по-купечески провинциально, устроили в гостинице на бульваре Шевченко. Приехавшие со мной были хорошие ребята — инженеры, я спросил их согласие и пригласил ВП в №. Вечером звонок, и встревоженная коридорная впускает ВП в потертом макинтоше и стоптанных башмаках.

„Привет, Кербер-Шишам“,— бодро сказал он, вытащил из кармана 0,5 и краюху хлеба и выставил на стол.

Когда все разошлись, он уже без пафоса и наигрыша сказал: „Не удивляйтесь, живу, боясь, прокормлю ли мать“. Его перестали печатать, и вдобавок к мерзким звонкам материально жил он вовсе скверно.

Не знаю, пришлось ли Вам читать его небольшой, но дерзкий памфлет о встрече и разговоре с „Вождем всех народов“. Это было здорово зло, но правдиво.

Второй случай был еще более злой, но мне не хочется сейчас вспоминать. Слишком трагичен был рассказ автора книги о Сталинграде по сравнению с

действительностью человека, написавшего всю муку сражения у города, носившего прославленное имя, и поведением людей, людей-шавок, набросившихся на него, когда прозвучал призыв „Ату его!“

Позднее Е. М. (моя жена Елизавета Михайловна, переводчик Диккенса, Бальзака и Мопассана) встретилась с Некрасовым в Париже. Она говорила, как этот несчастный человек, продолжая любить Родину, страдал от невозможности приехать домой, прожить неделю-месяц, поговорить с друзьями.

Жму руку, искренне Ваш Л. К. 21.03.88.»

Автор этого письма Леонид Кербер — сын врио командующего Балтфлотом в 1914 году, однокашник Колбасьева, сидел в КОСОС — вместе с Туполевым, Петляковым, Мясищевым, Королевым. Последний часто повторял: «Хлопнут нас всех тут, братцы, без некрологов». «Нашей стране пиротехника не требуется,— говорил ему следователь.— Ракеты — не для покушения ли на вождя?» Это вспоминает Леонид Кербер с неизменным юмором в свои 85 лет. И приглашает на СПГ, что означает 150 граммов.

*

Крупные писатели часто и заметно рисковали в земной жизни земными благами, потому что знали и знают, что у них две жизни. И ради продолжительности второй жизни есть смысл потерпеть в этой. У рядового человека одна жизнь, и потому ему куда как труднее не приспосабливаться и не выгадывать, ибо он обречен на безвестность. А вторая писательская жизнь имеет длительность, прямо пропорциональную количеству смелости и честности в первой,— риск оправдан, хотя далеко не всегда осознан, часто срабатывает интуиция таланта. Правда, многие художественные натуры ненавидят чужие страдания и их носителей, так как не умеют жить в атмосфере чужих страданий. Отсюда эгоистическое стремление к внутреннему и внешнему дезертирству. Или даже агрессивное и лживое отрицание чужих страданий. Особенно у близких.

*

Давненько я собираюсь поговорить или даже заорать на тему

кавычек и словечка «якобы» в нашей художественной прозе да и поэзии, ибо не только словарь писателя, но и форма записи сразу показывает и нутро человека, и глубину его принципов, и количество раба, который его беспокоит или, наоборот, даже не подозревается автором в себе самом.

Кавычки расползаются по нашим текстам, как вши. И борьба с ними, пожалуй, не менее важна, нежели борьба с загрязнением среды обитания.

У моряков есть термин — принудительная трансляция. Это трансляция, которую нельзя выключить,— она тебя в случае нужды и от смертельного сна разбудит. И вот каждый раз, когда я употребляю этот термин, то, открыв уже напечатанную книгу, с привычным удивлением обнаруживаю, что прилагательное «принудительная» оказывается в кавычках. Редактору, видите ли, не по себе становится: не может быть на советском судне ничего принудительного! Хотя слова «принудительная вентиляция» редакторов не беспокоят, вероятно потому, что вентилирование, в отличие от транслирования, совершается без участия человеческой речи.

Или слово «якобы» взять. Я пишу: «Буфетчицу тетю Аню на каждом судне пытались изнасиловать». Из контекста совершенно ясно, что шестидесятилетнюю тетю Аню никто насиловать, естественно, не собирался: это ей самой мерещилось, что на нее покушаются. Кавычки мне, правда, здесь не вставили, но сделали еще хуже: «якобы пытались изнасиловать». Как бы кто не подумал, что на советском судне в загранплаваний коллективно насилуют шестидесятилетних буфетчиц.

Количество кавычек в тексте определяет в обратной пропорции меру гражданственности и гражданского мужества пишущего.

Нынче читал книгу В. А. Шаталова «Трудные дороги в космос». Хочу подчеркнуть, что испытываю к автору глубокую симпатию и даже, правда заочно, но знаком с ним, ибо возле Огненной Земли на теплоходе «Невель» обеспечивал тройной полет «Союзов», командиром которых летал Шаталов.

И вот читаю: «Из частых визитов инспекторов в наш полк у меня создалось впечатление, что должность эта чисто „бюрократического“ плана…». «Он был „последний из могикан“ — из тех, кто пришел в отряд вместе с Гагариным». «Во время зарядки я пробежал свою „норму“ — пять километров». «Мои „вывозные“ полеты ограничиваются выполнением простых упражнений в воздухе, а мои товарищи в полках занимаются настоящей „воздушной акробатикой“». «Кое-кто „входил в раж“ и шел на более серьезное нарушение инструкции». «Как же я

ненавидел всех в тот момент. И Трунова, и „бюрократов“ из отдела кадров, и дефицит инструкторов…»

И так практически в каждой фразе.

Конечно, в данном случае кавычкоманией страдает не профессиональный прозаик, а генерал-лейтенант космонавтики. Но именно потому, что пишет человек от литературы далекий, я и беру его за типичный пример порочно записанного текста.

Итак, он закавычивает: «последний из могикан», «норму» бега, «вывозные» полеты, «воздушную акробатику», «входил в раж», «бюрократов» из отдела кадров. Все эти слова и выражения давно вошли в язык и употребляются в переносном смысле. Но любой перенос смысла автору невыносим, он кажется ему каким-то покушением на устав внутренней службы.

И обойтись без переносного значения трудно, и употребить по-человечески, то есть без кавычек, тоже рука не поднимается. А почему не поднимается? Страх! Он самый, голубчик.

Должность инспектора бюрократического плана? Бюрократы из отдела кадров? Нет, так употребить слова, в полном их смысле, прямо — ни-ни! А что подумает княгиня Марья Алексевна? И вообще как бы чего не вышло… Ежели эти бюрократы возьмут да и вмажут обратно? Лучше при помощи кавычек выведем их за этакие скобки — я не я и лошадь не моя.

Странно, что в последней фразе автор не взял в кавычки и критиканское утверждение о дефиците инструкторов. Надо было и дефицит взять. Что же это получается: в Советской армии вдруг какой-то дефицит!

Ну, а по привычке к форме уклончивости, угрюмой скользкости автора пугает уже и последний из могикан — еще кто запишет в американские индейцы из Колорадо; пугает «входил в раж» — еще кто подумает, что нынешний советский летчик-космонавт способен свершить что бы то ни было оголтя, безудержно, безоглядно,— нет, такое не положено по штату и штампу, нет, мы давно уже не Чкаловы и не Маринеску, мы себя в руках держать умеем. Испуг перед княгиней Марьей Алексевной доходит до такой степени, что после космического полета Шаталов пишет: «Вот какой я сделал для себя вывод, „выйдя сухим из воды"». Он боится, что его приключения в космосе клинические идиоты-читатели могут спутать с морской купелью, а откуда вода в космосе? Нету там воды? Нет! Тогда загоним в кавычки и «выйдя сухим из воды».

«А в заключение разговора я „подвел черту"» — так записывает автор. Даже подведение черты в разговоре с начальником ему кажется чем-то нарушающим субординацию и потому подлежащим заключению в клетку кавычек.

Да, кусаются самые обыкновенные словечки пострашнее космических бездонностей и небесных пришельцев с летающих тарелок.

Я еще почему так именно на космонавта наваливаюсь? А потому, что они же нынче главные герои, олицетворение мужества, пример для молодежи, лицо великой страны. А как до прямого слова доходит, так в кусты.

Ладно, оставим в покое генерал-лейтенанта и взглянем на первых попавшихся под руку профессиональных литераторов.

А. Нурпеисов, статья в «Дружбе народов», первая фраза: «Начал я читать статью Т. Калякина и Е. Сергеева, и „волна протеста“ захлестнула меня». Опять кавычки служат смягчением выражения, от них веет духом смирения и любомудрия, хотя потом казахский писатель весьма грубо обрушивается на критикуемых переводчиков: «Не было еще случая, чтобы даже талантливый переводчик делал из средней вещи шедевр». (Нет, делали. И много раз. Начиная с самого А. Нурпеисова, который вышел на союзную арену через руки Юрия Казакова.)

Беру предисловие остроумного и умного литератора Якова Черкасского к мурманскому изданию С. Колбасьева, читаю: «В силу объективных, а порою субъективных причин имена некоторых писателей оказываются в тени, и все, что связано с их творчеством, зарастает потихоньку пресловутой „травой забвения“».

Почему он берет пресловутую траву в кавычки? Вероятно, боится оскорбить память Колбасьева? Возможно, но это уже не Колбасьева вина, что зарос он травой.

Короче говоря, оказывается, что звонкое выражение «Слово не воробей: вылетит — не поймаешь» опять не соответствует нашей действительности. Можно его поймать, воробья этакого летучего! Можно! Засади его в клетку кавычек — и дело в шляпе!

Смерть в чужой квартире

Итак, Виктор Платонович Некрасов скончался в парижской больнице 3 сентября 1987 года.

*

В октябре я выступал в Ленинградском лектории и рассказал о нашей последней с Некрасовым встрече. Вскоре позвонил один из слушателей, представился детским другом Виктора Платоновича и одним из соавторов его мальчишеского журнала. Я попросил о встрече. Но Александр Борисович Воловик уезжал на побывку в свой родной Киев, и мы перенесли свидание на следующий месяц.

Конечно, сунул нос в единственную сохранившуюся у меня книгу Некрасова «В жизни и письмах». На странице десятой прочитал о еженедельном журнале «Зуав»: «Сотрудников в нем было четыре: я, Валя Цупник, Шура Воловик и еще один Шура по фамилии Фарбер. Руководство коллегиальное».

Сразу вспомнился Фарбер из книги «В окопах Сталинграда» и тот Фарбер, которого в кино играл Смоктуновский, и как этот очкарик Смоктуновский входит в блиндаж, на пороге которого лежит убитый; и как Кеша Смоктуновский очень интеллигентно перекладывает ногу убитого, освобождая проход…

С сотрудником «Зуава» мы после неоднократных перезваниваний договорились встретиться 25 ноября у меня дома в 14.00.

Александр Борисович опоздал на тридцать пять минут. Я уж было думал, он не придет, испугается сильного гололеда: была тоскливая ноябрьская ленинградская оттепель.

Первой фразой Воловика было:

— Простите, не буду снимать обувь,— ботинки новые, тесные.

Такие мелочи меня не беспокоят. А настроение у Александра Борисовича было хорошее, шутливое, даже озорное. Объяснил, что удрал из-под каблука супруги, ибо через четыре дня у него день рождения и дома полным ходом идут приготовления.

Главное, что бросилось в глаза,— это полнейшая внешняя непохожесть детского дружка Некрасова на самого Виктора Платоновича. Гость был мужчина чуть ниже среднего роста, плотной комплекции, со значком ветерана-строителя на лацкане пиджака.

Я предложил чай-кофе, но гость от всего отказался и в прямом смысле слова набросился с расспросами о Некрасове. Мне же уже давно надоело вспоминать для бессчетного количества слушателей о наших парижских встречах — тем более предстояло о них писать, а каждый пишущий знает, как опасно забалтывать будущую писанину.

Александр Борисович принес с собой старомодный пухлый портфель с тремя отделениями. И выложил на столик бесценные сокровища: это были самые первые номера «Зуава», о которых мечтал незадолго до смерти Некрасов; были ксерокопии других номеров их журнала, присланные Воловику Некрасовым из Парижа; были письма еще доэмигрантских времен и переписка самых последних месяцев; были фото разных годов. Короче говоря, глаза разбегались.

Но в первую очередь следовало расспросить гостя о нем самом, его военном прошлом и выудить какие-нибудь детали из совместного с Некрасовым детства. Однако Александр Борисович о себе рассказывать категорически не хотел, от самотемы увиливал гениально. Зато очень художественно рассказал, как выполнил предсмертную просьбу Виктора Платоновича и навестил могилу его матери на Байковом кладбище в Киеве. Найти могилу было трудно, ибо для этого следовало сперва найти какую-то киевскую письменницу, а застать ее дома никак не удавалось.

Затем он собственноручно нарисовал план могил — сделав это с инженерной четкостью,— оказался строителем мостов.

Бабушка — Мотовилова Алина Антоновна — родилась 7. 05. 1857 г., умерла 27. 03. 1943 г.

Тетя Соня — София Николаевна Некрасова умерла 28. 02. 1966 г.

Мама — Некрасова Зинаида Николаевна умерла 7. 10. 1970 г.

Все трое похоронены на Байковом кладбище в Киеве. На могиле бабушки — белый мраморный крест, на могилах Софии Николаевны и Зинаиды Николаевны — дерновые холмики. После смерти В. П. Некрасова на могилу его матери несколько дней киевляне приносили цветы.

Александр Борисович посетил могилы седьмого октября 1987 года — случайно вышло так, что он пришел к Зинаиде Николаевне в день годовщины ее смерти. Этот факт на Александра Борисовича очень большое произвел впечатление.

Практически, кроме кладбищенского рассказа и того, что Александр Борисович проработал в одном институте ровно пятьдесят лет, я от него ничего и не успел узнать.

Возможно, здесь сыграло роль то, что, как много раз уже

объяснял, я не умею расспрашивать людей о них самих. И когда почувствовал под пиджаком Александра Борисовича пуленепробиваемый жилет, то отказался от всяких попыток.

Решили почитать письма Виктора Платоновича.

Здесь Воловик объяснил, что их переписка возникла всего год тому назад, ибо Некрасов, очевидно боясь принести неприятности своему дружку, упорно не сообщал ему свой парижский адрес. И узнал Александр Борисович адрес окольным путем, и сразу отписал.

12.12.86.

«Шура, Шурка, дорогой мой Воловичок! Вот уж не ждал! Вот обрадовал! Вынул из ящика конверт, вижу, что из Союза, решил, что от моих ленинградских „девушек“, и сунул в карман. Вечером, сидя в кафе за кружечкой пива, обнаружил его в этом самом кармане и… Ну, дальше сам можешь догадаться…

Значит, жив-здоров, естественно, на пенсии (а я-то, грешным делом, думал, что перебрасываешь по-прежнему мосты через Неву и всякие там Иртыши…), да к тому же встречаешься и с Капами, Лельками, Борьками и прочими… Этому завидую! Всем им привет, новогодние пожелания и… мой адрес. А Аня и Саша? Что, где и как они?

Я тоже, перешагнув некий юбилейный срок, жив-здоров, хотя не ношу очки, а во рту что-то искусственное. В отличие от тебя не пенсионер, вкалываю, что-то пишу, произношу, а в свободное время летаю вокруг земного шара. Япония, Австралия, Бразилия, естественно, США, включая Гавайи. Прилагается фотография, кстати, изображает меня в Токио. С еще большим удовольствием посетил бы ваш Питер или наш многострадальный Киев… Впрочем, судя по фотографиям и альбомам (а у меня их много), лучше и краше от всяких архитектурных и скульптурных излишеств он не стал…

Тронут твоим желанием посетить мамину могилку на Байковом кладбище. Но так ты ее не найдешь. Позвони в Киеве по телефону, там одна письменница проживает, она охотно будет твоим гидом.

За сим, дорогой мой Шура, объятия и поцелуи тебе и Гизе! Хотя у тебя и много всяких дел, пиши.

Вика».

21.01.87 (получено *2.02.87*).

> «Дорогой Шура! Посылаю тебе фотокопии нашего с тобой „Зуава“. (Куда делись „Ночные разбойники“ — ума не приложу). Сделал и цветные фотографии, но проявлять отдам, когда закончится пленка. Тоже пришлю. Всё же раритет… Если тебе удастся сделать нечто подобное с твоими номерами — радости моей не будет конца. Будете у Борьки — самый горячий ему привет. Пусть и он раскачается и черкнет несколько слов. Ведь нам вместе вроде уже крепко за двести!!!
>
> А не загадываешь ли ты в период нынешних перестроек, демократизаций и либерализации — сигануть не только на Кавказ, а допустим, в славный наш город Париж, который действительно стоит обедни. Я, во всяком случае, хотя, в противоположность внуку, и не офранцузился, но парижанином стал. Знаю и люблю этот городишко…
>
> О получении „Зуава“ сразу же напиши. Твое письмо шло 5 дней — с 27.01. по 2.02. Прогресс!..»

На этом интересном месте раздался междугородный телефонный звонок. Звонила из Москвы Кацева — переводчица Кафки, Бёлля и Макса Фриша, с последним она познакомила меня в Ленинграде прошлой зимой. С Евгенией Александровной Кацевой мы придумали некую игру. В войну она была в морской пехоте в звании старшины II статьи. И когда звонит, представляется по всей форме: «Капитан, разрешите обратиться? Докладывает старшина второй статьи! Разрешите продолжать?..»

Звонила Евгения Александровна, ибо только что получила письмо от Фриша из Цюриха. Максу не работалось, он хандрил, пил свою швейцарскую водку, мечтал скорее приехать в Союз.

— Вы помните, что для Фриша значит, когда его покидает работа? Ну, из «Первого дневника»?

Я, конечно, не помнил, хотя Фриш мне чрезвычайно, даже до некоторого суеверного страха близок, иногда даже текстуальными совпадениями в своих вечно фрагментарных рассуждениях.

— Работа,— объяснила Женя,— это единственное, что избавляет Макса от ужаса, когда он внезапно, беззащитный в своей нейтральной Швейцарии, просыпается среди ночи или ранним утром. Сразу же посмотрите сто тридцатую страницу «Листков из вещевого мешка».

— Сейчас посмотрю,— сказал я.— А пока угадайте, кто сидит у меня в гостях?

Я знал, что Евгения Александровна была в приятельских отношениях с Некрасовым и никогда не пыталась забыть его, ибо нельзя работать над Бёллем или Фришем, не держа в уме, в воображении прозу Некрасова. И я знал, что старшина II статьи обрадуется, узнав, что у меня в гостях сидит жив-живехонек друг Виктора Платоновича. А передо мной на столе детские журналы Вики, фотографии, письма к Воловику.

Ну, она, конечно: «Ох и ах!» Затем рассказала о неизвестном мне факте. Оказывается, за двое суток до смерти Некрасову прочитали заключительные строки из выступления Вячеслава Кондратьева в «Московских новостях», где Кондратьев заявил на весь мир, что «Окопы» остаются нашей лучшей книгой о войне. И Некрасов — он был еще в сознании — просил дважды перечитать ему эти строки. Так что умер, зная, что Родина его помнит. Евгения Александровна попросила меня пересказать этот факт Александру Борисовичу, подчеркнув, что это не легенда, что знает она об этом из первоисточника.

Я, конечно, передал. Правда, ни о Бёлле, ни о Фрише Александр Борисович слыхом не слыхивал: технарь-строитель мостов через всякие разные знаменитые реки, но без знакомства с мировой литературой. А я-то сразу сунул ему «Листки из вещевого мешка», дабы похвастаться автографом Фриша, где он желает мне счастья на море, за письменным столом и повсюду. Но никакого впечатления на моего гостя автограф знаменитого прозаика не произвел, хотя в письме Некрасова, которое открытым лежало на столике между нами, Виктор Платонович отмечает, что в детстве Воловик подавал блестящие беллетристические надежды: «Помнишь твою захватывающую „Тайну бандитов“, которая заканчивается, на мой взгляд, динамично: „"Геркулес" догнал "Баторию" и всадил ей в борт стальной таран, находившийся на носу корабля (продолжение следует)“. Как видишь, ты, Шурка, определенно подавал надежды, — пишет Некрасов.— Но где же продолжение „Бандитской тайны“?

Присланные тобою фото возвращаю».

— Эти фото я ему посылал,— объяснял Александр Борисович. — В начале июня. Наши фото конца шестидесятых. А он вот вернул: оказывается, они у него есть. Ему, знаете, разрешили все-все с собой вывезти — удивительно… Простите, мне что-то дышать трудно. Я встану, пожалуй…

Он встал со стула, я продолжал читать очередное письмо Некрасова вслух:

— «Середина июня, а ходим все в кожаных куртках. Дожди. Говно. На юг не поехал. Пляжа нет. А что без пляжа там делать?

Как там у вас теперь с водкой? Говорят, легче стало. Впрочем, я сим сейчас не интересуюсь…»

— Странное состояние,— прервал меня Александр Борисович.— Никогда такого не было. Дышать трудно, и чуть голова кружится.

Он сказал это со спокойным удивлением.

Чего особенного? Разволновался человек от воспоминаний.

Я открыл форточку. На улице было около нуля, из форточки потянуло ленинградской стылой сыростью.

— Гололед,— сказал Александр Борисович.— Ужасный гололед. И курю много. Вот и дышится…

За время нашей встречи он выкурил две полсигареты через мундштук.

— Виктор Платонович смолил почище вас,— сказал я.

— Гололед,— повторил Александр Борисович.— От метро пешком шел, и еще лифт у вас барахлит. Пешком поднимался…

Этот лифт угробил и мою мать, и еще трех пожилых людей на площадке, и я со своим инфарктом пешочком с шестого этажа шлепал в реанимацию: не дашь же санитаркам тащить себя на носилках через шесть пролетов…

— Как у вас сердце? — спросил я. Его лицо начинало мне не нравиться.

— Никаких плохих ощущений.

— А раньше что было с сердечком?

— Нет. И на пенсии недавно — четыре года как бездельничаю.

Я все-таки усадил его обратно на стул и посчитал пульс. Рука у Александра Борисовича была полная, но плотная, пульс я нашел без особого труда. Он показался мне нитевидным, хотя я толком не знаю, что за таким словом стоит. Удары считал по часам — тридцать секунд — сорок пульсаций.

— Оно у вас работает, как у космонавта,— сказал я, зная, как важны подобные комплименты, когда человеку становится плоховато.

— Да, это не сердце,— сказал он.— Дышать трудно. Странное ощущение…

— Идемте-ка в кухню. Посидите у дверей на балкон. Я балкон на зиму еще не забаррикадировал.

Мы пошли на кухню. Поддерживать себя за локоть Александр Борисович не дал и за стенку не придерживался, хотя шел неуверенно. Я открыл балконную дверь и посадил его перед ней на стул. Одной рукой он оперся на стол, но сидел прямо. А в меня потихоньку стал заползать страх: цвет лица не нравился. Я накапал кордиамин, валерианы и дал ему. Он выпил очень

послушно. Это тоже не понравилось. Мужики часто отмахиваются от всяких разных капель.

— Нашатырь хотите?

— Не знаю, странно это… Вызовите такси, пожалуйста. Домой поеду.

До такси дозвонился быстро, но пообещали только в течение двух часов: «Не занимайте телефон — позвонят в любую минуту».

Какая сволочь, гнида и падла выдумали эти «два часа»? Какая гнусность вокруг! Вот вам: десять лет не работает на шестой этаж лифт… И — бейся башкой о стену, ори, задыхайся от бессильной ненависти…— называется мелочи жизни. И смерти — добавлю не ради красного словца.

— Попробуемте-ка лечь,— сказал я.— Здесь простудитесь.

Балкон был засыпан снегом, сильно сквозило сырым холодом.

— Вам ни капельки не лучше?

— Нет.

Я дал ему понюхать нашатырь. Довольно настойчиво это сделал.

— Дошло?

— Да, спасибо.

Я повел его назад в комнату. Но мою поддерживающую руку он вытерпел только пока я помогал ему встать со стула, затем пошел самостоятельно. У дивана сказал:

— Ботинки новые. Вы уж простите, сидят туго, снимать не буду.

Когда лег:

— Лежать хуже.

И попытался сесть. Я снял с него галстук и расстегнул ворот рубашки.

— Все-таки сердце болит или нет?

— Нет.

Вот положение: вызывать «неотложку» — придется говорить при нем, а он в полном сознании. Услышит — добавочная психическая нагрузка: 1) значит, с ним очень плохо, 2) он в чужом доме — неприятности незнакомому хозяину, 3) увезут в больницу, а жена?..

Но он мне слишком уже не нравился. Главное — никакого улучшения самочувствия и плохой цвет лица. Однако никаких жалоб на сердце и никакого заметного страха, а страх при всяком сердечном приступе сильно обостряется. Даже руку к сердцу и вообще к груди не тянет.

Шла двадцатая минута. Надо было решаться.

— Я вызываю «неотложную»,— сказал я.

Он послушно промолчал. И это тоже было плохо.

«03» ответила сразу, но минут десять-пятнадцать расспрашивали обо мне, моем больном и чем он раньше болел с детства. А я пятнадцать минут объяснял, что первый раз человека вижу, что ему семьдесят семь лет и ему очень странно плохо. Наконец пообещали.

Тут только я сообразил, что еще нет 17-ти часов и внизу работает литфондовская поликлиника. Набрал регистратуру и попросил послать ко мне терапевта — бегом, ибо у меня стало плохо гостю, которому под восемьдесят лет.

— Сердце?

— На сердце он не жалуется.

— Сейчас скажу.

Александр Борисович про такси и дом напоминать перестал, мои разговоры выслушивал равнодушно. И это испугало уже до трясуна в руках. Я подсел к нему и гладил по колену, повторяя: «Сейчас будет доктор, сейчас будет доктор…»

— А лежать все-таки хуже,— сказал он довольно отчетливо. Но дыхание делалось хриплым.

Я стащил с него пиджак со знаком ветерана-строителя на лацкане. Врача не было. Так прошло пять минут. Я опять набрал номер нашей поликлиники.

— У терапевта пациент,— сказали из регистратуры. Тут я выругался по-некрасовски: «Пускай бросит все и бегом сюда! И сестру со шприцем!» И бросил трубку.

Полное бессилие. Говорить Александр Борисович перестал, но глаза были открыты. Взгляд спокойный и успокаивающий меня. Дыхание со все более заметным хрипом в конце выдоха. Цвет лица землистый, и губы начинают бледнеть. И проклятый лифт не работает. Но врачи-то об этом не знают. Если попробуют в него забраться, то застрянут.

И каждую минуту я бросал Александра Борисовича одного на диване и бежал на балкон, смотрел вниз во двор, затем бежал на лестничную площадку и орал в гулкую пустоту узкого пролета: «Лифт не работает! Сюда! Сюда, выше!»

Затем возвращался к Александру Борисовичу.

— Стран-н-о-е со-с-то-я-ни-е… Никогда так… Никогда так…

Наконец вбежала Гита Яковлевна — наша врачиха. Я сидел на диване у изголовья Александра Борисовича и гладил ему лоб. Глаза он закрыл.

— Все,— сказала Гита Яковлевна прямо с порога.

— Что «все»?

— Все, Виктор Викторович.

Вошла еще одна женщина в халате — я принял ее за сестру из поликлиники,— стала обламывать ампулы. Гита велела вызвать

реанимационную бригаду:

— Дозвонитесь, а говорить я буду сама. Но все это пустое.

— А массаж? И прочие ваши штуки? Минуту назад он разговаривал.

— А я вам говорю: «Все!»

Я набрал «03» и передал ей трубку.

— Суньте ему нитроглицерин, есть у вас? — сказала Гита и властно распорядилась по телефону о реанимационной бригаде.

Зубы у Александра Борисовича были сжаты. Я сунул ему по одной таблетке под нижнюю и верхнюю губу.

Незнакомая женщина, которая оказалась врачом «неотложной помощи», накладывала жгут для укола, руки у нее тряслись.

— Кто у него родственники? — спросила Гита.

— Понятия не имею. Это детский друг Виктора Некрасова. Я вижу его первый раз в жизни.

— И последний,— сказала Гита.— Бедный вы, бедный, примите сами сердечное.

Через сколько времени приехали реаниматоры, я не засек. Он и она. В один голос спросили:

— Зачем нас вызвали, если тут все ясно?

— Для порядка,— хладнокровно сказала Гита.

— Кто он?

— Лучше познакомьтесь с хозяином квартиры,— сказала Гита.— А покойный — друг Виктора Некрасова, только вы про такого никогда не слышали.

— Нет, слышала,— сказала молодая женщина-реаниматор.— Некрасов был хороший писатель, хотя я его ничего не читала.

— Тогда простите,— сказала Гита.

*

Ну, что ж, Виктор Платонович, как видишь, тебя здесь знают и молодые, хотя и не читали ни одной твоей строки.

*

Реаниматоры уехали, дав мне успокаивающий коктейль; ушла в поликлинику продолжать прием Гита. Со мной и Александром Борисовичем осталась врач из «неотложки». Ее звали Мариной. Она вызвала милицию и принялась оформлять бумаги.

Александр Борисович лежал на диване — спокойный, с закрытыми глазами, челюсть стала отвисать. Я потрогал его руку.

Тело едва заметно, но уже остывало.

— Надо бы подвязать,— сказал я врачихе.— И я, пожалуй, накрою его.

— Нельзя. До приезда милиции ничего нельзя трогать. Отсядьте. Какие у него документы?

Я обыскал пиджак. В бумажнике был паспорт и много разных удостоверений, включая участника Великой Отечественной войны. Была еще записная книжка и… нитроглицерин.

— От чего он умер?

— Острая сердечная недостаточность. Какие у вас красивые картинки висят. И вообще у вас очень уютно,— сказала врачиха.

Хорошенький уют, когда на твоем спальном месте лежит человек, который еще какие-то тридцать минут назад с тобой разговаривал о друге детства, эмигранте Вике Некрасове и подарил тебе фотографию, где оба они молодые, тридцатилетние наверное, сидят рядком и по какому-то поводу неистово хохочут.

Надписать фотографию Александр Борисович не успел. Это пришлось сделать мне: «А. Б. Воловик хотел подписать мне эту фотографию. Это было за 40 минут до его кончины. Пришел в 14.30 25-го ноября 87 г. Умер в 17.00. (Хотел оставить мне „Зуавов“ и „Маяк“.) *В. К.*»

— Ох, писанины сколько… И вообще-то много, а случаи «смерть в чужой квартире» — особенно,— посетовала Марина.

Я закрыл форточку и сел читать «Зуава». Скажете: бесчувственный?

А я и сам не знаю, что со мной в данном случае было. Я не чувствовал рядом покойника. У меня даже малейшего страха или нежелания смотреть в лицо Александра Борисовича не было. Только как-то привычно и заученно мелькала и мелькала мысль о той неимоверно тонкой, прозрачной пленке, которая отделяет живое от неживого.

Впервые эта мысль с абсолютной ясностью пришла в реанимационном отделении больницы имени Ленина. В сущности, два этих состояния в каждом из нас сосуществуют с самого рождения. И болеть не надо. Выпал из колыбельки, стукнулся мягким еще мозжечком — и все, мат, аут. Или пуля-дура. Или кирпич с карниза охраняемого государством памятника…

Самым тягостным, даже ужасным было представить себе родственников: как, кому, когда сообщать о случившемся? А вдруг жена сама сердечница? И жахнуть ей такое по телефону? Ушел человек, улизнул под благовидным предлогом от домашних предъюбилейных забот и хлопот и…

Так вот, чтобы не мучиться этими пока неразрешимыми

проблемами, я и отвлекал себя чтением «Зуава» № 1. А в нем сочинение двенадцатилетнего киевского школьника Шурки Воловика «Приключения и путешествия Фрикэ Мегира́»:

> «На большой пассажирской пристани большого французского города Бордо топталась масса народу, около большого корабля. Корабль был трехмачтовый голет под названием „Республика“, который должен был сейчас выйти в море по направлению к Южной Америке. На палубу голета взошел один мальчик, с двумя мужчинами. Фрикэ Мегире́, так звали мальчика, был француз из Парижа, который страшно любил. Другой был его дядя Андрэ Варон из Орлеана. Он был военный инженер. Третий был провансалец, старый морской волк Пьер де Гал, колоссального роста и сильный, как бык. Корабль отчалил, и мои путешественники послали последнее прости родному городу. Фрикэ уже не в первый раз плавал по морю и поэтому очень любил море.
>
> Он целыми днями стоял у борта и смотрел на волны, которые поднимались и с шумом падали вниз. Через несколько времени они пристали к островам Зеленого Мыса. Там с Фрикэ случилось маленькое происшествие. Он решил полезть на мачту, чтобы оттуда осмотреть окрестности. В одну минуту он влез на мачту, хотел схватить флюгер, как вдруг мачта под ним подломилась, и полетел стремглав вниз. Он бы наверно разбился о палубу, если бы не боцман Жан Белючи [2], схвативший его. Из-за сильного размаха он потерял сознание. Андрэ и Пьер очень испугались за рассудок Фрикэ.
>
> Но Фрикэ, который был очень здоровый, через 1/4 часа уже гулял по палубе.
>
> Постояв немного у берега, они поплыли к мысу Горн, который, как известно, находится на Огненной Земле. Во время этого путешествия ничего особенного не произошло. Там, в городе Утувия в Чили они высадились. Капитан попрощался с Фрикэ, Андрэ, Пьером и Белюшем, который не хотел расстаться с Фрикэ, которому спас жизнь. Жан Белюш был бретонец и был отважный мореплаватель. Через несколько дней они переехали Магелланов пролив и очутились в Аргентине. Они в дилижансе ехали в Пампасах и высадились в городе Патагонесе и пешком отправились к реке Колорадо, у которой и остановились и раскинули палатку. Оставив на хозяйство Пьера, Фрикэ, Белюш и

Андрэ пошли на охоту. Долго они шли между высокой травой, как вдруг услышали рев, и откуда ни возьмись на них прыгнул громадный ягуар-людоед. Фрикэ не растерялся и выстрелил в ягуара, но промахнулся, и ягуар, еще больше освирепевший, кинулся на Фрикэ, но Фрикэ бросил в открытую пасть ягуара свою винтовку. Пока ягуар грыз винтовку, Белюш выстрелил и убил ягуара наповал. Вдруг из высокой травы выскочило несколько индейцев, растатуированные, размахивающие томагавками и ружьями, и связали трех охотников по рукам и по ногам (продолжение следует).

А. Воловик».

Здесь следует иллюстрация, на которой индейцы выскакивают из высокой травы, один из индейцев нацеливается кинжалом в зад стоящего на четвереньках француза. Подпись: «… из высокой травы выскочили индейцы… *(рис. В. Некрасова)*».

*

Закончив оформление «Случая смерти в чужой квартире», Марина — думаю, с благой целью развлечь меня — принялась рассказывать истории почище, нежели у Фрикэ Мегира́. О том, например, как только что помер у нее сорокалетний мужчина, когда ему стало уже хорошо и блаженно после укола, а он тут взял да и помер. А вот еще у нее такой был случай… А вот еще этакий…

Я вытерпел около часа. Наконец поинтересовался:

— Где же милиция? А ежели здесь убийство произошло? Они так же вот поспешают?

— Приедут, приедут, не беспокойтесь,— сказала врачиха.— А вот мне… конечно, для проформы, но нам положено: вы с ним здесь ничего не употребляли? — так ответила она вопросом на мой вопрос о милиции.

— Да что ж вы, сами не видите? Или у вас обоняние отсутствует? — спросил я.

На телевизоре стояло блюдце с виноградом и чайные чашки. Честно говоря, мысль о спиртном перед визитом Александра Борисовича у меня появлялась. Ежели, рассуждал я, Виктор Платонович по этой части такой мастак был, то и его дружок, скорее всего,— яблоко от яблони… Но, к величайшему счастью, какое только выпадало в моей грешной жизни, в данном случае победили лень и тромб в ноге: за спиртным я не поплелся. Решил,

что семидесятисемилетнему Шурке более подойдет чай или кофе.

— Да вы не обижайтесь,— сказала Марина.— Так уж нам нынче положено — спрашивать. Специальный пункт есть.

— Нет, алкоголя не было. Предлагал ему чай или кофе, но он попросил сперва немного поболтать. Не терпелось ему расспросить о дружке, которого я сравнительно недавно видел.

— А вот если б он кофе выпил,— сказала врачиха,— то, быть может, ничего бы и не случилось…

Господи! От чего же наша грешная жизнь зависит? (Потом, уже от вдовы Александра Борисовича, я узнал, что перед уходом из дому он выпил кофе. Так что в этом вопросе Марина оказалась не права.)

Милиция — майор-участковый из соседнего отделения прибыл через два с половиной часа.

К телу он даже не приблизился — хватило одного взгляда. И сразу сел писать свою милицейскую писанину.

К этому времени лицо покойного заметно изменилось, но выражение оставалось спокойным, а глаза не открылись.

Марина наконец подвязала ему бинтом челюсть и спеленала руки на груди. Затем они с милиционером обменялись какими-то документами, и она ушла. Я укрыл тело простыней.

К счастью, скоро вернулась Гита — ее рабочий день в поликлинике закончился. Я откровенно сказал, что боюсь звонить родственникам. Для врачихи это должно быть более привычным делом…

Трубку взяла жена. Сперва Гита сказала, что Александр Борисович отправлен в больницу в безнадежном состоянии, затем сказала правду. Потом трубку пришлось взять мне.

Женский голос спросил, снял ли я часы с Александра Борисовича. Я сказал, что да и что все вещи у меня. Женский голос сказал, что в заднем кармане брюк у него триста рублей и какое-то удостоверение. И здесь я ляпнул, что сразу же выну деньги. А ведь раньше-то было сказано, что тело уже увезли и был даже назван морг судебно-медицинской экспертизы. Вероятно, вдова была в таком шоке и трансе, что ничего еще толком не могла сообразить и потому спрашивала и вообще говорила какую-то чушь.

Гита ушла домой к больному мужу, подписав милицейские протоколы. Я подписал их еще раньше.

26.12.87. 09.50.

Жутковато, но что поделаешь? Сижу на диване, где умер Шурка. Достаю из его старенького, дешевенького портфеля с тремя отделениями папку с фото и письмами. Надо торопиться:

родственники непредсказуемы — могут отобрать документы. Четкий, размашистый почерк Некрасова:

11.01.60.

«Дорогие Шура и Гиза! Нет, мы не негодяи, мы просто ленивы. А о вас мы всегда помним и любим по-прежнему. Только вот нет теперь предлогов для поездок в Ленинград. А вы почему-то забыли и Киев, и Корастышев и вообще неньку-Украину. А жизнь идет помаленьку. Через неделю собираемся с мамой, как и в прошлом и в позапрошлом году, под Москву, в Малеевку — подышать лесным, зимним воздухом, посмотреть на снег, походить на лыжах, а заодно и поработать — там это куда продуктивнее получается, чем в Киеве.

Похвастаться объемом написанного в этом году никакие могу. Последняя небольшая вещь была напечатана в № 12 „Нового мира“. Называется „Три встречи“ — это о Валеге — в жизни, книге и кино. А сейчас кончил рассказ, начатый еще в… 1949 г. Увы, обратно про войну. Послал в „Новый мир“. Ответа еще нет…»

По радио сей миг: «Министр иностранных дел Чехословакии Богуслав Хнёупек горячо приветствует предстоящее подписание соглашения по ракетам средней дальности…»

*

«…А в конце января должны выйти наконец отдельным изданием итальянские записки „с иллюстрациями и фотографиями автора“. Ловите!

Вот такие-то дела… Крепко обнимаю. Мать шлет привет. *Вика*».

*

Майор-участковый сказал, когда я укрыл тело чистой и новой простыней:

— Положите старую. Эта пропадет.

— Чего ж я буду простыню жалеть?

— Когда приедут за телом, еще одну попросят.

— Ну и что?

— Так эти перевозчики простыни реквизируют — в морг без простыней берут.

— Ну и что? Что ж, я его на грязных тряпках из своего дома дам выносить?

— Ваше дело. Мое дело — предупредить.

И уже проходя через переднюю мимо столика:

— И почему у вас здесь деньги валяются?

На столике лежало двадцать пять рублей. Там у меня всегда деньги лежат.

— Уберите-ка деньги отсюда. Валяются вот так. Пропадут, а потом на милицию катят.

— Хорошо. Уберу. Спасибо вам за все.

— Ну, что вы — не за что! Сами не болейте!

— Спасибо.

Так все потом и было: попросили вторую простыню, чтобы положить на нее тело. Расстелили на полу, перенесли Александра Борисовича с дивана, завязали простыни углами в головах и ногах. Очень заботливо продиктовали адрес похоронного магазина, который приписан к моргу: улица Достоевского, девять, возле Кузнечного рынка. Я записал. Предупредили еще, чтобы родственники, когда поедут в контору морга, не забыли свои паспорта. (Имя Достоевского тут к месту прозвучало!)

— Ты, Ваня, торшер сдвинь, чтобы ногами вперед развернуть, — сказал старший.

Шапки сняли оба, когда вошли.

Надели, когда уже подхватили белый кокон.

За все такие трогательные любезности четвертной, убереженный мильтоном, перекочевал в их карман. Такая подачка, судя по новому взрыву информационных и утешительных слов, была для них сюрпризом.

Носилки ждали на площадке лестницы.

— Лифт не работает?

— Да. Уж извините.

— Ничего-ничего! Ваня, лямки туже затягивай, чтобы он не съехал.

*

6.11.65.

«Дорогой Шура! Только что вернулся из Москвы. Пропихивал в „Новый мир“ свой новый „opus“. Рассказы.

Вроде как о Камчатке и в то же время не только о ней. Все делается со скрипом. Все всего боятся, осторожничают… Первый этап — редакцию — вроде как преодолел. Но впереди еще множество Сцилл и Харибд… Пока не получишь в руки экземпляр журнала, ни во что не веришь.

Такое время…

А мост твой видал на фотографии. Великолепен… Но почему вы не делаете таких, как в Сан-Франциско?

Обнимаю и целую. Привет большой от меня и мамы Гизе.

Твой Вика».

*

Когда уходила врачиха «неотложки», я поинтересовался, сколько ждать спецтранспорт?

— Часа два.

Не успела закрыться за ней дверь, как милиционер сказал:

— Ненаучная фантастика, хозяин. Часикам к четырем утра ждите. В лучшем случае. Кажется, они сейчас за город рейс делают.

— Да вы что?!?!

— А ничего. Тут вам надо большой блат иметь. Не на районном уровне. Тут, если у вас кто в Смольном работает, может, и помогут. Ниже не пройдет. Погода плохая, гололед, сердечники мрут по всему городу как мухи. Запарка, короче говоря.

Так вот я и остался с Александром Борисовичем опять накоротке. Ходил из угла в угол по диагонали комнаты — извечная штурманская привычка. И от всей души поносил родную советскую власть.

Зря поносил. Спецтранспорт прибыл в 21.30, а не в четыре утра.

Оказалось, сработало мое писательское имя — Марина поднажала по своей линии. Так что определенные выгоды в нашей профессии есть.

*

Из книги В. П. Некрасова «Маленькая печальная повесть»:

«Сегодня воскресенье, а в среду 12 сентября минет ровно десять лет с того дня, когда, обнявшись и слегка пустив слезу, мы — я, жена и собачка Джулька — сели в Борисполе в самолет и через три часа оказались в Цюрихе.

Так, на шестьдесят четвертом году у меня, шестьдесят первом у жены и четвертом у Джульки — началась новая, совсем непохожая на прожитую, жизнь.

Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 года? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень.

Выяснилось, что самое важное в жизни — это друзья. Особенно когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня — друзья… Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито, прохожено по всяким Военно-Осетинским дорогам, Ингурским тропам, донским степям в невеселые дни отступления, по Сивцевым Вражкам, Дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуренных чертежках, в окопах полного и неполного профиля и в забегаловках, и выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает.

Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей. Возможно, это началось с коммуналок, не знаю, но, так или иначе, человеческое общение сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово ложе запретов и страха, люди, даже любящие друг друга, боясь за свои конечности, пресекают это общение. Из трусости, из осторожности, из боязни за детей, причин миллион. Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет, не только не пришел прощаться, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически запретила ей звонить. Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, сказал:

— Не пиши, все равно отвечать не буду…

И это „отвечать не буду“, эта рана до сих пор не заживает. Я внял его просьбе, не писал, но втайне ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возьмет открытку, напишет на ней под левой подмышкой: „Поздравляю!“ и без обратного адреса опустит где-нибудь на вокзале. За десять лет ни разу не надрался… Во всяком случае, не написал, не опустил… А все это соль, соль на мою рану…

И маленькая моя повесть печальна потому, что если между

двумя из моих друзей воздвигнута берлинская стена, то двоих других из этой троицы разделяет только Атлантический океан… Нет, не только океан, а нечто куда более глубокое, значительное и серьезное, что и побудило меня назвать свою маленькую повесть печальной. Аминь».

*

28.11.87 г. 14.10. Не отпускает меня милиция. Сей миг звонил участковый. Ему надо номер свидетельства о смерти и диагноз, который поставили гражданину Воловкову.

— Гражданину Воловику. Официального диагноза у меня нет. Документы получали и оформляли родственники. У них и спрашивайте.

— Вы у них были?

— Да. Был. Отвозил вещи, они получили справку об отсутствии телесных повреждений.

— Это у меня в акте есть. Мне номер свидетельства. И диагноз. У вас их телефон есть?

— Есть, но нельзя ли потянуть резину? Хотя бы после кремации позвоните! Это же опять удар и потрясение для его родных.

— А когда похороны?

— Кремация в понедельник после полудня.

Он подумал, вздохнул:

— Не получается. Мне надо документы сдать до понедельника. (Явно врал — отделаться поскорее хочет.)

Я продиктовал телефон. Он заверил, что постарается «осторожнее».

*

Из журнала «Зуав», который из патриотических побуждений потом был переименован в «Маяк». 1923 год. Киев.

«ЗУАВ. В 1831 году Франция завоевала Алжир и образовала для себя колониальную армию из туземцев. Французы набрали себе солдат из племени зууа — кабилов. Это были очень отважные воины. Раньше зуавы состояли из туземцев, а теперь состоят исключительно из французов, хотя костюмы остались арабские. А именно: красная феска с синей кистью, синяя туника, на груди с узорами, красный широкий пояс, а поверх обыкновенный кожаный, красные шальвары и сапоги. Зуавов было

4 полка, которые разделяются по цвету овалов (узоров) на тунике. В первом полку середина овала красная, во втором — белая, в третьем — желтая и в четвертом — синяя (цвет туники). Зуавы обыкновенно храбрые солдаты. В известных битвах на р. Альме и в Палестро они были победителями. В 1871 году зуавы дрались как львы и этим хоть немножко помогли Франции. „Родственные“ зуавам солдаты это тюркосы (тюркосы — колониальные французские войска), или алжирские стрелки. Они только не белые, а черные (колониальные). Форма у них одна и та же. Это отчаянные храбрецы. Они смело идут в штыки, случаи, где бы их победили, были очень редки. Во время Мировой войны тюркосы наводили на немцев неописуемый ужас. И если говорили, что идут тюркосы, то немцы уже наверное знали, что им не одолеть тюркосов. *В. Некрасов.*

ПО БЕЛУ СВЕТУ

На маневрах были спущены в воду в Нью-Йорке суда, управляемые с берега. Они управляются по средству воздушных волн Герца. Когда другие броненосцы стали обстреливать их, то они не поврежденные ушли из-под выстрелов.

КИТАЙСКИЙ ГИМН

Китайский национальный гимн так пространен, что спеть его с начала до конца можно лишь в 8 часов».

Далее изображен чертеж ракетного снаряда и рисунки гранат: 1. Французская «браслетная» граната. 2. Германская «палочная» граната. 3. Граната из консервной банки. 4. «Хвостатая» граната (хвост выравнивает направление полета). 5. Французская ракетная граната.

На этом кончается «Зуав» № 1. Во всяком случае, на этом кончается тот «Зуав», который был у меня в руках.

*

29.11.87. 18.00. Позвонила Гиза — Гизель Марковна, теперь уже вдова Александра Борисовича Воловика, уточнила время кремации: завтра, в понедельник, 30-го, в 15.15, Большой зал.

Конечно, странновато все это, нереально как-то. Но за все на этом свете надо платить. За литературу втридорога.

*

30.11.87. В 8.30 заказал такси для поездки в крематорий. Цветы для Александра Борисовича — белые и розовые хризантемы — уже стоят напротив меня и скромно, потупленно молчат. Хризантемам через шесть часов предстоит сгореть.

Хотя говорят, в крематории не только выдирают золотые зубы, но и цветочки совершают торговый оборот из гроба к шикарным вестибюлям метрополитена.

Читаю фантасмагорию Некрасова о его встрече со Сталиным. Как они с другом всех народов два дня водку пьют. И до того Сталин допился, что понес всю еврейскую часть человечества. И тут капитан Некрасов решил рвануть на Голгофу за угнетенный народ:

«— Эйнштейн, что ли, торгаш и хапуга?

— Эйнштейн не знаю, а Каганович да!

Тут как раз вошел Никита с двумя бутылками водки.

— Скажи, Никита, Лазарь вор?

Никита опешил. Поставил бутылки. Лихорадочно стал одну из них раскупоривать.

— Вор или не вор, говори!

Никита, точно рыба, выброшенная на берег, хватал ртом воздух. А перед ним стоял, расставив ноги, Сталин, весь красный, даже шея и грудь покраснели, со сжатыми кулаками, и казалось, что вот-вот он размахнется и ударит его.

— Говори!

Но Никита не в силах был выдавить ни слова.

А я… До сих пор не могу понять, как это получилось, нашло какое-то затемнение, но я выхватил у Никиты бутылку, молниеносно разлил по стаканам и сказал, упершись пьяными глазами в Сталина:

— Я предлагаю выпить за командира пятой роты лейтенанта Фарбера, товарищ Сталин. Слыхали о таком?

— Фарбера? Какого такого Фарбера? Не знаю я никакого Фарбера.

— И напрасно! Командир пятой роты, 1047-го полка, 284-й дивизии. Выпили?

Сталин взглянул на меня так, что я понял — сейчас конец.

Потянулся к телефонной трубке.

— За такое знаешь что? — сказал он, не сводя с меня глаз, страшно медленно, вколачивая каждое слово, точно гвоздь.— Не знаешь? Так вот, узнаешь.

Он набрал номер.

— Берию ко мне,— и швырнул трубку.

Все! Я понял, что все.

Воцарилась пауза. Никто не двигался. Ни Сталин, ни Хрущев, ни я. Застыли.

В ушах стучало. Все быстрее и быстрее.

Сталин, стиснув протянутый мною стакан так, что пальцы даже побелели, стал приближаться ко мне. Тихой, беззвучной, какой-то крадущейся походкой.

И смотрел, не отрываясь смотрел. В глазах его вспыхнули маленькие, красные огоньки, как у кошки ночью.

За спиной моей тихо открылась и закрылась дверь.

Я понял, что это конец.

Залпом выпил стакан водки. В глазах пошли круги. В ушах зазвенело. Все сильнее и сильнее.

Я упал. Стакан покатился по полу. Последнее, что я услышал сквозь все усиливающийся звон в ушах:

— Жиденький паренек… А я еще на брудершафт хотел.

Больше я ничего не слышал, я умер».

*

Фарбер… Фарбер… Фарбер…— сквозь всю жизнь пронес Некрасов фамилию этого детского дружка.

Я успел спросить у Александра Борисовича о его судьбе.

— Шурка?

— Да.

— Он умер много лет назад.

— В одной эмигрантской книге Некрасов вспоминает Фарбера в разговоре со Сталиным. Читали?

— Нет, конечно. Зато вы сможете прочитать рассказ Шурки в четвертом номере «Маяка». Да не торопитесь. Я вам их оставлю, эти раритеты…

*

«НА КРАЮ ПОЛЯ. Два мальчика сидели около поля. Один из них был деревенский; другой был из города. И оба были друзьями уже 3 дня.

„Когда ты приедешь к нам“, говорил городской, „я тебе покажу прелестные дома, дворцы и церкви; ты увидишь огромные улицы, которые вечером так хорошо освещены, что видно, как днем“.

„А я“, возразил другой, „Я тебе покажу леса, где собирают

люди орехи, огромные сосновые и еловые шишки, и леса, где темно как ночью“.

„А чему ты меня научишь?“

„Я тебе покажу, как гонять овец на пастбище, как делают сыр и масло из молока наших прелестных коров, и как пашут нашими огромными быками, я тебе объясню, когда надо сеять рожь, пшеницу, ячмень; как надо вязать снопы, как выдавливают виноград, как трепать лен и коноплю. Затем я научу плести корзины из прутьев“.

„Все это хорошо знать“, возразил мальчик из города; „но я научу тебя другому, что может быть еще лучше. Я научу тебя читать!“

Pape — Carpantur. Перевод с франц. *А. Фарбер*».

*

Следующий отрывок Виктор Платонович начинает своей любимой присказкой:

> «„Умер — шмумер, был бы здоров“.
>
> Одна из самых одесских сентенций великого черноморского города.
>
> Тираны умерли — не все, правда, Молотовы и Кагановичи все еще поливают свои грядки, а может быть, что-то и строчат, лживое, но главные убийцы все же лижут в преисподней раскаленную сковородку. А я, отряхнувшись, у своих друзей, в любимой Женеве, под прошлогодней сосенкой дописываю последние страницы. Весна, март. Лопнули первые почки на каштанах. В Швейцарии это считается наступлением весны. Специальный человек следит за специальным каштаном в университетском парке, и лопнула почка, выглянул крохотный пятилаповый листочек, и сразу же в газету — началось! Дописываю… Напротив меня, под березкой, вылезли из-под земли четыре крохотных крокуса, три лиловых, один белый. Утром только выглянули. Сейчас уже распустились. И пчелка прилетела. За работу, товарищи!
>
> Что-то затянул я на этот раз. Прошли лето, осень, зима. И много событий произошло за это время. И в мире, и в моем парижском Ванве…
>
> В кафе „Сентраль“, где я по утрам пью кофе с круасаном и листаю „Фигаро“, бросили бомбу. Кто — до

сих пор неизвестно. Никто серьезно не пострадал, кого-то поцарапало стеклом, хозяйку слегка контузило…»

*

Ну вот, Вика Некрасов уже и в кущах.

Интересно, скучно там?

Когда доктора поставили ему диагноз — рак легких,— он сказал: «Боже, как скучно…» Во Франции безнадежные диагнозы от больных не скрывают.

———

Сразу сунул шоферу четвертак, чтобы он обождал возле крематория до конца процедуры. Этот ли четвертак тому виною или конечный пункт нашей поездки, но таксист разговорился. И я, проносясь сквозь ноябрьскую ленинградскую мразь и ленинградские лужи, узнал, что бабушка шефа дожила до 96 лет. И все эти 96 лет очень оберегала одну икону. Когда наконец померла, внучек нашел в иконе царские, керенские и 30-х годов советские деньги, включая пятьдесят золотых червонцев.

— И как это она в блокаду их сохранила и не потратила? — изумлялся шеф, когда мы застряли у знаменитого вечными заторами железнодорожного переезда, уже на близких подступах к крематорию.— Ну, один червонец я разменял ей на похороны — денег чего-то не было, а остальные храню, в память бабки. Она, кстати, великому князю Константину ручку целовала…

Помните бабушку Некрасова на царском балу? Любой черт в нашей стране ногу сломит.

— Может быть, все-таки великий князь Константин — ей? — поинтересовался я.

— Да-да, это я, конечно, спутал,— согласился шеф.— А померла она у меня замечательно. Приехал к ней, просит бабуля кагору — религиозный праздник какой-то был. Ну, ясное дело, кагора нигде нет. Я четвертинку у ребят в парке достал, ей привез. Она говорит, что, значит, так господь велит; и закурила, а она в блокаду махорку жевать научилась, а после войны уже и по-настоящему курить. Иди, говорит, чайку поставь. Ну, я пошел, а у газовой плиты дверца не затворяется плотно; я минут десять с дверцей провозился, возвращаюсь,— а бабуля уже холодная, под иконами сидит, и сигарета дымится… И зачем жить-то, ежели все равно помрешь? Вот потом, когда я икону вскрыл, так понял,

почему бабушка к другим иконостасам нас подпускала, а к этой нет… Ну, хоронить надо. К деду решил ее подселить. Приехал на кладбище, а мороз уже, я могильщикам бензинчику предложил землю оттаивать, на этом деле покорешился с ними, говорю, у дедули раковина треснула — заменить бы. Ребята шасть к другой могиле — метров за сто, сняли раковину, хорошая еще, приличная, и мне тянут. Я говорю, что неудобно вроде, а они объясняют, что к той могиле никто уже два года не ходит, а значит и не придет…

Так вот мы с таксистом мило побеседовали, и я вылез возле официальных елочек, породу которых не знаю, но ненавижу их, где бы они ни росли.

Таксист остался ждать наедине с мыслями о своей бабушке.

Обыскал все крематорские предбанники четыре раза — нет моих Воловиков. Ну, думаю, неужто что-то напутал — стыд и срам,— не оправдаешься: убил старика и побоялся явиться на похороны.

Пошел к администратору, тот говорит, что родственники еще не прибыли. Оказывается, так как тело Александра Борисовича не в их морозилке, а в судебно-медицинском морге, то родственники на автобусе должны еще за ним заезжать.

Пошел гулять с букетом хризантем вдоль глухого, без окон, фасада крематория. Площадка сложена из бетонных плит, тонн по пять каждая, уложены плохо. На иную ступишь — она под тобой екнет, колыхнется, и кажется, в преисподнюю проваливаешься. А звук такой раздается — чем-то дальний артиллерийский гул напоминает. Блокада, конечно…

Прохаживался там еще один бедолага. Я ему говорю, что, мол, как бы нам самим в их холодильный подпол раньше планового срока не провалиться. Тот меня успокоил. Это, говорит, капитальное заведение немцы строили, и все тут под большим секретом,— технология у них совершенно сложная, от концлагерей идет. Сейчас, говорит, ведутся переговоры, чтобы второй крематорий строить; так его опять будут в полной секретности и только своими собственными руками фрицы строить…

Очередной бред и Кафка.

Кабы действительно фрицы строили, так пятитонные плиты под ногами не ёкали…

Ну-с, смотрел я на пригородный пейзаж — там далеко видно с крематорной возвышенности, но думалось что-то вовсе не возвышенное. А именно, что я таксисту слово дал вернуться не позже 15.15, а график, судя по всему, явно сбит, и что же мне теперь делать?

Через полчасика появились родственники. Давно я так никому не радовался, как этому скорбному семейству. И боевой полкаш пришел с супругой, сразу у меня сигарету попросил, но жена ему курить не дала,— здоровье беречь надо. Смешно еще, что, когда я попросил старого воина как-нибудь зайти ко мне, поговорить об Александре Борисовиче — для писательского дела нужно, супруга воина заверещала: «Не пущу! В вашей квартире люди мрут!» И ведь старый воин с супругой согласился и навестить место смерти друга побоялся. Странные люди эти ветераны…

И вот теперь я думаю: звонить ему или нет? И как бы на моем месте поступил сталинградец Виктор Платонович Некрасов?

А другим товарищем Александра Борисовича Воловика оказался сын прославленного советского художника Исаака Бродского. Когда нас познакомили, я опять решился пошутить, спрашиваю: «Вы на площади Искусств живете?» (На этой площади музей-квартира автора картины «Ленин в Смольном».) Сын художника — мне на полном серьезе: «Нет, что вы, нас давным-давно оттуда выселили». Оказалось, он простой инженер и долго работал на Шпицбергене. Господи, может, он и с Лив Балстад знаком был, с той, которую так Юра Казаков уважал…

И «Окопы» будут напечатаны, и даже это:

«Весь мир считает, что скучнее и серее советской литературы ничего нет. Все по заказу.

По заказу, не спорю. И человек, охотно или неохотно выполняющий его, щедро вознаграждается. Но все ли его выполняют, этот заказ? Нет, не все. И именно поэтому русская, советская (уточним, появившаяся на свет после семнадцатого года) литература, безусловно, интереснейшая в мире.

Бежать по утоптанной дорожке куда легче, чем по рытвинам и ухабам. Рекорды, установленные в Мексике, куда выше достигнутых в Мюнхене, Риме или Мельбурне — на высоте 2500 метров воздух разреженнее. Воздух московских (и прочих советских) издательств — воздух погреба, а дорожка, по которой писатель бежит, усеяна не только рытвинами и ухабами, она заминирована. Добежать до финиша не легче, чем легендарному Джесси Оуэнсу в Берлине под ненавидящим взглядом самого фюрера.

То, что написать хорошую книгу в нашей стране трудно,— это аксиома. Под хорошей подразумевается правдивая, говорящая не о пустяках, а о чем-то существенном, я не говорю уже о самом главном. Впрочем, Василий Семенович Гроссман попытался это сделать, написав „Жизнь и судьбу“, вторую часть разруганного в свое время романа „За правое дело“. Написал о самом главном и страшном, о тождестве двух, вроде бы враждебных, систем и о! как легко было всех нас купить в те годы обманчивой оттепели — отдал не кому-нибудь, а в „Знамя“, бездарному и трусливому Вадиму Кожевникову. Результат известен — рукопись арестовали. В сталинские годы та же судьба постигла бы и автора, но шестидесятые годы отличались все же от пятидесятых.

По „делу“ Гроссмана меня специально вызвали из Киева в Москву, в ЦК. Считалось почему-то, что я могу повлиять как-то на Гроссмана.

— Гроссман написал антисоветский роман,— решительно заявил мне ведавший литературой в ЦК тов. Поликарпов.

— Нет, Гроссман не мог написать антисоветского романа,— сказал я.— Это исключено.

— Вы не читали его, а я читал. Это антисоветский роман!

— Вы неправильно его поняли.

Разгневанный Поликарпов повысил голос. Я тоже, он стукнул кулаком по столу. И я стукнул, добавив что-то насчет того, что немцев в Сталинграде не испугался, так уж штатского за письменным столом подавно. Это подействовало. В дальнейшем я ту, возникшую в гневном запале, фразу с успехом использовал в других, не менее сложных ситуациях.

Беседа наша мирно закончилась просьбой воздействовать на Гроссмана и убедить его никому написанное не показывать. Само собой разумеется, о проведенной беседе ни слова. Я тут же побежал к Василию Семеновичу и все рассказал. Он печально улыбнулся, показал пальцем на потолок и вынул из буфета поллитра…

Гроссман написал великую книгу. Живя в Советском Союзе, рискуя всем. Это подвиг. И он его совершил. Солженицын тоже написал великую книгу „ГУЛАГ“, но он ее скрывал. Гроссман ничего не скрывал, поверил почему-то крокодилу и сам полез в его пасть. Безумный, но подвиг.

Нет, советская литература такими подвигами не очень может похвастаться. А может, вообще он не нужен, подвиг? Или — не только из подвигов соткано искусство, литература?

Так думают многие. Писатели, в частности. Даны ведь миру „Смерть Ивана Ильича“ и „Холстомер“, „Дом с мезонином“ и „Попрыгунья“, „Над вечным покоем“ и „Вечерний звон“. Они скрасили наши дни. С ними легче жить.

Вот мы и подошли к главному.

В три шеи был изгнан из страны конструктивизм с его коробками, жалкими подражаниями всяким там Корбюзье. Нам нужна настоящая, жизнеутверждающая, богатая архитектура. И хоть именно тогда мерла от голода Украина, страну заполонили колонны, портики, жизнеутверждающие фасады. На экраны вышли „Веселые ребята“.

Великое счастье жить на земле! О нем, об этом счастье, говорил Горький в 1934 году на Первом съезде писателей, обрадовав участников, преподнеся им социалистический реализм. „Социалистический

реализм — это непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле“.

Здоровье… Долголетие… Великое счастье жить на земле.

Горький жил тогда в недурном особняке Рябушинского на Мало-Никитской, а до этого в вилле в Сорренто, и в те же дни на восток один за одним шли эшелоны с полтавскими, черниговскими, курскими — всех не перечтешь — колхозниками, виноват, „кулаками“ и „подкулачниками“.

А Шолохов писал „Поднятую целину“, Алексей Толстой „Петра Первого“ — вот какой был царь, но вы, товарищ Сталин, его переплюнули!

„Творчеству художников социалистического реализма присуще умение смотреть из будущего на настоящее“. Тоже Горький, тогда же.

Ну вот, мы и посмотрели из будущего, через пятьдесят лет, на то, что было настоящим. А два года спустя после прекрасных слов о здоровье, долголетии и счастье жить на земле Сталин убил Горького. А заодно и еще несколько сот писателей. И миллионы не-писателей. Которым тоже хотелось долго и счастливо жить на земле.

Все это со временем стало называться „культом личности“, отдельными ошибками, отходом от ленинских норм, но писать об этом зачем? Зачем ворошить прошлое, растравлять раны? Партия все исправила, все поставила на свое место. Пишите о героях целины, романтиках БАМа, битве за урожай, славных пограничниках, ученых, кующих победу…

— Вот, пожалуйста, и заказ! — ловят нас на горяченьком западные коллеги.

Ладно, разберемся.

В Союзе писателей, говорят, больше восьми тысяч членов. Не-членов — пишущих и печатающихся — не счесть. Кто же они такие?

Позволю себе маленький эксперимент, некую вольность. Поделим грубо всю писательскую массу на несколько категорий.

1. Верные автоматчики (выражение Хрущева) литературы. Все пункты Устава Союза писателей выполняют с завидным усердием и увлечением. Воспевают, призывают, прокладывают, воодушевляют,

воспитывают, ведут… Люди злые все эти глаголы заменяют одним — вылизывают. Но это было бы упрощением — Маяковский воспевал не во имя житейских благ, он (до какого-то времени) верил. Мейерхольд, Эйзенштейн, Довженко тоже верили. Или убеждали себя, что верят. Закрывая на что-то глаза (надеюсь, что мучительно), пытались, нет, не приспособиться, напротив, возглавить. Это им стоило дорого. Мейерхольду жизни, но убежден, что каждый из них, обливаясь кровью под ударами, стонал: „За что? За что? Ведь я так старался…“ Сейчас таких уже нет. Последние могикане — Эренбург, Михаил Ромм — перед смертью что-то поняли, от чего-то отреклись, перестали воспевать, пытались искупить прошлое.

Нынешние автоматчики из другого теста. Иллюзий, веры — никакой. Основной стимул — те самые блага жизни. Циничны. Продажны. Умеют поторговаться. У иных и перо тонко отточено и язык неплохо подвешен. Вознаграждение по заслугам. Посты (оплачиваемые), тиражи, распределители, дачи, заграничные поездки. За отдельные срывы — пьянки, перерасходы, утайки заработка при оплате партвзносов — погрозят пальчиком, шито-крыто. За особое усердие — Героя Социалистического Труда. Дважды пока не было, разве что Брежнев. На очереди Шолохов. На подходе — пока не видно.

2. Основная масса писателей. Цену всему знают — и зрелому социализму, и лично товарищу Брежневу, Шауро (нынешний Поликарпов), Георгию Мокеевичу Маркову (нынешний Фадеев, без его влиятельности только), Чаковскому, всему Союзу писателей вкупе — но кроме того знают, что плетью обуха не перешибешь. На собраниях без излишнего энтузиазма, но покорно голосуют за что положено, дома отплевываются. Если не фантасты, не исторические романисты, не детские писатели, пытаются писать о жизни. Ну, не совсем она такая, как на самом деле,— о политике, Андропове, нехватке мяса, Афганистане, что слышал по Би-Би-Си, о бриллиантах брежневской дочки, т. е. о том, о чем целыми вечерами на кухне, герой, упаси Бог, ни-ни. И все же написанное на что-то похоже. Жизнь какая-то неладная, серая, скучная, дети отбиваются от рук, друзья изменяют женам, пьют, даже перепиваются, раньше на все это было табу.

Проходит это отнюдь не гладко — доделки, переделки, вычеркивания („Ну, зачем вам это, дорогой Николай Степанович? И без того все понятно. Зачем подчеркивать, усугублять?“), замены одного героя другим, смягчение концовки („не надо точек над i“), введение мажорной интонации. Все это выводит из себя, треплет нервы, лишает сна, зато, когда книга выходит, есть ощущение, что поработал на славу, основная идея сохранилась, самое существенное удалось отстоять — „Вы знаете, сколько из-за этого куска пришлось драться? В ЦК даже посылали“,— и внимательный читатель, умеющий читать между строк, конечно же, уловит главное, для чего и писался роман. Что поделаешь — всем хочется быть немножко крамольными, при всем при том…

Благ поменьше, чем у первой категории, не сравнить. Тиражи поскромнее, путевки в Дома творчества в Коктебель, в Малеевку берутся с бою (заграничные духи и колготки, увы, девальвировались), загранпоездки только за особые услуги (а как не хочется их делать!), влиятельные посты исключены.

Но жить все же можно. Отдельная квартира, заболеешь — оплаченный бюллетень. Литфондовская поликлиника, гонорара более или менее хватает (на Западе это не получается), но главное — чувствуешь себя не подонком, уверен, что читатель тебя читает и даже благодарит за ту пусть скромную, пусть под сурдинку сказанную, но все же правду, и где-нибудь на малеевской лыжне, под елочкой можешь по поводу этого излить душу другу, а заодно поругать начальство, ну и вообще…

2 Б. Подотдел той же категории. Правдоискатели. Найдя, поведывают ее, правду. Не всю, конечно, об этом не может быть и речи, но врать и лакировать ни в какую! Область, охватываемая этими авторами, в основном, деревня. Тут почему-то некая поблажка. Этим писателям даже улыбаются, пытаются приручить, заманить к себе, награждают премиями. Но случая перехода в „их“ лагерь пока не наблюдалось. Явление новое, обнадеживающее.

3. Врать надоело! Ну их! На всю железку! Таких исключают из Союза, выдворяют за пределы, кое-кого сажают. Книги их изымают, из справочников и словарей вычеркивают. Злопыхатели и очернители, советская литература как-нибудь и без них обойдется.

Такова в самом грубом виде классификация

литературного процесса, писательской братии. Есть отклонения, нюансы, неожиданности. Есть ответвления. Например те, кого окрестили бардами. По популярности, по любви к ним читателей, вернее слушателей, с ними никто не сравнится. Власть не нашла еще способа с ними бороться… „Двое из самых каверзных, слава Богу, отдали концы, третий тоже не очень здоров, часто болеет…“ А народ слушает, переписывает, поет…

Ну, а автор этих строк — к какой категории он примыкал? Во всяком случае не к третьей, с грустью приходится признаться. Ко второй? Ко второй Б? Пожалуй. Где-то между ними. Имел и квартиру отдельную, и литфондовскую поликлинику, писал для журналов, издательств, за железный занавес ничего не посылал. Парочку-другую подпольных, в меру крамольных рассказиков писал для друзей, почитывал их за вечерним чаепитием. Вот так и жил. Пока не выяснилось, что мы с советской властью смертельно друг другу надоели…»

*

Закончу словами соседа Виктора Платоновича по чужбинному, ухоженному кладбищу:

Я в грусть по березкам не верю, разлуку слезами не мерь.
И надо ли эту потерю приписывать к счету потерь?

От нас зависит.

3 апреля 1988 года, воскресенье, 16.00.

Часть третья

Некоторым образом драма

Пьеса для чтения

В Париже переводчица Аннет рассказала такую историйку:

«…Ах, один командировочный советский Вася предложил овладеть мною, как у вас принято, еще в подъезде. Я пригласила его в будуар и попросила еще минуточку подождать, а сама, как у нас принято, направилась в ванную освежиться. Вася, как у вас положено, воспользовался тайм-аутом, чтобы выпить мой лосьон, духи, зубные капли, дезодоранты, и залез в постель в ботинках. Потом было все очень хорошо. Потом вернулся домой мой муж Жан, и я, как у нас положено, хотела познакомить его с новым любовником. Но Вася, как у вас положено, из будуара выпрыгнул через окно прямо на Елисейские поля и попал под „Мерседес-бенц“. Интрижка, увы, закончилась слишком быстро. Жаль».

Этот чудовищный по нелепости рассказ передаю буквально, ибо в брильянте правой запонки был японский магнитофон.

А нижеследующим сочинением попытаюсь рассеять фантастические вымыслы в наш адрес, которые так бурно распространяются по развитым капиталистическим странам.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

З а й ц е в Д а н и л а В а с и л ь е в и ч, член-корреспондент, планетовед-венеролог.

З а й ц е в В а с и л и й В а с и л ь е в и ч, его младший брат, художник.

Б а ш к и р о в а Г а л и н а В и к т о р о в н а, программист ЭВМ, любовница Данилы Васильевича.

Б а ш к и р о в Э д у а р д Ю р ь е в и ч, ее супруг, профессор.

И л ь е н к о в а И р а и д а Р о д и о н о в н а, старуха.

В а р в а р а И в а н о в н а, двоюродная сестра Зайцевых, массажистка, слепая.

Б е р т а А б р а м о в н а, ее сожительница и поводырь.

Р о з а л и н д а О б о т у р (О б о т у р о в а), иностранка.

М э р и С т о н е р (М а р и я С е р г е е в н а О б о т у р о в а), ее дочь.

Ч е т а е в, капитан II ранга, подводник, некоторым образом кузен Мэри.

П а в е л Г о п н и к о в, сержант милиции.

Ф а д д е й Ф а д д е е в и ч Г о л я ш к и н, пенсионер-

пьяница.

М а н я, дочь Василия Васильевича Зайцева, 15 лет.

А р к а д и й, молодой человек свободной профессии из Объединения ритуальных услуг.

В эпизодах: Швейцар, Переводчица «Интуриста», Милиционер в форме, Милиционер в штатском, младенец Гулька, а также кот Мурзик.

Портрет Надежды Константиновны Зайцевой (в девичестве Нездан) в возрасте около 30 лет. В финале портрет единожды шевельнется.

Действие происходит в Ленинграде.

Глава первая

§ 1

Ну-с, с чего начнем? Ежели классически: «Гости съезжались…» Тем более, гостей будет вагон и маленькая тележка. Или: «К нам едет ревизор…» Ревизия и живых и мертвых душ тоже предстоит…

А начнем-ка с дешевого, низкопробного штампа: древняя старушенция в этаком салопе и с берестяным коробом. И застряла она в стеклянных фотоэлектронных дверях шикарной гостиницы: не сработал на старушенцию фотоэлемент. А в салопе и с коробом она потому, что один штамп немедленно тянет за собой следующий. И в коробе окажется, конечно, кот.

Фон у старушенции планетарный — масса торопящихся японцев, малайцев, китайцев. А в планетарный фон вписано еще прелестное личико молодой женщины, которая глядит на застрявшую бабулю и смеется.

Швейцар. Мамаша, ты наш отель с Кузнечным рынком спутала?

Милиционер в форме. Электрика вызывай!

Милиционер в штатском. На загримированного террориста смахивает. Как бы в ее коробе магнитной бомбы не оказалось. Сапера вызывай, а электрика потом!

Старушенция *(вполне бесстрашно)*. Выросли ж такие балбесы! Распропала теперя моя бедная головушка! В коробе Мурзик, его соседка-ирод ногой стукнула, в животик, грыжа теперя, а ране сынок соседки глазок ему выколол — Мурзик по колидору кружит, кровь из его… Чтоб гвоздем-то ржавым кота-то в глаз!.. Житье у его хуже поповой собаки. Вот и ношу с собою…

Швейцар. На фарцовщицу вроде не тянет.

Прелестная молодая женщина *(толкает дверь)*. Эта бабушка к нам, в гости, номер семь, люкс! Я Стонер, Мэри!

Старушенция *(счастливо вырывается из стеклянной ловушки)*. Не Мэри ты, а Машка! Марья то бишь…

§ 2

Спальня в квартире Данилы Васильевича Зайцева. Старинные большие окна зашторены, свет интимный. Середина дня.

Данила Васильевич и Галина Викторовна прикорнули на тахте. Они в некотором неглиже. Мир и покой, чуть слышна томная музыка из приемника, на котором стоит женская туфля. Отвратный, жуткий звук, от которого и у мужественного человека душа уйдет в пятки. Галина Викторовна вскрикивает и просыпается.

Данила Васильевич. Черт возьми! Наконец пар дали!

Галина Викторовна. Боже мой! Милый, что это такое ужасное?! Иерихонский глас какой-то!

Данила Васильевич. Не делай из мухи слона, дорогая. Просто резонанс в трубах отопления. Вставать пора. Мне статью об альбедо сдавать, а ты тут…

Галина Викторовна. Погоди, погоди… Что же мне снилось?.. Да-да, как раз что-то иерихонское! Сперва масса сырой рыбы… Люди ее жадно хватают и несут куда-то в руках, в корзинах… Потом вижу кабана… или черного зубра? Не знаю… Нет, точно: кабан! Такой, как у тебя в холле висит, страшный, но свободно бродит по улицам города… Какой-то человек его убивает: одним ударом разрубает всего кабана… Я спрашиваю: почем будут мясо продавать?.. Потом начинается шествие, торжественное. И ты — впереди всех, мой милый, мой любимый, мой ласковый! (Обцеловывает Данилу Васильевича.) Весь этот год я каждую секундочку была с тобой, каждую!.. Но что бы этот иерихонский сон значил?

Данила Васильевич. То, что дневной блуд — это не ночной блуд. Вставай, дорогая!

Галина Викторовна *(очень покорно-послушно)*. Встаю, встаю… *(Встает, проходит к окну, отдергивает штору. Открывается вид на бурную Неву, становятся слышны проносящиеся по мокрой набережной автомобили. Галина Викторовна разглядывает себя в оконном отражении.)* Знаешь, милый, я уже в семь лет себя женщиной чувствовала, по пять чулок маминых сразу надевала… Ах, все проходит, как с белых

яблонь дым. Но правда, у меня фигура после родов ни чуточки не изменилась? Почему ты молчишь? *(Начинает одеваться.)* Боже, как я устала от двойной жизни!

Данила Васильевич. Зачем же ты ее опять начала?

Галина Викторовна. Я?!

Данила Васильевич. Но не я же пришел к тебе домой и сел к тебе на колени, черт возьми!

Галина Викторовна. Но это ты сказал, что не можешь без меня!

Данила Васильевич. Я имел в виду программиста ЭВМ и узкого специалиста по обсчету параметров атмосферы планеты Венера, моя дорогая. А ты… ты сделала из мухи слона…

Галина Викторовна. Ну вот ты его и имеешь опять, мой милый! Чего ты так испугался? Никто ничего не знает и не узнает… Смешно, но весь этот год, пока я рожала Гульку и мы не виделись, я ревновала тебя даже к Венере! А где наша чудная Лизочка? Почему ты снял Мону? Она так здесь красиво висела: над тахтой! Надеюсь, ты ее не совсем выкинул?

Данила Васильевич *(переворачивает подушки и валики)*. Ты мои носки не видела? Мона Лиза в кабинете за шкафом. Василий, когда ее увидел, так психанул, что в Бехтеревке оказался. Где же носки, черт возьми?!

Галина Викторовна. В ботинках. *(Выходит из спальни.)*

Данила Васильевич *(находит и надевает носки)*. Вот влип! У попа была собака, он ее убил… А куда мне без программиста, если американцы уже на холке сидят? Кто мне альбедо считать будет? Кто? Любишь кататься, люби и саночки возить — так мама говорила в подобных случаях. Вот тебе, пожалуйста: без пяти минут академик, а зависишь от какой-то… Ладно, хватит паниковать! На Эльбрусе не паниковал, а тут…

Возвращается Галина Викторовна. Она несет странный двойной портрет Моны Лизы: Джоконда в натуральном виде и в профиль. Профильное изображение сделано ЭВМ.

Галина Викторовна *(вешает Мону Лизу над тахтой)*. Значит, Василий Васильевич так психанул, что в Бехтеревке оказался? А хочешь, я тебе правду скажу? Он, конечно, необыкновенный человек и замечательный художник, но он очень плохо на тебя действовал. Нельзя вам с ним в шахматы играть! Сядут и играют, как пьяницы какие-то…

Данила Васильевич. Ты готова? И ты можешь понять, что я из-за тебя родного брата потерял? Я спрашиваю: ты готова?

Галина Викторовна. Куда?

Данила Васильевич. Иди, богом прошу, домой, к Гульке своему, да и к мужу. Я же говорю, у меня в печенках статья сидит,

а мы тут… лясы точим!

Галина Викторовна. Иду, иду! *(Звонок в квартиру.)* А вдруг это Башкиров?

Данила Васильевич. Нет, это не твой благоверный, это посыльный за статьей. Где халат, черт возьми?!

Галина Викторовна. Знаешь, он влюблен в тебя прямо по-мальчишески…

Данила Васильевич. Пожалуйста, не говори девочкиным голосом.

Галина Викторовна. Не упрекай меня в девочкиных интонациях. Да, мы, женщины, иногда впадаем в детство, но это же вид кокетства! Что это за женщина, которая не кокетничает? И почему ты, милый, пижаму не носишь? Такую прелесть тебе в Гренландии Башкиров купил — чистой воды Кристиан Диор…

Данила Васильевич. Не лезет Русь в пижаму, не лезет! Уж как ее туда времена и обстоятельства засовывают, а она не лезет! Не нравится Руси в полосатом! *(Идет на звонок в трусах и майке.)*

§ 3

Приемный холл в квартире Данилы Васильевича, над дверями огромное чучело кабаньей морды, по стенам другие охотничьи трофеи.

Входит А р к а д и й. Он с репортерским магнитофоном.

Данила Васильевич. Статья не готова! Передайте ответственному секретарю — пришлю завтра.

Аркадий. Здравствуйте, Данила Васильевич. Я не за статьей, я…

Данила Васильевич. Интервью? В пятницу после шестнадцати в обсерватории. До сви…

Аркадий. В какой-то степени интервью… В квартире еще кто-нибудь есть?

Данила Васильевич. А вам какое дело?

Аркадий. Все безумно интересно, гражданин Зайцев! Я со Смоленского кладбища. У нас инвентаризация, и тут как раз появляется эта англичанка… Ваша мама под девичьей фамилией похоронена?

Данила Васильевич. Да, то есть нет… Позвольте! Что: могила запущена?.. Какая инвентаризация?

Аркадий. Нет-нет! Могилка ухоженная, но тут произошла удивительная вещь. У вас телефон отключен? Я так и понял. Пришлось без предупреждения — время не ждет… Мы с вашей сестрой, ну, с английской подданной…

Данила Васильевич. У меня нет сестер! Кто вы такой, черт побери!

Аркадий. Вы Данила Васильевич Зайцев? Главное — не волнуйтесь. Телефон отключен? Не бойтесь, я не из КГБ.

Данила Васильевич. Да, то есть нет, вообще-то да, а какое вам дело до моего телефона, если вы не из КГБ?

Аркадий. В квартире еще кто-нибудь есть?

Данила Васильевич. Да, то есть нет, а…

Аркадий. Все безумно интересно, Данила Васильевич! Итак, я со Смоленского кладбища.

Данила Васильевич. Молодой человек, я об этом уже слышал.

Аркадий. У нас инвентаризация, и произошла удивительная вещь. Вы только не волнуйтесь. Мама под девичьей фамилией захоронена? Запущенная могилка, запущенная, но не в том дело. В бесхозную я ее теперь списать не дам.

Данила Васильевич. Простите, какая инвентаризация? А за могилку я заплачу, конечно, я готов хоть сейчас. Что: крест покосился?

Аркадий. Зовите меня Аркашей. Мы теперь с вами родственники. Главное — не волнуйтесь! Тут удивительное совпадение, удивительное!

Данила Васильевич. Кто вы такой, черт побери?!

Аркадий. «Фауста» читали? Или, например, «Гамлета»? Могильщик я. Первым номером работаю. Первый — который в головах. Но не в том суть. Я, вообще-то, гуманитарий, философский факультет закончил…

Выходит Галина Викторовна, она уже полностью одета, подкрашена.

Галина Викторовна. Даня, ты понимаешь, что это сумасшедший?

Данила Васильевич. Начинаю догадываться.

Аркадий. Нет-нет, но если наш общий предок убивал Распутина, то… И зовите меня просто Аркашей. Итак, могильщик я. Первым номером работаю: первый, который в ногах, а второй и третий номера — в головах, но не в этом суть. Я, вообще-то, повторяю, гуманитарий, философский окончил. Вы не волнуйтесь! Выяснилось, что ваш двоюродный дед по отцу, то есть родной дед вашего внучатого брата, принимал участие в убийстве Распутина, а вообще корни уходят — по внебрачной линии к Ивану Калите или к Ивану Грозному. Лже-Дмитрий…

Данила Васильевич. Мне кажется, вы делаете из мухи слона! *(Молниеносным движением выворачивает пришельцу руку за спину.)*

Аркадий. Полегче, полегче, Данила Васильевич! Это же все по боковой линии! Знаете, что значит «боковая»? И никто в наше время не знает…

Данила Васильевич. Галя! Иди сюда! Я его держу!

Аркадий *(в зал, продолжая находиться в скрюченной позе)*. Товарищи-зрители, дамы и господа! Пожалуйста, не волнуйтесь за меня. Он действительно мастер по альпинизму и собственноручно этого кабана чпокнул, но я каратист, самбист и дзюдоист — без этого в наш суровый век на кладбище не устроишься. И так могу сейчас лягнуть его своей правой ногой в левое ухо, что этот венеролог улетит в суфлерскую будку. Но это не входит в мои расчеты. Да и в ваши. За искусство всегда страдают. Претерплю некоторые муки и я…

Данила Васильевич *(показывает Галине Викторовне на телефон)*. Набери ноль три! Что ты делаешь?! Включи сперва штекер! Он же отключен!

Галина Викторовна. Не кричи на меня! Ты же знаешь мою особенность! Когда на меня орут, у меня сразу слабнут ноги и я сажусь на что попало! *(Садится в кресло.)* Один раз я села даже на электрокамин в кабинете большого начальника… *(В зал.)* И тогда даже самому свирепому и разъяренному начальнику ничего не остается, кроме как продолжать со мной смиренно препираться: мне же и на самом деле не встать, потому что ноги не держат. Ну, а в конечном результате — любой начальник сдается! *(Наконец включает телефон, который сразу звонит. Одновременно звонок в дверь.)*

Аркадий. Вы, Данила Васильевич, берите трубочку — это вам из «Интуриста» или из «Инюрколлегии» названивают. Вы, мадам, открывайте дверь — это Ираида Родионовна меня внизу заждалась и прорвала охрану,— замечательная старуха! Не хуже вашей дежурной по вестибюлю: сцепились — святых выноси… Геральдист высокого ранга, ибо возле кладбищенской церкви бумажными цветами подторговывает…

Данила Васильевич. Сядь в угол, трепло. Сейчас из тебя последнюю пыль выбивать буду. Галя, дверь не открывать!

Данила Васильевич отпускает Аркадия, берет трубку. Аркадий покорно садится в угол, включает репортерский магнитофон.

Телефон. Уважаемый Данила Васильевич! Из «Интуриста» беспокоят. Вы крупнейший ученый, и это мы, конечно, знаем. Но все-таки нас интересуют ваши жилищные условия. На встрече настаивает госпожа Розалинда Оботур, канадка, член Всемирного Совета мормонов. Какая у вас общая кубатура? Мадам хочет видеть вас в домашней обстановке.

Данила Васильевич. Кубатура нормальная, но вы делаете

какого-то слона из мухи. Я занимаюсь атмосферой Венеры, а не религией. Какие мормоны? Я их с мормышкой спутаю. Бред! Кафка! Мюзик-холл.

Телефон *(сквозь смех)*. Мы знаем, что вы остроумный человек, мы вас по «Очевидному-невероятному» знаем. Прием простой — а-ля фуршет. Переводчик вам, конечно, не нужен? Да и ее дочь говорит по-русски. Они будут в девятнадцать. Спасибо. До свидания.

Данила Васильевич. Этого не хватало! Мне статью сдавать…

Галина Викторовна. Даня, давно пора привыкнуть, что ты не только ученый, но и выдающийся общественный деятель. Вероятно — борьба за мир.

Телефон звонит опять. Данила Васильевич берет трубку.

Телефон. Товарищ Британишский у вас?

Данила Васильевич. Кто?

Аркадий. Это *я*.

Телефон. Госпожа Стонер уполномочила товарища Британишского выполнять все свои капризы. Он несколько импульсивный человек, но вполне надежный сотрудник кооперативного Объединения ритуальных услуг.

Данила Васильевич. Спасибо, хотя я ничего не понял. *(Кладет трубку.)* Ну-с, Фауст, чем могу служить?

Аркадий. Это *я к.* вашим услугам по розыску любых родственников.

Данила Васильевич *(орет)*. Нет у меня родственников! Ни здесь, ни за границей! Только брат! И я забыл, когда его видел!

Аркадий. Скоро увидите.

Опять звонок в квартиру.

Галина Викторовна. Даня, я все-таки открою?

Данила Васильевич. Да. И… это… у тебя губы криво подкрашены!

§ 4

Галина Викторовна вводит старушенцию с коробом и в салопе.

Аркадий. Ираида Родионовна Ильенкова. Наше кладбище — самое почтенное в Ленинграде. У нас и няня Александра Сергеевича упокоена. Только никто знать не знает — где: не любопытны и ленивы. А я — новое поколение: и не ленив, и любопытен!

Ираида Родионовна. Ой, жывут харашо! А енто что за морда? *(Крестится на чучело кабана.)*

Звонит телефон. Данила Васильевич берет трубку.

Телефон. Приветствую вас, коллега! Моя супруга к вам не заходила? Гульку кормить надо, а она пропала. Волноваться начинаю: наводнение…

Данила Васильевич. Не делайте из мухи слона, коллега. Меня больше Эванс волнует: статья застопорилась, а Галины Викторовны не было. Жду вас с ней вечерком.

Галина Викторовна *(шепотом)*. Скажи: по всему городу арбузы продают, она, верно, за ними стоит.

Данила Васильевич. По всему городу, коллега, арбузы продают. Наверное, в очереди стоит. Теперь о деле. Хотя из-за кривизны поверхности Венеры оптическая толщина слоя должна увеличиваться к лимбу… *(Вопль из короба Ираиды Родионовны.)* Что у вас там, бабушка?

Ираида Родионовна. Сесть-то пригласи. Девять десятков с хвостиком да еще с коробом таскаюсь… Он, Мурзик, лихонько мое, там бултыхается…

Данила Васильевич *(продолжает говорить в телефон)*. В первом приближении, Эдуард Юрьевич, альбедо учитывать не будем. А секретарю я сам скажу, чтобы текст — «автор глубоко благодарен профессору Башкирову и доценту Башкировой за предварительный обсчет излагаемых идей» — был набран нонпарелью. До вечера!

Ираида Родионовна усаживается в кресло, короб ставит рядом, говорит одновременно с Данилой Васильевичем.

Ираида Родионовна. Его соседка-ирод ногой ударила, в животик, грыжа теперя. А раньше сынок соседки глазок выколол — Мурзик по колидору кружит, кровь из его… *(Снимает нечто вроде поневы, кладет на короб.)* Так бултыхания-то Мурзика и вовсе не слышно будет. Чтоб гвоздем-то ржавым кота-то в глаз!.. *(Даниле Васильевичу.)* Чего ж ты голый живешь? Не простудишься?

Галина Викторовна. Даня, оденься!

Данила Васильевич уходит в спальню.

Ираида Родионовна *(Галине Викторовне)*. Дремливая я старушка, от диабету лечусь. А дедушка его, муженька твоего, царствие ему небесное, бывало, ущипнет меня в темном уголке и еще прикрикнет: «Не балуй, Родя!» Ох и озорник был! Твой-то на него — вылитый! — похож.

Галина Викторовна. Вы находите?

Пауза. Аркадий заглядывает во все двери.

Аркадий. Галина Викторовна, а что там за штука висит? Странный фотомонтаж.

Галина Викторовна. Это профиль Моны Лизы, а не штука.

Профиль рассчитала ЭВМ по ее фасу. Под моим, молодой человек, руководством. Для ЭВМ нынче такое — раз плюнуть. Я могу заложить в машину фото вас — новорожденного, а через пару минут получите свое изображение в гробу в столетнем возрасте. Хотите?

Аркадий. Право дело, покойники в жизни надоели. А скажите, есть в женщинах бес? Ну, «частица черта в нас заключена подчас»?..

Галина Викторовна. Да, несомненно. Помню, занесло как-то в Печорский монастырь на экскурсию.— Монах там был один, молодой, строгий… Ну, это к делу не относится.

Аркадий. У вас пудель или сенбернар? Скорее, мне кажется, пудель.

Галина Викторовна. Не угадали. Как раз сенбернар. Ромул зовут.

Аркадий. Тогда вы, вероятно, любите классическую литературу. Много романов читаете?

Галина Викторовна. Какой вы, молодой человек, любопытный! Тогда знайте, что женщины устают от чтения быстрее мужчин. В свободные дни я читаю художественное по утрам. Утром мы — меньше женщины, нежели вечером.

Аркадий. Данилу Васильевича очень любите?

Галина Викторовна. Что это значит, молодой человек? У нас с ним чисто деловые отношения.

Аркадий. Не надо, Галина Викторовна. Я порядочная субретка, не лгите по-пустому.

Галина Викторовна. Я никогда не лгу. И как прикажете понимать «субретку»?

Аркадий. Субретка — веселая плутоватая горничная, посвященная в секреты госпожи; традиционный персонаж европейской драматургии шестнадцатого — восемнадцатого веков. Ну, а женский бес в вас есть?

Галина Викторовна. Бес? Подождите, подождите, дайте сообразить. Какой-то монастырь помню… под Суздалем… действующий — все чин по чину и купола блестят… А какое вам дело?

Аркадий. Во мне тоже есть черти, но язык за зубами держать умею. Так что там с монастырем? Вы не договорили.

Галина Викторовна. Ерунда. Просто я тогда очень отчетливо почувствовала в себе женского беса. Прямо он во мне так и заизвивался! Помимо всякой воли! Монах там был в монастыре один, молодой, строгий, истовый такой. Боже, как захотелось его с панталыку сбить! Я уж и так, и этак — в разных ракурсах, как сказал бы академик Баранцев.

Аркадий. И не получилось?

Галина Викторовна. Нет. Я никогда не лгу. Этот дурак плюнул в клумбу и ушел от соблазна в кусты. Только я точно знаю: снилась я ему всю ночь до самого утра в самых разных ракурсах. Тем и утешилась. Но это уже давно было. Да, все проходит, как с белых яблонь дым…

Аркадий. А Данилу Васильевича безумно любите?

Галина Викторовна. Да! Безумно! Он так одинок в душе!

Аркадий. Вероятно, вы правы. Он производит впечатление тонкой натуры. Незащищенность, нежность его души…

Галина Викторовна. Вы ничего не понимаете в людях, молодой человек! Может быть, вы разбираетесь в покойниках, но это уже не люди. Данила Васильевич — нежная натура! Да он может телефонную трубку не снимать, даже если телефон полчаса звонить будет ему в самое ухо! Он чудовищно толстокожий и волевой! А вас, Аркаша, я раньше нигде видеть не могла?

Аркадий. Только во сне.

Галина Викторовна. Точно! Мне приснилось, будто от Александровского сада размашистой и уверенной походкой направляется на Невский проспект человек. То ли турок, то ли рыцарь. Несколько грузный, но высокий. В бархатных коричневых одеждах. То ли костюм средних веков, то ли обычная одежда. Идет он, обходя людей, быстро, но четко. И, дойдя до здания Казанского собора, выбрасывает неожиданно высоко в небо черный флаг. На высоком древке, тонком-тонком, оно даже сгибалось. Но из стали. И флаг взвился на солнце, и на нем стали видны серебряные буквы. А какие — я не разобрала. Много слов. Может, по-русски, может, по-старославянски, может, по-латыни. Не помню. В этом флаге не было угрозы, но он был неожиданным и страшным явлением. А делал все это человек в бархате спокойно, будто в своем он был праве. Так я и проснулась. А флаг вился так высоко, выше Казанского собора. Древко гнулось, но было видно, что сломаться ему не суждено. Сталь блестела на солнце. И это были вы!

Аркадий. Я и без таких возвышенных комплиментов молчать умею.

Возвращается Данила Васильевич. Одет строго и элегантно.

Данила Васильевич. Прошу всех пройти в кабинет. Надо кое-что уточнить.

Все проходят в кабинет. Просторная комната с балконом-фонарем на Неву. Масса книг, глобус Венеры, заграничный телерадиокомбайн, в углу рояль.

Аркадий. Вчера у могилы вашей матушки Надежды Константиновны Зайцевой, по девичьей фамилии Нездан, я встретил молодую леди — очаровательное существо! Она привезла локон своего отца на могилу вашей матушки. Они — Сергей Павлович Оботуров и ваша матушка — любили друг друга, как Ромео и Джульетта. Молодую леди зовут Мэри. Фамилия Стонер. Я отговорил ее оставлять локон на могиле: сопрут — он в красивой коробочке.

Данила Васильевич. Какое все это имеет отношение к борьбе за мир?

Аркадий. За мир борется ее мать Розалинда Оботур. То есть Оботурова. Вам эта фамилия ничего не говорит?

Данила Васильевич. Ничего.

Аркадий. Род Оботуровых ведет свое начало от Симеона Оботурского, который в пятнадцатом веке выехал из Польши к московскому великому князю Василию Темному и со своей дружиной поступил к нему на ратную службу.

Данила Васильевич. Давайте что-нибудь поближе к суровым будням нашей действительности. Галина Викторовна, этот тип не буйный. Вы можете идти домой.

Галина Викторовна. Иду, иду. Но, может быть, кофе сделать?

Аркадий. Ближе к действительности Ираида Родионовна расскажет. Ну, Родионовна, валяй!

Ираида Родионовна. В девяносто втором году, эт, проживала я Невский проспект, сто семьдесят три, в услужении, а твоя бабушка, Данила Сергеевич, меня очень любила, угощала сластями…

Данила Васильевич. Я не Сергеевич, а Васильевич. *(Начинает покручивать глобус Венеры.)*

Галина Викторовна. Данила Васильевич, не разрешайте вас тыкать!

Ираида Родионовна. На все воля божья, милай, может, Василич, а может, Сергеич. Так, эт, Мария Павловна в праздники подарки мне делала, а я каждый день носила по квартирам молоко, сливки, творог свежий…

Данила Васильевич. Бред. Кафка. По отцу я второе поколение питерских обывателей.

Ираида Родионовна. Летом ваша бабушка, Данила Сергеич, просила меня погулять возле сквера, где мамки возили в колясках детишек…

Аркадий. «Мамками» тогда нянек звали.

Ираида Родионовна. Затем, посмотрев, как мамки возят Сереженьку, я должна была пойти к старой барыне и сообщить,

как Сереженька мне улыбается. А она тогда угощала меня пастилой фруктовой… *(Засыпает.)*

Аркадий *(торжественно)*. Этот Сереженька — ваш, уважаемый венеролог, истинный отец! Вы — внебрачный сын Сергея Павловича Оботурова. Розалинда Оботур вам, как бы это половчее сказать, приходится мачехой. Мэри Стонер — единокровной сестрой!

Данила Васильевич. Ну и что?

Аркадий. Как «что»? Неужели все это вам не интересно?

Данила Васильевич. Абсолютно не интересно.

Галина Викторовна. Данила Васильевич не историк. Диссидентов тут не хватало!

Данила Васильевич. Причем тут диссиденты, Галина Викторовна? Пожалуйста, не вмешивайтесь.

Аркадий. Да вы понимаете, что в ваших жилах течет кровь Василия Темного?! И что через два часа вы увидите свою родную сестру?!

Данила Васильевич. Ну и что?

Галина Викторовна. Сколько всего будет гостей?

Аркадий. Человек десять. Это с мертвыми душами. А живых всего душ пять придет.

Данила Васильевич. Куда придут?

Аркадий. Сюда.

Данила Васильевич. А зачем, собственно говоря, они сюда придут?

Аркадий. Моими усилиями из пепла возникает род, понимаете это? Как феникс!

Данила Васильевич. Так. Со старушкой ясно. Я должен ей трояк. Нет. С чаевыми пятерку. Но вам-то что от меня надо?

Аркадий. Я собираюсь стать драматургом. И вижу в ситуации, которая создается нынче вокруг вас, сюжет потрясающей пьесы.

Данила Васильевич. Даже если вы умеете из комара делать слона, драмы Аристофана здесь не увидите. *(Надевает очки и вглядывается в Ираиду Родионовну.)* Удивительная старушенция! Спит сидя и не храпит!

Аркадий *(к зрителю)*. Хладнокровный мужчина! Один-единственный незваный гость уже хуже татарина, а на него сейчас татаро-монгольское нашествие обрушится. Сразу видно, что предок Данилы Васильевича Казань брал…

Галина Викторовна. Старушка, конечно, славная. Лет через десять ее в вашей пьесе хорошо Наталья Гундарева сыграет, но не помешает ли она протоколу приема иностранцев?

Аркадий. Куда без театральной старухи денешься, Галина

Викторовна? Для колорита нужна бабуля.

Галина Викторовна. А вы, верная субретка, пыль вытирать и бутерброды делать умеете? Прислуга на выходных. И за ананасами сбегать придется.

Аркадий. Бегать не надо: у подъезда моя машина. Данила Васильевич, диктофоном пользоваться можно?

Данила Васильевич. Хоть бульдозером. *(Садится к пишущей машинке и углубляется в работу.)* «Итак, зададимся вопросом: оценивались ли в докладе господина Эванса подобия скорости вертикальных конвективных движений в атмосфере Венеры и каковы все-таки эти скорости?..»

§ 5

Галина Викторовна и Аркадий уходят.

Данила Васильевич работает. Ираида Родионовна спит. Кот Мурзик никаких признаков жизни не подает. Хорошо слышно, как, разбрызгивая лужи, по набережной проносятся автомобили: «Вших-вших…»

Является Маня, она лижет мороженое.

Маня. Здрасте!

Данила Васильевич не узнает ее, надевает очки.

Маня. Я, дядя Данила, Маня, ваша племянница.

Данила Васильевич. Маня? Неужели так выросла? Сколько же мы не виделись?

Маня. Как вы с отцом поссорились, так и не виделись. Года два.

Данила Васильевич. Ах, да-да… Последний раз мы поссорились, когда он… Точно! Вспомнил! Он проиграл мне шесть партий в шахматы подряд. Последнюю продул киндерматом и заявил, что я украл у него туру! Как он: здоров?

Маня. Да, спасибо, здоров… Только немного встревожился, когда этот могильщик приехал. Он с минуты на минуту будет.

Просыпается Ираида Родионовна, зевает, трет глаза.

Ираида Родионовна. Хорош цветик! Личность твоя, дите ласковое, белая — живи долго!

Маня. И что за народ? Увидят — и все, как один: «Ах, как выросла!», «Ах, какой цветик!» С души прет! Что ж, мне не расти и не расцветать прикажете, что ли?.. Дядя Данила, это и есть наша новая родственница?

Данила Васильевич. А черт ее знает.

Ираида Родионовна. Такой старой, милая, как я, только дедушка не внук.

Маня. Мороженого хотите, баушка?

Ираида Родионовна. Давай, милая, побалуюсь. В ём, верно, сахарин один, а то от диабету лечусь. *(Опять засыпает.)*

Маня. Дядя Данила, вы бы убрали куда подальше Мону Лизу. Папка ее увидит — опять психанет, и у вас контакт не получится, а мне расхлебывать.

Данила Васильевич. Не делай из мухи слона… Хотя… Ты, конечно, права. Лучше снять ее к чертовой матери. Займись-ка вот. Может, тогда перестанешь мороженое лизать. Терпеть не могу, когда девицы мороженое лижут!

Маня *(продолжает лизать мороженое)*. У вас, дядя Данила, тоже нервы пошаливают.

Данила Васильевич. Прости, Маня. Мне статью сдавать, а тут… Как у отца с работой? Пишет что-нибудь или у пустого холста сидит?

Маня пододвигает к стене книжную стремянку, забирается на нее и начинает снимать Мону Лизу.

Маня. Талдычит все, что если Андреа Верроккьо, увидевши себя превзойденным работой ученика, бросил живопись, то ему и подавно…

Данила Васильевич *(продолжает печатать на машинке)*. «Длительные вспышки в атмосфере Венеры, схожие со знаменитыми зелеными лучами на нашей планете, объясняются Н. А. Козыревым большой рефракцией…» А кто этот Андреа Верроккьо?

Маня. Учитель Леонардо.

В холл входит Василий Васильевич, тщательно вытирает ноги о коврик и пытается закрыть зонтик, который не закрывается. Василий Васильевич невольно слышит последние фразы и болезненно морщится. Так и не справившись с зонтиком, входит в кабинет.

Василий Васильевич. У тебя двери нараспашку! Можно подумать, в доме покойник! *(Смеется.)*

Данила Васильевич *(заметно пугается)*. Типун тебе на язык, Вася!

Василий Васильевич. Шучу-шучу! Выглядишь ты превосходно. И тебе идет седина.

Данила Васильевич. Когда увидишь меня в крематории, тоже скажешь, что я выгляжу превосходно. Хватит дурака валять. Если заявился сюда сам, то что-то знаешь из происходящего? Какие у нас иностранные родственники?

Василий Васильевич. Ничего я не знаю. Скоро Варвара приедет. Вот она что-то знает. И какие-то письма у нее есть. Всполошилась Варвара и оживела — прямо двадцать лет скинула.

Но мне ничего говорить не стала. Только нам обоим… тайны семейных глубин…

Данила Васильевич. Прости, брат, но какая это Варвара?

Василий Васильевич. Так у нас одна двоюродная сестра и осталась на свете — дочь младшей сестры мамы, тети Лизы. Ты и ее забыл?

Данила Васильевич. Я думал, она…

Василий Васильевич. Свинство, брат, свинство. Жива она, жива курилка! Ослепла только. В прошлом году еще солнце видела на просвет, а сейчас — ничего.

Данила Васильевич. Ну, я рад, рад, что она жива… А… как же она живет-то, если слепая? Одна?

Василий Васильевич. Она с Бертой Абрамовной сосуществует. Они боевые подруги, вместе на фронте были.

Данила Васильевич. Деньгами ей помочь не надо? Действительно, свин я порядочный, совсем от земной действительности оторвался!

Василий Васильевич. Деньги никому не помешают. Только она не возьмет. Она самостоятельность любит. Два раза в неделю массажисткой работает. На дом к ней больные приходят. У слепых особая чувствительность в пальцах, а у арфисток на пальцах мозоли. Слушай, Даня, а где портрет?

Данила Васильевич. Какой? Нет здесь никаких портретов!

Василий Васильевич. Да я не про Джоконду! Я про свой портрет.

Данила Васильевич. Твой? Подожди минутку — у меня голова кругом…

Маня. Папа спрашивает про тот портрет, который он писал. Там баба Надя в вечернем платье у рояля.

Данила Васильевич. Ах, про этот! Маня, если не трудно, посмотри за книжными стеллажами…

Василий Васильевич. Нашел местечко! Лучшая моя работа, она еще в Прадо и Лувре мерцать будет!..

Данила Васильевич. Нет-нет, не за стеллажами! В темной комнате, где экспедиционные вещи хранятся. Боюсь портретов, даже когда они прямо в глаза не смотрят. Манечка, если тебе не будет трудно, принеси его… И когда у нее мороженое кончится?

Василий Васильевич. Какое тебе дело до мороженого моей дочери? Заведи свою, тогда цепляйся! Мать в чулан засунул, а? Дать бы тебе оглоблей по шее! Суслик венерический!..

Маня. Папа! Папочка! Успокойся! У тебя уже руки трясутся! И чего ты взъелся? Здесь же не Прадо, не Лувр и не Третьяковская галерея, чтобы твои шедевры развешивать! *(Уходит за портретом.)*

Данила Васильевич. А чего у тебя, действительно, руки трясутся?

Василий Васильевич. От бешенства. Такое дурацкое дело! Иду, понимаешь, по Большому к Варваре. Там, у «Сатурна», книжный лоток. И такой гадко-мерзкий старикашка торгует. Вечно одергивает покупателей, которые еще хуже него одеты. Хоть и торопился, а нос в какую-то книжку сунул, листаю, вижу там какое-то обо мне упоминание — редчайший случай! А денег купить — нет… С собой нет… Старик мне: почему книгу в перчатках трогаешь? А ну сыми перчатки! Я ему про то, что люди ценные вещи голыми руками не трогают; в перчатках, говорю, живодер-хирург-паталогоанатом будет тебе харакири в морге заделывать. Старикашка пытается у меня книгу выхватить. Окружающие мещане в помощь ему на меня бочку: невежда, сыми перчатки, руки грязные, немытые — вот и считаешь, что в перчатках чище; наехали с дяревни, книги пачкают и те де. Я молчу, книгу листаю, ищу: вдруг где в примечаниях еще мое имя сверкнет. Рядом здоровенный тип сопит и вдруг цедит мне, ты, мол, говорит, хулиган и дерьмо. Усы седые, ежиком, авоська с тортом, под шестьдесят, но крепкий, этакий енерал или полкаш в отставке на больших хлебах. Я сквозь душу его «хулиган и дерьмо» процеживаю, раздумываю: обижаться всерьез или нет? А продавец изловчился и — хвать у меня книгу. Енерал заторжествовал: «Правильно! Так этих фулиганов учить надо! Видите, люди добрые, я его дерьмом обозвал, а он только утерся!» У меня правая рука-то больная: вчера раму сколачивал и гвоздем из пальца клок вырвал, потому, между прочим, и в перчатке. Н-да, смотрю я на полкаша — здоровенный питекантроп, рожа упитанная, гладкая. И вдруг, брат ты мой любезный, ловлю себя, что боюсь! Боюсь, как бы он мне, если по рождению человек смелый, в рожу первый не звезданул — больно уж позорно в мои годы на публике в осеннюю лужу шлепнуться. Ну, а дальше, сам знаешь. Мы с тобой, конечно, не герои, но и пугать нас долго нельзя…

Данила Васильевич. До чего же мы с тобой в чем-то похожи!

Василий Васильевич. Кое в чем мы, братец, ясное дело, похожи. Помнишь, как пацанами друг за друга заступались? Спиной к спине станем и в девятом проходном дворе насмерть от шпаны отмахиваемся…

Данила Васильевич. Да… а потом дома между собой продолжаем — до полного изнеможения, пока мать с работы не вернется… Ладно, дальше валяй.

Василий Васильевич *(берется за голову)*. О чем я? Ах да, о Леонардо?.. С молодости страсти уже владели мною. Страсть к

живописи, она была мучительнее и упоительнее любовного томления. И — заскок-с! Да-с! Заскок-с! Мона Лиза! Прекрасное лицо этой женщины… Ужасная улыбка, полная отчужденности… Мне нужен был… Я должен был вполне овладеть ею! И для того должен был иметь ее профиль, профиль ее лица! Я! Я первый должен был свернуть эту ужасную физию на сторону!

Данила Васильевич. Опять, Василий, делаешь из мухи слона! Успокойся за ради бога. Ну, не приходит же мне в голову заставить планету Венеру вертеться в другую сторону, ежели я ею обладать хочу!? А что ты дальше с полкашом сделал? Врезал ему?

Василий Васильевич. Поволокли бы в участок, а за таких отставников… Да и ты, знаю, ждешь. Нет, не врезал, наоборот, вдруг меня на вежливость и выдержку повело. Я енералу говорю, уважаемый гражданин, прошу вас, давайте адресами и именами обменяемся, чтобы выяснить потом без спеха и лишних зрителей наши личные отношения. Я, говорит, общаться с хулиганом, нахалом и хамом не собираюсь. И поворачивается своей широкой спиной, идет по своим делам, тортом в сетке помахивает. Я за ним. Он головы на две меня выше. Вежливо и выдержанно говорю ему в спину: «Глубокоуважаемый товарищ, я ведь от вас не отстану, я вас день весь следить буду, выслежу и адрес узнаю, и фамилию вашу. Я ведь вор в законе». Он: «Отстаньте! Я милицию позову!» Очень, говорю, хорошо, именно милиция меня и устроит, вы нецензурно выражались на улице, а я не только вор в законе, но прямое отношение к печати имею, послезавтра, говорю, вы о себе фельетон в газете прочитаете. А у меня, действительно, старая визитка есть, когда я еще в «Вечёрке» гравюрки мазал. Он молчит, но я по спине вижу: насторожился, чинопочитание-то всякое в них на века вбито. Эге, думаю, доведу гада до инсульта или инфаркта…

Данила Васильевич. До чего же мы с тобой все-таки похожи!

Василий Васильевич. Кое в чем, ясное дело, похожи, а кое в чем… Ладно. Он — в мебельный, я — за ним. Он — в овощной, я — за ним. Он — в канцелярский, я — за ним. Он по тротуару — я рядом пристраиваюсь, а народу на Большом уйма; как бы, думаю, он в каком магазине через заднюю дверь не ушел…

Данила Васильевич *(скрывая зевок)*. Позвонил бы мне из автомата.

Василий Васильевич. Мелькнула такая мыслишка, но из виду упустить боялся.

Данила Васильевич. Жаль, прямо зуд в кулаках на твоего полкаша.

Василий Васильевич. Останавливается он как раз у телефонной будки, там женщина звонит, он ждет. Это уже хуже,

думаю, если он какого-нибудь сынка на подмогу вызовет. Нет, женщина выходит, а он в будку не входит. Оказывается, троллейбус ждал. Подходит первый номер. Он в него. Я тоже, пятнадцать копеек не пожалел — бросил в кассу — других не было. Соплю ему в спину, говорю очень тихо и вежливо: «Голубчик, говорю, уважаемый товарищ, ведь вы, судя по вашей сеточке и домашнему виду, где-то тут на Большом живете, зачем же вам с тортом на Невский? Я ведь тут как тут и никуда не отстану». Он садится. А на мое счастье за ним тоже местечко освобождается. Ну, я тоже сажусь — прямо ему в затылок. Едем. Положение, конечно, глупое, потому что я знать не знаю, как всю эту историю заканчивать. Одна только мысль — затылок-то у него багровеет — доведу, думаю, тебя, скотина, до инсульта или инфаркта. У Льва Толстого много народу вышло и место рядом с полкашом освободилось. Ну, я подумал и пересаживаюсь к нему, к моему родимому, малюсенькое местечко для меня оставалось — здоровенный в заду питекантроп. Подсаживаюсь и говорю очень вежливо: «Ведь вы уже успокоились, давайте тихо-мирно познакомимся, мне очень хочется узнать, кто это в нашем городе-герое нецензурно в общественных местах выражается…» Он шипит, уже с придыханиями: «Я с нахалами, сумасшедшими и ворами не знакомлюсь! И нецензурно не выражался!» Вижу, он меня впрямь за сумасшедшего принял и уже полные штаны наложил. «Ну, а милосердие-то у вас есть? — спрашиваю.— Человеколюбие-то? Ежели вы меня сумасшедшим почитаете, так и проводите, пожалуйста, в психдиспансер».— «Я вот тебе сейчас как звездану!» — шипит он уже еле слышно. «Хе-хе-хе,— гадко так хихикаю я.— А пятнадцать суток хотите в холодной?»

Данила Васильевич. Есть в тебе все-таки смердяковщина.

Василий Васильевич. И в тебе, хе-хе, есть. Проехали Биржу, через Дворцовый едем. Как он перед очередной остановкой привставать начинает, я тоже сразу вскакиваю: «Прошу, уважаемый, вперед, а я уж за вами!» И вообще очень культурно себя веду, беременной гражданке место предложил; она, правда, отказалась. Затем я кепочку снял, удобно так сижу, в перчатках. Когда народу набилось, я на весь вагон, громко так говорю: «И не стыдно вам? До седых висков дожили, а по карманам лазаете у порядочных людей».— «Чего?!» — орет он. «А то, говорю, что трус вы! Самый полный вы трус! Не стыдно?!» — «Он сумасшедший,— говорит питекантроп,— он меня преследует! Граждане, помогите его в милицию!» — «Об том и мечтаю, говорю, давай у Казанского выйдем, я здесь близко отличный участок знаю!» И опять ему свою визитку сую. Он от нее как черт от ладана. Перед Казанским опять встает. И я встаю, надеваю кепочку. Если, думаю, он в

подворотню шмыгнет или в парадную, чтобы там со мной тет-а-тет разделаться, то я ему первый колено в мошонку суну и проходными дворами удеру, уж у Казанского-то мы с тобой все дырки знаем. Он вроде серьезно выходит, я тоже, он вдруг назад, а меня вперед протолкнул, сзади напирают, чувствую, вылетаю! — сдержал все-таки напор, задержался на секунду, шепчу ему в лицо, близко: «А помирать-то тебе, кролику трусливому, не тошно будет?» Очень вежливо сказал и вылетел на тротуар, жду, выйдет или нет? Нет, не вышел, уехал. Помахал я ему ручкой и дух перевел. Трудное дело эта язвительная смердяковская вежливость, а, братец?! И. ведь, знаешь, я точно чувствую: он сейчас с приступом лежит и зубами от ненависти скрипит…

Данила Васильевич. Больше всего мне нравится, как вы с ним рядком в троллейбусе сидели. Трусил, когда к нему подсаживался?

Василий Васильевич. Нет. Я уже холодный был от ненависти.

Данила Васильевич. Ну, а честно: из троллейбуса выпихнули или самому вся эта бодяга надоела?

Василий Васильевич. Все-то ты про меня знаешь и понимаешь! И приврать невозможно! Нет, не выпихнули. Сам вышел. «Кроликом» точку поставил и вышел — что ж мне с ним — весь день кататься? Да и про то помнил, что ты здесь меня ждешь и подпрыгиваешь.

Данила Васильевич. Да почему ты думаешь, что я тебя ждал?! И какое все это твое приключение имеет ко мне отношение? И вообще дурацкое, скажу тебе, приключение. Трудно представить какого-нибудь серьезного человека в твоем амплуа. Это, знаешь, как представить Эйнштейна, который преследует Уиттекера за его дрязги с приоритетом… Во всяком случае, запомни, что со мной бесполезны твои истерические выходки и твое вечное делание из любой мухи слона. А это единственное, что ты умеешь делать с удовольствием, талантливо и хорошо.

Василий Васильевич. Не отвертишься, братец, от жизни. На этот раз не выйдет! Именно тебе нынче никакие интриги не помогут, а вот ты-то единственно что и умеешь, так это их делать с удовольствием, талантливо и хорошо.

Братцы становятся друг перед другом в боксерскую стойку.

Просыпается Ираида Родионовна.

Ираида Родионовна. Что за шум, а драки нету?

Василий Васильевич *(глотает какую-то таблетку)*. Прости меня, брат, прости!

Данила Васильевич. Вечно ты делаешь из мухи слона!

Ираида Родионовна. Старший-то брат моложаве младшего глядит… Значит, ты Василий будешь?

Василий Васильевич. Где я вас, бабуля, встречал? Глядел, пока вы дремали, и думал, да не вспомнить никак. Красненькое что-то, с зеленым.

Ираида Родионовна. Возле Смоленской церкви, ежели к Надежде Константиновне ездишь. А вот загадку вам загадать? Кто первый отгадает! Что такое: тыща братьев одним поясом подпоясаны, на мать поставлены?

Данила Васильевич и Василий Васильевич задумываются. М а н я вносит портрет.

Ираида Родионовна. Скажи-ка нам, светик, что такое: тыща братьев одним поясом подпоясаны, на мать поставлены?

Маня. Раз плюнуть. Сноп! Куда ставить картину? Рама тяжеленная.

Братья принимают у нее картину и ставят к стенке. Надежда Константиновна Зайцева-Неждан изображена в профиль. Она в бальном платье, сидит у арфы. Пауза. Все смотрят на картину.

Василий Васильевич. Позировала она хорошо. И совсем стала ручной на время сеанса, хотя немного дичилась на проницательность моего глядения… Ах, как написано, как написано! И куда все делось? Никогда, никогда я уже не смогу так… Ты, Данила, виноват!

Данила Васильевич. Опять начинаешь?

Маня. При чем тут Данила Васильевич, папа, всё в этой… как ее… Галине Викторовне: она же Джоконде рожу на сторону свернула!.. Не буду, не буду! Пошла наводнение смотреть! *(Уходит.)*

Василий Васильевич. Право, это не твое дело. Давай-ка лучше мать повспоминаем… Какая удивительная сила — эти гены! Сейчас сравнил невольно маму с Маней — даже походка, даже некоторые словечки от нее, а ведь и не видела бабушки! Помнишь, как мать рассказывала, что в детстве сирень курила?

Василий Васильевич. Маня мороженое сосет, потому что курить хочет, но при взрослых стесняется дымить… Мне с ней не справиться.

Данила Васильевич. Да, матушка-то умела не мытьем, так катаньем заставлять нас делать все по-своему.

Василий Васильевич. Но ей так и не удалось приучить меня мыть шею по утрам.

Данила Васильевич. Да, в этом вопросе коса ее воли нашла на нить твоего безволия… И как она замечательно умела заставлять нас вечно за нее волноваться! Видишь, и из могилы покоя не дает. Терпеть тайн не могу. *(Крутит глобус Венеры.)*

Из приемника: «Вода в Неве и каналах продолжает прибывать…» Василий Васильевич нервно ходит по кабинету взад-вперед.

Данила Васильевич. Пожалуйста, перестань ходить.

Василий Васильевич. А ты не крути шарик!

Данила Васильевич *(продолжая крутить Венеру)*. Художники слишком насовывают чувственность в эстетическое. Это нехорошо. Гармонии мира нет дела до человеческой чувственности. Млечный Путь чихать хотел на вторичные половые признаки.

Василий Васильевич *(продолжая ходить)*. Мне кажется, тебе грозят какие-то неприятности. Этот Аркадий весьма подозрительный тип. Надо в КГБ позвонить! Да, все к тому, что мы с тобой от разных отцов, но это не значит… Пусть докажут! Документально! Ну, мама! Помнишь ее последние слова?..

Из приемника: «Нынешнее наводнение будет последним в истории города…»

Данила Васильевич. Да. Она сказала: «Если у тебя будет сын, назови Сергеем!» И Оботуров — Сергей… Пожалуй, нам следует привыкать к мысли, что папеньки у нас разные. Однако все это никакой роли не играет, ибо из мухи не сделаешь слона.

Василий Васильевич. Это так. Разные у нас отцы или нет, но мы были и есть братья. И никого у нас ближе не было и не будет. Потому скажу прямо: завязывай с Галиной! Хватит этой грязи. Тебе нужна жена и дети, а не…

Данила Васильевич. Не лезь в мои дела! Чего ты понимаешь? Независимость и одиночество — главное богатство современного ученого. И она ни разу не просила у меня денег. И детей я терпеть не могу. Еще Пушкин обмолвился, что злы только дураки да дети.

Василий Васильевич. Сам ты дурак!

Данила Васильевич. Умник!

Из приемника: «В данный момент наибольшие трудности выпали на долю героических строителей защитных сооружений…»

Василий Васильевич. Я написал три письма в газеты с протестом… Под угрозой не только корюшка, но и святые камни Кронштадта… Я в ООН напишу!

Данила Васильевич. Ты ничего не понимаешь в технической стороне вопроса, ты вообще чудовищно необразованный человек.

Василий Васильевич. Когда человек протестует против варварства и уродства не из выгоды, а по нравственной необходимости, то какую роль здесь играет образование? *(Вдруг хватает телефонную трубку.)* Барышня, пожалуйста, номер дежурного КГБ по Октябрьскому району.

Телефон. Такие справки по телефону не даем. И мы, гражданин, давно не барышни!

Василий Васильевич. Один момент, девушка, а если в квартире завелся подозрительный тип? Я имею в виду шпиона!

Телефон. Все советы по неполадкам быта через Бюро услуг.

Василий Васильевич. Вы меня не хотите понять! Черт побери, если мы Штирлица поймаем, то куда его девать?!

Короткие гудки.

Данила Васильевич. Вася, успокойся и не делай из мухи слона. У тебя обыкновенная мания преследования.

Василий Васильевич. Вот, пожалуйста! Даже в КГБ не могу позвонить! Я уж не говорю о правительстве! Черт знает что!

Данила Васильевич. Между прочим, когда всяким художникам дают право звонить в КГБ и поносить правительство, то они быстро начинают скучать от таких бессмысленных занятий. И затевают, как какой-нибудь Набоков, попытки исследования сожительства старого мужика с двенадцатилетней девчушкой. Что, промежду прочим, правительству и требуется.

Василий Васильевич набирает «ноль два».

Телефон *(женский ленивый голос)*. Милиция слушает.

Василий Васильевич. У нас в квартире подозрительный неизвестный…

Телефон. Дверь взломана?

Василий Васильевич. Нет-нет, он вошел под видом могильщика.

Телефон. Чем вооружен?

Василий Васильевич. Наглостью, безумной наглостью!

Телефон. Какие вещи уже пропали? Приблизительная сумма?

Василий Васильевич. Его не вещи интересуют! Он гоняется за информацией сугубо личного свойства! Угроза личности, понимаете?

Телефон. Слушайте, гражданин, неужели не понимаете: наводнение, все сотрудники в разгоне! Немедленно повесьте трубку! Тем более что у нас бензин кончился.

Данила Васильевич *(отбирает у брата трубку)*. Вася, слушай внимательно. Этот Аркадий — сам кегебешник! И старайся не болтать лишнего!

Василий Васильевич. Так у кого, Даня, обыкновенная мания преследования?

Данила Васильевич. Не будем ссориться, брат! Не будем делать из мухи слона.

§ 6

В холл входят Варвара Ивановна и Берта Абрамовна. Варвара Ивановна в черных очках. Берта Абрамовна слегка хромает.

Варвара Ивановна. От машины мы отказались, хотя молодой человек очень любезен! Я не очень громко говорю, Берточка? Боже, как люди перестали любить жизнь! Да, ветер, конечно, сильный, и наводнение может принести беды, и все это тревожно и жутко, но — прекрасно! Катаклизмы сближают людей! Никогда не было так мало одиночества в городе, как в войну, да-да-да! И само качество одиночества было иным, нежели сегодня! И здесь нет ничего странного…

Данила Васильевич. Ты всегда была философом, Варвара. *(Идет к ней навстречу, обнимает, целует.)* Очень рад вас видеть!

Варвара Ивановна. Знакомься, Даня, это Берта Абрамовна. Берта, они оба здесь, мои мальчики?

Берта Абрамовна. Да, Варвара Ивановна. *(Усаживает ее на диван.)*

Варвара Ивановна (с *той деспотичностью, которая вырабатывается иногда у слепых к поводырям)*. Зачем вы меня на мягкое? Я же не люблю на мягком! Простите, мальчики, я очень волнуюсь: от людей отвыкла. Берточка, вы, пожалуйста, если начну заусеницы теребить или пальцами хрустеть, меня одергивайте. Мальчики, мы одни здесь?

Василий Васильевич. Да, Варя.

Данила Васильевич. Да, Варвара.

Варвара Ивановна. Как у вас голоса похожи, мои мальчики. О, Надя, конечно, знала, что рано или поздно все выплывет. Берта, достаньте пакет. Вот здесь тридцать два письма Сергея Павловича к ней. Когда прочитаете, поймете всю глубину их чувств. Многие я знаю наизусть: я много раз их перечитывала, когда еще видела. Тут с ятями, мальчики…

Данила Васильевич *(рассматривает письма)*. Варвара, ты все-таки пойми, что мы, черт возьми, не мальчики! Мы старые уже, я вот третьи очки меняю, а ты — мальчики да мальчики! У Василия верхняя челюсть вставная, а ты…

Варвара Ивановна. Не перебивай меня! *(Хрустит пальцами.)* Сядь рядом, я должна тебя за руку взять. Вот, теперь слушай! Твой настоящий отец — Серж Оботуров, а не Василий Зайцев!

Данила Васильевич. Ну и что? Великое дело, право! Зачем руку брать и вообще мелодраму разводить?

Василий Васильевич. Погоди-ка, погоди… Ну, то, что ты был ее любимым сыном,— это я на своей шкуре испытал. Тебя она никогда не драла крапивой…

Данила Васильевич. Перестань врать! Она всегда одинаково

нас драла!

Василий Васильевич. Это ты врешь! Тебя она за ухо дернет — и все! А меня — крапивой!

Варвара Ивановна. Остановитесь! Все вы выдумываете! Никого из вас она не драла! О, она так радостно воспринимала жизнь: солнце… жука… цветы… зиму… Помню, в конце нэпа, мы голодные были, мороз ужасный, я совсем девчушка еще, и мы ходили по рынку и облизывались: денег не было, продавали бронзовую статуэтку Наполеона, а ее никто не покупал. И вот один мужик, рыночный, красно-синий с морозу, говорит ей простое совсем: «Замерзла, красавица?!» Подмигнул этак и угостил леденцами, и Надежда так и засияла! И до вечера сияла, хотя Бонапарта мы не продали, он бронзовый был — кому нужен?.. О, Надя иногда празднично жила! И Василий Михайлович Зайцев слишком нуждался в легкости ее духа, чтобы от нее уйти. И он все знал — и ничего не знал: слишком не хотел знать, чтобы знать. И он записался рядовым в ополчение в сорок первом, хотя мог сидеть под тремя академическими бронями… Такова жизнь, мои мальчики!

Берта Абрамовна. Варвара Ивановна, вы просили напоминать, если будете хрустеть пальцами.

Варвара Ивановна. Нет-нет, я ни чуточки не волнуюсь, я не буду, не буду хрустеть пальцами… Серж ушел добровольцем на ту войну, а Вася — на эту. Они в одном классе учились в гимназии, и у обоих Надя была первой замечательной любовью, гимназической любовью. Он там дальше пишет с фронта: «Коленопреклоненная просьба к вам, светлая невеста моя, пишите хоть коротко, но чаще, марок не ставьте и непременно обозначайте чин…» Это не то, это неважно, а вот: «Ах, светлая любимая моя, моя маленькая вакханочка, сколько новых неизведанных чувств, мыслей, сколько ужасов, сколько горя и сколько чего-то высоко прекрасного в войне…» Видите, какой он еще был наивный и восторженный, он не в состоянии был понять, что ведет войну антинародную, империалистическую…

Данила Васильевич. А кем он там был-то, этот милитарист?

Варвара Ивановна. Сережа Оботуров имел чин есаула, командовал конным соединением у Брусилова.

Данила Васильевич. Что такое есаул?

Василий Васильевич. Все есаулы потом к белым убежали.

Данила Васильевич. Имея ультраквасное мировоззрение, мой тятенька тоже, скорее всего, оказался в Крыму вместе с Деникиным и удрал в Турцию?

Варвара Ивановна. Нет. Он был ранен, попал в госпиталь и вместе с госпиталем в плен. Последняя открытка от первого

апреля шестнадцатого года. Она и лежит последней в пачке. Найдите ее, мальчики. А на родину Сергей Павлович больше не вернулся, здесь ты прав, Даня.

Данила Васильевич. Найди открытку, Вася. Ну, а к чему все-таки нас это обязывает и чем, собственно говоря, грозит? Ни к чему не обязывает и ничем не грозит. И потому не будем делать из мухи слона.

Возвращаются с огромными авоськами ананасов Галина Викторовна и Аркадий.

Аркадий. Галина Викторовна утверждает, что и Василий Темный и Иван Калита обожали ананасы в шампанском.

Василий Васильевич. Оставим Василия Темного пока в покое. Вы мне объясните, как мама могла от Оботурова понести, ежели он всю дорогу в эмиграции, а она тут? Что он, как Рейли или же Борис Савинков, мог взад-вперед через границу шастать?

Аркадий. Объясняю. Ваш брат был зачат в бело-панской Варшаве, куда, прорвав капиталистическую блокаду, отправился на гастроли первый советский театр «Кривое зеркало». Они повезли туда образцовую во всех отношениях комическую оперу «Вампука, невеста африканская».

Варвара Ивановна. Да, это был театр игровой, тонкой иронии. Надя красилась черной краской и танцевала в интеркомедиях негритянку.

Данила Васильевич. А что такое «Вампука»?

Варвара Ивановна. Я же говорю: Вампука — это негритянская невеста. А подробности я не знаю: маленькая была.

Василий Васильевич. Хорошо — Вампука, так Вампука! Дальше что?

Аркадий. Оботуров примчался в Варшаву из Лондона и…

Варвара Ивановна. Мальчики, вы должны понять, что Надя с самого того момента, как он был ранен, а она вышла за Васю Зайцева, чувствовала себя в долгу… Я опять кусаю заусеницы?

Берта Абрамовна. Нет-нет!

Варвара Ивановна. Но и не в долгу было дело! Они любили друг друга так, как это было возможно только в стародавние времена!

Данила Васильевич. Да! И ты, Варвара, и матушка умели держать язычки за зубами! Шляпу перед вами снимаю! И иду статью заканчивать. Галина Викторовна, Вася, вы тут распоряжайтесь и по мелочам меня больше не дергайте…

Василий Васильевич. Не смей уходить! Как что — он в кусты! А корреспонденцию твоего предка смотреть? *(Рассматривает старинную открытку.)* Так… В пользу общины Святой Евгении… Девочка-голубка головкой на плечике

мальчика, крестьянские детки, на столе перед ними горшки и булка… Так. «Что к чему покорно: щи — к пирогу, хлеб — к молоку, баба — к мужику!» С намеком открыточка, с намеком! Ну, а почерк Сержа мне не разобрать.

Варвара Ивановна. Потом разберете. А твой отец, Василий, глупо погиб, бессмысленно!

Василий Васильевич. Вот те раз!

Берта Абрамовна. Варя, как вы можете так говорить. Не было бессмысленных смертей на этой войне!

Варвара Ивановна. Оставьте, Берта. Я отдала родине все. Даже самое драгоценное — зрение, белый свет. И теперь я имею в жизни одно удовольствие: говорить то, что думаю! Это единственное утешение, которое мне осталось… Да курево еще. Прикурите мне папиросу, пожалуйста, но только сами не затягивайтесь: раз бросили — значит, бросили!

Берта Абрамовна прикуривает ей «беломорину» и закуривает сама.

Аркадий. Тургенев все романы и повести с родословных своих героев начинал. И мне позвольте.

Данила Васильевич. Я путаюсь на уровне дядь и теть, не говоря о золовках.

Аркадий. Постарайтесь усвоить, что ваша гостья Мэри Стонер, в девичестве Оботурова, а значит и вы сами, ибо вы ее единокровный брат, приходитесь она — внучкой, а вы — внуком Ольге Павловне Четаевой, в замужестве Нездан. Но Ольга Павловна Четаева была Четаевой лишь в фиктивном браке, урожденной же она была Голяшкиной. Теперь все ясно?

Данила Васильевич. Даже если бы мне что и было ясно, то какое мне до всего этого дело?

Аркадий. Итак, еще раз начну с начала. Происходите вы, уважаемый Данила Васильевич, из древнейшего дворянского рода-племени. Родоначальник по женской линии выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован двумястами четвертями земли в Бежецком Верху.

Данила Васильевич. Это много или мало?

Аркадий. Богаче и замечательнее всех был ваш прямой прапрадед, Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый, но вы на него не похожи.

Данила Васильевич. Вот незадача, право!

Аркадий. Мертвые, мертвые живым глаза открывают. Прапрабабушка ваша Агафоклея Кузьминишна около двухсот лет тому назад, нет, пардон, в одна тысяча восемьсот тридцать первом году, слушала в Париже великого Паганини и так потрясена была великим артистом, что сделала вдруг выкидыш!

Василий Васильевич *(слушает все с большим интересом)*. Н-да, Даня, тут твоя прабабушка явно сделала из мухи слона.

Данила Васильевич *(хладнокровно)*. Да, чувствительная была дама. Но я с детства историю не люблю.

Аркадий. Прадед ваш воспитывался у тетки, княжны Кубенской, она назначила его своим наследником, наняла гувернера-француза, бывшего аббата, ученика Жан Жака Руссо, ловкого и тонкого проныру. Княжна, или ее тетка, кончила тем, что вышла за него замуж, это в семьдесят лет! За этого финьфлёра… А «фин флёр» — самый цвет французской эмиграции в России. Она перевела на его имя все состояние и вскоре потом, разрумяненная, раздушенная амброй на манер Ришелье, окруженная попугаями и арапчонками, умерла на шелковом диванчике — кривой был диванчик, времен Людовика Пятнадцатого; умерла с эмалевой табакеркой работы Петито в руках, оставленная мужем. После чего господин Кутен, наставник, предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Отсюда и началось падение вашего материального благосостояния, которое нынче прекратилось, как мне кажется, если у вас в прихожей кабанья морда висит.

Данила Васильевич. Все? Выдохлись, голубчик?

Аркадий. Вы правильно, вообще-то говоря, делаете, что к родственникам относитесь с некоторым предубеждением. Насмотрелся я, когда в морге работал. Какая-нибудь безутешная вдова рыдает-рыдает над безвременно ушедшим, а потом отзывает в сторонку и — шепотом: «Молодой человек, вы не могли бы посодействовать: у мужа на левом клыке коронка золотая… вы ее щипчиками, а я вам десять рублей дам».

Василий Васильевич. Где-то я про финьфлёра и табакерку Петито читал иль слышал…

Аркадий. Вполне возможно — у Тургенева или Бунина. Но теперь, еще раз отмечу, новые вовсе ощущения родственности. Как вы на этот вопрос смотрите, Галина Викторовна?

Галина Викторовна. Да-да! К примеру. Вот раньше в деревенской Руси довольно распространены были случаи знахарства. А нынче встречаю еще молодых бабушек, которые, мне кажется, только и ловят момент, как бы пошалить с молодым мужичком. И вот их, бабушек, тискает по углам зять, а они: «Иди к жене! Хватит меня лапать!» И вот внучка, глазастая, ушастая, кричит бабушке уже при наличии вернувшейся в дом с работы мамули: «Ты меня не лапай!», когда баба ее, тютеньку, несет в ванную мыться.

Аркадий. Да-да! Вот у Пушкина в кавказских дневниках тысяча восемьсот двадцать девятого года есть такая запись

разговора с казаком: «— Каких лет у вас женят? — спросил я.— Да лет четырнадцати,— отвечал урядник.— Слишком рано, муж не сладит с женой.— Свекор, если добр, так поможет — вот у нас старик Суслов женил сына да и сделал себе внука». Нынче функции свекра, похоже, чаще берут на себя бабушки. Правда, они тем удобнее в семье, что не способны или не хотят рожать себе добавочных внуков.

§ 7

Галина Викторовна подходит к портрету Надежды Константиновны Зайцевой-Неждан (они остаются тет-а-тет), вытаскивает письма есаула Оботурова, садится в кресло, насмешливо копируя позу Надежды Константиновны, просматривает письма.

Галина Викторовна *(читает)*. «…Ах, слишком нежно, глубоко, всеобъемлюще и еще, еще… берите полено!.. я люблю Вас. Вы знаете, что в моем чувстве к Вам нет греха, поэтому я беру на себя смелость написать опять „люблю“. Да, люблю, люблю, дорогая моя радость и смысл жизни, и счастлив, что могу любить Вас и никого более…» *(Отбрасывает письма и вдруг горько плачет.)* А меня ни он, ни Эд не любят, да, да, никто меня не любит, как любил ее этот есаул… А что она такое? *(Обращается к портрету Надежды Константиновны.)* Ах, какая ты святая женщина! Ах, как ты молчать умела! Может, ты кое в чем и святая, но святые бабы и есть самые ведьмы! Ишь, к любовнику белоэмигрантскому в Польшу смоталась — святая!.. Сидишь вот, довольная жизнью, как слон помытый… Простите, Надежда Константиновна! Чего это я, право? Нам-то делить нечего! Я вам, Надежда Константиновна, внука родила, и он теперь прямым путем, как говорится, из грязи в князи! *(Подмигивает портрету, вытирает слезы и поправляет косметику.)* Да, женщины, где-то недавно читала, как гора Фудзи в Японии — с какой стороны ни посмотри — все разные.

От автора: У Веры Павловны были сны. У Галины — чаще монологи. Да, болтливая женщина… на первый взгляд. А болтливая — значит, феерическая дура,— так Аркадий решил. Бог ему судья. Многоречивая женщина — это еще далеко не дура! Многоречие от глупости так же далеко отстоит, как лукавство и хитрость — от мудрости.

Галина Викторовна. Да, я из элиты женщина. И Моне Лизе

могу морду на сторону свернуть при помощи ЭВМ! А откуда я, знаете? Ростовская окраина, заселенная недавними выходцами из деревни. Отцы в семьях — охранники, шоферы, носильщики, такелажники, грузчики. Матери — уборщицы, продавщицы, спекулянтки, торговки. Обычный, средний — вашего калибра — интеллигент в такой среде — инопланетянин. Это среда, в которой не стыдятся, придя провожать покойника, посмотреть, задрав покров, в каких туфлях его положили, в старых или в новых… И сразу скажу: никакого осуждения этой среде вынести не могу! Это народ, тот самый! Однако и возвращаться туда — наше вам с кисточкой! Я теперь от своего такого народа отдохнуть хочу! А больше всего женщиной хочу быть! Да, ребеночку рубашечку крестиком вышивать — вот мой идеал, ну, а если любимый захочет в кровати про Венеру поговорить — пожалуйста: всегда готова! Даже про… как ее? Сикстинскую? Нет, Милосскую! А нужда придет — такой матюг на орбиту запущу…

Галина Викторовна и В а с и л и й В а с и л ь е в и ч, который случайно, конечно, подслушал ее последние откровения.

Василий Васильевич. Ну, а супруг ваш что из себя представляет?

Галина Викторовна. Безропотная покорность товарного вагона… Да еще в Данилу Васильевича влюблен — светило Данила Васильевич. Ну, а кроме того, от белого шара Зайцева его членкорство зависит. Вы извините, позвонить надо ему, спасибо, что напомнили. *(Набирает номер телефона.)* Эд? Да, я. Да, я у Данилы Васильевича, а ты откуда знаешь? Просто зашла… Здесь рядом арбузы продавали, и я ему тоже купила и занесла… Прогуляй собаку и немедленно приезжай. У него возникли безумные сложности!.. Нет, я не могу по телефону… Возьми грибочки, банку, которая на балконе стоит… Ах, эти няньки! Вечно они исчезают в нужный момент! Возьми и Гульку! Тебе и ему только полезно пройтись по набережной… А в низ колясочки поставь банку с грибами — все иностранцы безумно любят наши грибочки… Тут, тут все узнаешь! Если ты ему настоящий друг, то кати немедленно! Целую, родной! Я безумно по вас с Гулькой соскучилась… Только обязательно прогуляй Ромула! *(Опускает трубку, сама себе.)* Иногда мне кажется, что благоверный о чем-то догадывается, но… но почему он тогда привез Даниле Васильевичу с последнего симпозиума в Африке канареечного цвета унитаз? Сколько сложностей на таможне получилось, а он все преодолел!

Василий Васильевич. В отношениях мужчина — женщина иногда наступает период, когда благородное поведение одной из сторон приносит только вред более любящему, обреченному

рано-поздно лишиться менее любящего. И вот тогда перед менее любящим встает задача разочаровать в себе более любящего, то есть вести себя гадко, чтобы… ну, ясно для чего. И вот если он по натуре благороден и порядочен, то он все не может подвигнуть себя на гадости. И все ведет и ведет самого себя по порядочной дороге и тем более привязывает к себе обреченного. И в результате сам первый погибает в порочном этом круге.

Галина Викторовна *(смеется)*. Это я погибну в порочном круге?

Василий Васильевич. Более другого на свете меня бесит, что женщины от Евы и до сих пор никак и нисколько не изменились. Их стабильность доводит меня до судорог. Пушкин задумывал роман на такую тему. Ошметки романа вошли в «Пиковую даму». Мало чего я так боялся в детстве, как этой старухи в белом, шлепающей ночными туфлями, да и сейчас не хотел бы с ней встретиться…

Галина Викторовна. Встретитесь, встретитесь! А то привыкли к красотам типа *(декламирует)*: «Женский голос, как ветер, несется, черным кажется, влажным, ночным…»

§ 8

В кабинете Данила Васильевич и все другие на данный момент задействованные лица. Робкий звонок.

Данила Васильевич *(орет)*. Да входите! Входите! Открыто там! Вали, кто хочет!

От звонка и крика Данилы Васильевича просыпается Ираида Родионовна, оглядывает общество. Входит сержант милиции Павел Гопников.

Аркадий. Давай, сержант, давай, смелее!

Ираида Родионовна. Я, эт, вообще-то, мильтонов не люблю, но этого, Данила, не бойся, энтот выродок — отродыш какой-то: всего сам боисся…

Данила Васильевич. Хорошо, бабушка, учту.

Павел. Ботинки снимать? Не наслежу?.. Позвольте представиться. Тут так. У Сергея Павловича Оботурова была двоюродная сестра Анна Саввишна, она вышла за Гопникова Ивана Филипповича, а у него сын Терентий Иванович, а я Павел Терентьевич, то есть вы мне… Аркаша, кто тут мой холодный троюродный дед, тот или этот?

Аркадий *(показывает на Данилу Васильевича)*. Этот. Его Данила Васильевич звать.

Павел. Очень приятно. Значит, я вам, так сказать, холодный внук. Ну, настоящий мой дед у Буденного служил, ежели брать по матери…

Данила Васильевич. Очень приятно. Вы пока проходите, садитесь. Тут сразу не разобраться. Значит, холодный внук? А что, Аркадий, горячие тоже будут?

Аркадий. Обязательно. Но сейчас меня другое интересует: кого он с собой привел? Он, знаете ли, не такой серый, как кажется: на юридическом заочно учится и по семейному праву специализируется.

Павел. Пару слов конфециально разрешите?

Данила Васильевич отключается от странной действительности и крутит космический глобус Венеры.

Варвара Ивановна. Не «конфециально», а «конфиденциально»!

Павел. Извините! Пару слов конфи… конфед… циально?

Василий Васильевич. Пожалуйста, пожалуйста, тут, как получается, все свои.

Павел. Я не совсем один… Тут деталь. У первой жены Ивана Филипповича была младшая сестра Зинаида, а ее родной сын

Фаддей Фаддеевич Голяшкин на лестничной площадке ждет. Нет-нет, особенно не беспокойтесь! Он и сам сознает, что нам с вами как бы десятая вода на киселе, но… Одинокий он и, увы, горький пьяница… Я его сейчас из одного богоугодного заведения высвободил — опять пришлось служебное положение в личных целях использовать. Он у меня проживает и вообще-то, если конфециально, старик замечательный…

Василий Васильевич. О чем разговор? Пригласите его, пожалуйста.

Павел *(облегченно и доверительно)*. Томится дядя Фаддей с похмелья. А пива-то мы по дороге нигде не встретили. У вас найдется чего?

Галина Викторовна. Есть датское пиво, мартини…

Появляется Фаддей Фаддеевич. Выглядит он прилично, если не считать фингала под глазом.

Фаддей Фаддеевич. Душа горит, соплеменники! Потому не токмо пивка, но, некоторым образом, чего крепленого глоток!

Ираида Родионовна. Безугольник ты, Фаддеич, да абазурик! От усохшего он дерева корень, Данила Сергеич!

Данила Васильевич. Васильевич я! Черт вас всех подери!

Ираида Родионовна. Ты его, Сергеич, из кухни не выпускай!

Фаддей Фаддеевич *(подделывается под ее говор)*. Господь простить меня, грешного, потому жисть провандалил честна… Где кухня?

Данила Васильевич. Н-да, ситуация… Педрю монокль, как говорят французы, или рьен нуар, как, помнится мне, говаривала матушка.

Галина Викторовна. Маня, проводи, пожалуйста, гм, дядюлю своего на кухню. Лед в холодильнике. Аркадий, а вы что-нибудь хотите выпить?

Аркадий. Нет, спасибо. Я ведь тоже мормон. Мы не употребляем даже чай и кофе. В здоровом теле здоровый дух!

Суперсовременная кухня. Маня и Фаддей Фаддеевич. Фаддей Фаддеевич снимает плащ. На пиджаке между лопаток нарисован мелом № 13 и скрипичный ключ.

Фаддей Фаддеевич *(выпивает рюмку, веселеет)*. Манечка, прелесть моя, а ты когда-нибудь думала, что… Видишь ли, некоторым образом, возможно, что всемирная, некоторым образом, красота и цивилизация во вселенной создаются для вас — женщин — или во имя женщин, благодаря женщинам,— но это, милая моя красавица, никак не доказывает, что вы — люди!

Маня. Почему у вас на спине «тринадцать» написано?

Фаддей Фаддеевич. Мое любимое число. Я его всюду и

всегда изображаю. Плюнь, однако, голубка, на ладошку да и сотри это числительное к чертовой бабушке: здесь, некоторым образом, иностранцы будут — не поймут еще…

Маня *(плюет на ладошку и трет пиджак)*. А почему мужчины пьют водку, если они люди?

Фаддей Фаддеевич. Потому что они не люди, а свиньи.

Маня. Здесь еще скрипичный ключ нарисован, его стирать?

Фаддей Фаддеевич. Какой, какой ключ?

Маня. Скрипичный.

Фаддей Фаддеевич. Гм… А! Вместе со мной композитор сидел вовсе без документов, и нас вытрезвительные мильтоны, поперву, некоторым образом, перепутали. Стирай и ключ! А ты, верно, в музыкальной школе учишься?

Маня. Ага. Вы как к Шостаковичу относитесь?

Фаддей Фаддеевич. Шостакович? Шашлык на сковороде! То есть без шампура шашлык. Проще нашему брату надо, проще! Я вот, голубка, фикусы люблю. Они, знаешь, кто? Они дворяне в мещанстве. И нынче все люди на земле, которые цивилизованные, и есть именно дворяне в мещанстве. Усекла?

Маня задумывается и глядит на свое отражение в стекле кухонного шкафа.

Фаддей Фаддеевич *(пропускает еще полстаканчика)*. А ты, Маня, заметила, что стремление к зеркалу у женщин обостряется после умственного разговора с мужчиной? Заметила? Вот потратишь на женщину интеллект, выложишься, как вот я с тобой, сам поверишь, что нечто сокровенное, некоторым образом, важное, сложное, серьезное им в голову вложил, а дамочка вдруг — шасть к зеркалу и губки красит! Это знаешь почему? Потому что дамочка возбудилась все-таки твоей серьезной мыслью, идеей! А выпустить из себя эту умственную возбужденность обратно на свободу ваша сестра только и может, что через зеркало!

Маня. Там, за зеркалом, что-то есть не только в сказках…

Фаддей Фаддеевич *(отливает из графина в пустую молочную бутылку вина)*. Тсс, малютка! Это я на потом. Когда от многого берут немножко,— это, некоторым образом, не грабеж, а просто дележка… На утро надо. Никому не скажешь?

Маня. Не скажу. Я знаю, вам поправиться надо будет.

Фаддей Фаддеевич. Эхма, уже образованная; отец пьет?

Маня. Нет, сейчас бросил. У него творческая неудача была, он загудел и по фазе сдвинулся. Потом мама к летчику-испытателю ушла, он и завязал.

Фаддей Фаддеевич. Ты с ним сама осталась?

Маня. Ага. А ваш Пашка кто?

Фаддей Фаддеевич. Замечательный, некоторым образом, парень. Покрути ему шарики, покрути — у тебя получится, а то серьезный очень. Сам с малолетства вором был. Родители-то на целине сошлись, потом производитель где-то за горизонтом сгинул, а мать жива — это точно, в Омске прописана. Мотало ее, мотало по разным стройкам — все себя найти не может, его, некоторым образом, просто под забором бросила — курва, прости за откровенность. Пашка с малолетства правонарушителем рос, а потом одумался — и вот… *(смеется)* теперь сам в колонии по ним работает, по малолетним. Приголубь его, принцесса, а пока у входной двери рядом с кабаном зеркало видела? Сунь, малютка, за него бутылочку. У тебя неприметно получится. А я уходить буду — прихвачу. Только Пашке не проговорись!

Входит Галина Викторовна. У нее очень красивая прическа.

Маня. Пойду на балкон наводнение смотреть.

Галина Викторовна. Если а-ля фуршет, Маня, то надо будет бутерброды делать.

Маня. Я вам не горничная, тетюля! *(Уходит, незаметно прихватив бутылку Фаддея Фаддеевича.)*

Галина Викторовна. Строптивая девчонка. Ну, а вы мне не помощник, Фома Фомич. Кстати, вам не надо пудры?

Фаддей Фаддеевич. Пардон, мадам, но пудру я уже не употребляю — изжога после нее. А зовут меня Фаддей Фаддеевич.

Галина Викторовна. Извините. Имею в виду ваш фингал. Здесь большое общество собирается.

Фаддей Фаддеевич. Зубная паста будет как раз к месту.

Галина Викторовна. Тогда пройдемте в ванну.

Павел смущенно топчется за диваном, на котором сидят Варвара Ивановна и Берта Абрамовна.

Берта Абрамовна. Посидите с нами, молодой человек. Этого молодого человека, Варвара Ивановна, Павлом зовут, он белобрысый, сутулится.

Павел *(садится с ними)*. Спасибо за приглашение, но мне, если конфециально, надо бы за дядей Фаддеем приглядеть…

Варвара Ивановна. Кон-фи-ден-циально! А мы вот, Павел, с Бертой Абрамовной боевые подруги. Нас и ранило вместе под Тихвином. Потом, когда я совсем зрение потеряла, Берта Абрамовна меня разыскала. Теперь вместе живем. Мешаю я ей, конечно, ужасно!

Берта Абрамовна. Не надо так! Неверно вы говорите! Мы обе друг другу необходимы!

Варвара Ивановна. А Даню и Васю давно знаете?

Павел. Минут пять. Хотя Данилу Васильевича по телевизору

видел. Когда «Венеру-шесть» запустили.

Варвара Ивановна. Даня никогда не повторял ошибок, которые они совершали вместе с Васей. Вася повторяет. И делает это даже специально. Он этим как бы бросает вызов фортуне. Они ссорились с самого детства: выпихивали друг друга из кроватки, как кукушонок выпихивает воробьят или кого он там выпихивает.

Павел. Сорочат. Мне нравится, что Данила Васильевич альпинист.

Варвара Ивановна. Он пошел далеко и пойдет еще дальше, если милиция не остановит, но, мне кажется, он будет бояться смерти больше Васи…

Берта Абрамовна. Расскажите, Павел, толком, с кем вы пришли?

Варвара Ивановна. Берта! Да подождите вы! Я же еще не закончила! Ну вот, конечно! Потеряла нить!

Берта Абрамовна. Простите, Варвара Ивановна.

Павел. Дядя Фаддей — индивид, который лишен служебно-общественного карьеризма на сто про́центов.

Варвара Ивановна. Проце́нтов.

Павел. Ага. Я про социально здоровый карьеризм, когда индивид желает вникать в сложность общественного производства. Он подписками торгует. Очередь честно стоит, подписку получит, а потом ее втридорога продаст: чего уж между родственниками темнить…

Берта Абрамовна. Скажите, Павел, на каком фронте ваш дядя воевал?

Павел *(смеется)*. Ни на каком. Его туда и близко не подпускали. Он по пятьдесят восьмой десятку отбухал. В два срока — по пятерке: до войны и после. Отец в царской конюшне рысакам копыта чистил — вот Фаддеич за него и ответил.

Берта Абрамовна. А где же он в войну был?

Павел. В Игарке пожарником. И награжден памятным нагрудным знаком «Ветеран ПВО Игарки». В форме пятиконечной звезды награда. И вот позавчера значок потерял. И так, если конфециально говорить, переживал, что лег на кровать и сутки носом в стенку лежал и плакал, а потом напился. А я давеча значок нашел. *(Достает значок, показывает Берте Абрамовне.)* Только ему не говорите. Это я сюрприз хочу. У него день рождения завтра, а я ему утром — памятный знак!

Берта Абрамовна. У меня такое ощущение, что я его встречала…

Варвара Ивановна *(хрустит пальцами)*. Берточка, а вы все своего принца ждете! Не отказывайтесь, не отказывайтесь!

Берта Абрамовна. Не ставьте меня в глупое положение,

Варвара Ивановна.

Варвара Ивановна. Павел, скажите, моя подруга сейчас покраснела?

Павел *(смеется)*. Если конфециально, то да.

Варвара Ивановна *(в зал)*. И я бы ждала и ждала своего принца, кабы слепа не была. Пускай бы все вокруг смеялись, а я бы ждала! Как у Симонова…

Является Ф а д д е й Ф а д д е е в и ч. Фингал замазан зубной пастой.

Фаддей Фаддеевич. Живут люди! Подвесить бы их, нынешних ученых, жрецов, некоторым образом, НТР, в храме их науки за ноги под потолок! Виски пьют, а? Как это вам нравится? Я — бормотуху, а они — виски! А что они полезного умеют-то? И какому богу поклоняются? А одному богу — директору своего института дурацкого!

Павел. А что такие граждане, как ты, умеют? Гнить они умеют. Да, и загнивают с полным даже для себя удовольствием.

§ 9

Резкий звонок. Является капитан II ранга Ч е т а е в. Он в форме и при всех регалиях со знаком командира подводной лодки и с букетом хризантем. Внимание всего общества сосредоточивается на нем.

Четаев. Прошу разрешения присутствовать! Здравия желаю! Кто здесь флагман?

Данила Васильевич. Я. Но куда идет корабль, пока знать не знаю. Аркадий, просветите товарища!

Аркадий *(будит Ираиду Родионовну)*. Родионовна, морячок пришел. Это кто?

Ираида Родионовна. Его двоюродного дедушку Сереженьку шикарная такая горничная вывозила в колясочке — полушалок бисером вышит, ленты в волосах голубые… Сереженька меня увидит, заулыбается, выплевывает резиновую пустышку… *(Засыпает.)*

Аркадий. Все понятно. Вы Владимир Федорович Четаев?

Четаев. Да.

Аркадий. Вы знаете, что в одна тысяча шестьсот двенадцатом году в Москве жил дьяк Четай Оботуров?

Четаев. Теперь знаю. Кто-нибудь возьмет у меня цветы? Они же вянут, потому что воду любят.

Галина Викторовна берет у него цветы.

Аркадий. У вашего отца был двоюродный брат, внучка этого

двоюродного брата вашего отца приехала из Англии и будет здесь через полчаса. Она хотела вас видеть.

Четаев. Кем же она мне приходится?

Аркадий. Долго объяснять. А называть можете ее кузиной.

Четаев. Стыдно, но я с детства не могу понять, что такое — кузен или кузина.

Данила Васильевич. Толстого надо читать. А теперь меня слушайте. Если контакты с какими-то неизвестными и подозрительными иностранцами не входят в ваши интересы, то вы можете, на мой взгляд, спокойно уклониться, ибо все происходящее — обыкновенное раздувание из мухи слона.

Четаев. Уклоняются только от ракет, торпед и бомб, а не от родичей.

Данила Васильевич. Вы женаты?

Четаев. Нет. Чужие разводы надоели. А почему спрашиваете?

Данила Васильевич. Потому что если по Толстому, то кузены обязательно друг в друга влюбляются.

Четаев. Разрешите позвонить? Надо сообщить место пребывания начальству. Погодка разгуливается. Как бы не пришлось в Кронштадт на всех парусах нестись.

Фаддей Фаддеевич. Вот мы и начали уклонение от дьяка Четая и подозрительных иностранцев. Только не прямо мы уклоняемся, а под парусами. А блестит-то как! Прямо царский червонец!

Четаев *(докладывает по телефону, считывая номер с планки)*. Капитан второго ранга Четаев. Я по тридцать пять, пять, семь, сорок шесть. Всё. До связи!

Аркадий. Значит, так. Вы, Данила Васильевич, товарищу Четаеву двоюродный правнук, а Фаддей Фаддеевич Голяшкин ему боковой прадед.

Четаев. Очень приятно.

Василий Васильевич. Кажется, Владимир Федорович, на вашем гербе изображены судак, лещ и бутылка сивухи, так как один предок торговал рыбой, а другой, понимаете ли, служил по акцизу.

Четаев. Очень приятно. Благодарю за информацию.

Фаддей Фаддеевич. Скажи-ка, морячок, у тебя батя прокурор был?

Четаев. Так точно. А вы его знали? Мне мало лет было, когда он умер.

Фаддей Фаддеевич. Шапочно знал. Замечательный человек был. *(Берте Абрамовне.)* Только батя его не просто умер, а, некоторым образом, повесился в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом.

Берта Абрамовна. Господи!

Четаев. Абсолютно убежден был, что все семейство в разные годы, но под корень вырубилось, ан нет! Вообще-то терпеть не могу в прошлое заглядывать. Как заглянешь туда — будто на тебя все слезы зимней Атлантики выльются,— тоска зеленая. А я солдат, подводной лодкой командую, на меня люди смотрят, мне тужить по уставу не положено.

Фаддей Фаддеевич. Ну и молодец, Вова! Вояка должен в себе беззаботность хранить и психологиями не злоупотреблять. Знал я в местах не столь отдаленных одного ветеринарного майора. Он такой психоаналитик был — все выяснял да выяснял, почему быки красный цвет не любят. В результате… его казенный козел забодал. *(Берте Абрамовне.)* Шлепнул следователь психоаналитика прямо в кабинете: никак понять не мог юрист, что ветеринар действительно проблемой цветного зрения у млекопитающих занимался, а не под красный флаг подкоп вел…

М а н я и П а в е л сидят на балконном подоконнике.

Маня. Значит, ты по подросткам работаешь?

Павел. Ага. И семейным правом интересуюсь. Тебе тут скучно?

Маня. Ага. *(Напевает.)* «На германской войне только пушки в цене…»

Павел. Не секрет, что семья стоит у истоков аморальных тенденций, проявляющихся в правонарушениях некоторых подростков.

Маня. Кто больше нарушает: мальчишки или девчонки?

Павел. В развитом социализме или по мировой статистике?

Маня *(напевает)*. «На германской войне только пушки в цене… а невесту другой успокоит…»

Павел. Ноги у тебя очень красивые, но, конфециально, ты бы здесь… ну, не очень их показывала…

Маня. Я в колготках, внучек. Да мне и не жалко: пускай хоть вся семья любуется.

Павел. У тебя косы были?

Маня. Мать заставляла. А как предки разошлись, так я их обрезала.

Павел. Да, большое влияние оказывает семья от самой малой мелочи до решения всего комплекса общесоциальных проблем.

Маня. Ага… Выходит, Надежда Константиновна всю жизнь шарики крутила? А по портрету не скажешь, да?

Павел. Конец двадцатых — начало тридцатых годов характеризовались ослаблением семейных уз. А в условиях развитого социализма семья принимает все большее значение в решении общесоциальных и воспитательных проблем.

Маня. Точно. *(Задирает коленки еще выше.)* В семье молодежь получает первые уроки идейной убежденности и, если конфециально, бережного отношения к соцсобственности, ага?

Павел. Это ты смеешься или издеваешься?

Маня. Нет, серьезно. *(Напевает.)* «На германской войне только пушки в цене… да и нынче вы все холостые…»

Павел. Замуж хочешь?

Маня. Ага. Я, как и ты, детишек люблю. Да и читала где-то, что у замужних женщин чувство вины, связанное с внебрачными половыми связями, слабее выражено и реже встречается, нежели в случае добрачных грехов.

Павел. Вообще-то точно! А учиться после школы думаешь?

Маня. Не-а. Образованные, если по мировой статистике, грешат больше. В ПТУ пойду: аптекарь-фармацевт. Чего молчишь?

Павел. Про твою косу думаю. Факт ее обрезания очень интересен с точки зрения некоторых аспектов поведения подростков, а подросток — проблема вечная. Небось все-таки плакала, когда резала?

Маня. Ты фактический идиот или только чучело из себя валяешь?

Павел. Сам не знаю. Понимаешь, коса — большое дело. Ею девушки самые разные, если конфециально говорить, легко могут пороки прикрывать. Коса — отличная маскировка, а вы их режете. Тут вот и зарыта какая-то собака.

Маня. Слушай, внучек, а целоваться ты хорошо умеешь? Чего уши насторожил? Давай за штору залезем и я тебя проэкзаменую?

Павел. Ну, ты даешь!

Маня. Ладно. Считай, я пошутила. Про косы слушай. У всех порядочных девочек косы в крысиные хвостики превращаются уже к пятому классу — от долбежки. Вот и пришлось обрезание совершить.

Павел глубоко задумывается, машинально напевая: «На германской войне только пушки в цене, а невесту другой успокоит…»

Маня. Сейчас в столовке сидит такая девица с крысиным хвостом — умная, в черном свитере и на кривых каблуках. Лет тридцать. Опрокинула в тарелку на свою люля-кебаб полную перечницу. И вилкой молотый перец с тарелки обратно в перечницу собирает. Я говорю: ножом удобнее! Она рукой махнула и сожрала люля-кебабу вместе с перцем. А? Вот дура! Она еще и кусок лимона съела, а он от перца коричневый. Не скучай, внучек!

Явление профессора Б а ш к и р о в а. Сперва вкатывается детская колясочка, а за ней входит и он сам. На поддоне колясочки банки с грибами.

Галина Викторовна. Рано или поздно он убьет ребенка! Собаку-то хоть вывел?

Башкиров. Здравствуйте, товарищи! Кто из вас еще не был в туалете? Прошу сразу взглянуть туда! Это я привез из Парижа канареечный унитаз, я! А почему телевизор не включен? «Зенит» играет, а у них телевизор не включен! Слушайте, Зайцев, опять Эванс звонил. Утверждает, что на трех и восемь десятых альбедо еще меньше, чем я считал! Сукин сын этот Эванс!

Данила Васильевич. Черт с ним. Не делайте из мухи слона. Ну, статью задержим — великое дело… Садись, будь друг, к телевизору и прости, что я твою жену похитил на этот веселый вечерок. Но куда мне без хозяйки — сам видишь. Сейчас еще иностранцы приедут, черт бы их вместе с Эвансом побрал!

Ираида Родионовна *(просыпается)*. А ты откуда? Ему поисть надо. Вырос же такой большой балбес… Мужчина, как поест, так враз добреет… *(Засыпает.)*

Детский плач из коляски.

Галина Викторовна. Гуленька, Гуленька, мама твоя здесь, ну, что ты, маленький, сладенький мой…

Башкиров *(включает телевизор, отбирает у жены коляску)*. Ты, Галюха, занимайся своими делами. Гулька на моем попечении. Знаете, товарищи, хорошие французские писатели утверждают, что только через дочерей мужчины узнают о том, сколько нежности аккумулировано в женщине. Но у нас, увы, сын!

Фаддей Фаддеевич *(возвращается в кабинет)*. Потрясающий толчок!

Башкиров *(оглушительно хохочет)*. Вы поглядели бы, как я с этим натюрмортом на таможне кувыркался! Ну, что мне делать, если я своего шефа люблю?

Фаддей Фаддеевич подсаживается к Башкирову, оба смотрят футбольный матч.

Фаддей Фаддеевич. Будь моя воля, разрешил бы спортсменам любые допинги. Ежели олимпиец, получив укол в попку с допингом, сиганет выше Адмиралтейства, то, я считаю, это все равно станет всечеловеческим достижением, или завоеванием,— вот так, некоторым образом, я думаю. А вы?

Башкиров. Очень интересно. Полнейшая раскованность мышления. Продолжайте, пожалуйста, вашу мысль.

Фаддей Фаддеевич. Вы оптимист или пессимист?

Башкиров. Видите ли, я диалектик, и потому оптимист. Вот, например, я люблю Италию и итальянцев, а они утверждают, что Время — порядочный человек. И все вообще идет к лучшему в этом лучшем из миров. Обратите внимание: средний возраст римлян в начале эры был около двадцати двух лет, а мне уже исполнилось пятьдесят два…

Аркадий *(откашлявшись)*. Товарищи, прошу никого не беспокоиться по поводу анкет! Вы все здесь — незаконнорожденные! Все! И потому никому ничего не грозит! Я вас собрал просто из желания разъяснить вам то, какая на самом деле кровь течет в ваших венах и артериях!

Фаддей Фаддеевич. Ну, сыромолотые дворяне, давайте-ка долболызнем по этому поводу!

Галина Викторовна. Во всех нас течет одна кровь — Адама с Евой для верующих. Или обезьянья — для неверующих. И провались все предки и родственники Данилы Васильевича пропадом, особенно если они связаны с заграницей.

Аркадий разворачивает огромный свиток — родословное дерево Оботуровых. Все столпились возле него. Тем временем Василий Васильевич берет роскошную монографию о Гойе, долго листает, разворачивает офорт «Вплоть до третьего поколения», ставит на видное место. Торжественно-тупой осел любуется портретами своих ослов-предков.

Данила Васильевич *(задумчиво, сам себе)*. Василий Темный!.. Какие времена были!.. Феодализм — замечательнейшее социальное устройство для мужчин. Да, феодалам, феодалам можно завидовать! Отлюбят крепостную девицу и: «Иди, милая, обратно в девичью носок вязать!» Она ему ручку поцелует, не больше! — и в девичью обратно шмыг! А мне в условиях социализма что прикажете с этой… гм, любовью делать? Не нового же программиста заводить! Пока он научится отличать по параметрам Венеру от Марса? *(Аркадию.)* Да, да, слушаю вас. Так что и кому еще от меня будет надо?

Аркадий. Мэри выразила желание увидеть вас в кругу семьи. (То было так трогательно: осенние сумерки, все пепельно на кладбище, и молодая англичанка с локоном отца у могилы женщины, которую он любил, как Ромео.) И я не мог отказать леди. И обещал найти всех ваших с ней родственников.

Данила Васильевич. Галина Викторовна уже объяснила вам, что, кроме брата, у меня родственников нет.

Аркадий. Родионовна! Не спи! Расскажи-ка, бабуля, как ты и кого из оботуровских сродичей разыскала!

Ираида Родионовна. В трояк вы мне все обошлись, чтобы вас сыскать. В контору кладбищенскую сунулась поперву, говорю,

мол, угнетателев, на кого спину гнула до революции в прислуге, ищу. А теперя, говорю, осталась я женщина одинокая, беззащитная, ищу последышей ентих эксплуататоров: пускай, мол, меня теперь до смерти голубят. Ну, и трояк еще сунула. Так в конторе с ног сбились — аж девять душ нашли! *(Засыпает в кресле.)*

Фаддей Фаддеевич. Тихо. «Время» начинается.

Башкиров. Да, да! Наш век беременен демократией, хотя вокруг одни диктаторы.

Аркадий. Сейчас будет антракт. Во время которого вы будете смотреть программу «Время». Так как ничего нового вы из этой программы не узнаете — ну, будет красавец Игорь Фесуненко, например, про индейцев рассказывать и про их индейского вождя, томящегося в жутком американском заточении,— то лучше задам вам классическую задачку: в каком случае сын оказывается дедом самому себе? И даже подскажу ответ, а вы попробуйте представить это дело в воображении. Ежели сорокалетняя вышла за двадцатилетнего, а его отец женился на ее дочери, то сын первой четы — дед самому себе. Думайте, представляйте, а я поехал за иностранками в гостиницу «Ленинград». *(В зал.)* Пушкину за «Годунова» так врезали — похуже, нежели Пикулю, Пугачевой и Леонтьеву, вместе взятым. «Ну что это за сочинение? Инде прозою, инде стихами, инде по-французски, инде по-латыни, да еще и без рифм». Нынче чего бояться?! Намеренное отличие моего сочинения состоять будет в бессвязной пестроте явлений и прыжках от одного предмета к другому по образу и подобию, например, кенгуру или того же Валеры Леонтьева. Недаром в Горном институте учился! Нет, недаром, недаром она с гусаром! Славы охота! Славы! Через потрясение основ ее схвачу! Славы! Славы! Славы!

Данила Васильевич *(в зал)*. Только неопытной, но талантливой молодости разрешено вырывать факты из бесконечного потока и обрушиваться на них поодиночке. Вот и Аркадий рвет факты, как овчарка клочья из ватника дрессировщика.

Глава вторая

§ 1

Общество в сборе. Квартира блистает в огнях и хрусталях. Ожидается появление минимум генсека ООН. Три условно-сигнальных автомобильных гудка за окнами.

Галина Викторовна. Приехали! Конечно, кое-что не успели, но… Как говорит академик Баранцев: «Полное совершенство — наилучшая тюрьма для духа».

Четаев. По местам стоять! Флаг, гюйс, флаги расцвечивания поднять! Играть захождение!

Фаддей Фаддеевич. Надо бы старушку, некоторым образом, разбудить да в красный угол посадить.

Ираида Родионовна *(просыпаясь)*. Какое мне красное место, мое место давно в земле. *(Достает бутылочку с лекарством.)* От диабета, милые, лечуся.

Павел. Давайте, бабушка, я накапаю, сколько капель?

Ираида Родионовна. Без мильтонов обойдусь — сама насобачилась: у меня лакеев-то, кроме Мурзика, нету.

Аркадий вводит иностранок. Старшая — крупных форм негритянка, обвешана кино- и фотоаппаратурой, в брюках клёш. Младшая — мулаточка, очень хорошенькая.

Аркадий. Данила Васильевич, вот ваша, так сказать, мачеха — госпожа Розалинда Оботур, она же Оботурова. А это сестричка ваша. Мария Сергеевна Оботурова — мисс Мэри Стонер. Мадам владеет фотоателье для кошек в Монреале. По-русски ни бум-бум.

Пауза. Общество разглядывает Розалинду, которая жует резинку и меняет насадку у кинокамеры. Все последующее время Розалинда снимает или кино, или фото, никак не реагируя на происходящее вокруг.

Варвара Ивановна. Берточка, почему так тихо стало?

Берта Абрамовна *(шепотом)*. Вдова Сергея Станиславовича — негритянка.

Ираида Родионовна. Ну и кулики прилетели из заморья! И в штаны вырядилась! *(Аркадию.)* Чего меня не упредил, что старшая — вовсе черная?

Аркадий. А я почем знал? По дочке никак не скажешь.

Ираида Родионовна *(Даниле Васильевичу)*. Да, видать, папаша твой вкус имел разнообразный, шалун вышел, весь в деда… *(Засыпает.)*

Фаддей Фаддеевич. Н-да, такая рожа, что и на себя не похожа!

Маня. Ну и что? Может быть, у них когда-нибудь в семье новый Пушкин родится.

Павел. Правильно, девочка! Не надо великорусским шовинизмом заниматься. *(Растроганно.)* Воссоединяется семья! Первичная ячейка общества…

Галина Викторовна. Завтра пойду и коротко постригусь. У этой Мэри красивая прическа: я всегда объективна в таких

вопросах. И вообще у негров крепкие волосы — этого у них не отнимешь!

Башкиров. Да, дорогая женушка, я тоже никогда еще не видел лысого негра.

Василий Васильевич *(Данило Васильевичу)*. Придется тебе, братец, вносить изменения в анкету: дворянин столбовой, мормон, белоэмигрант…

Данила Васильевич. Никаких юридических оснований для всего этого нет. И никаких изменений не будет. Не делай, брат, из мухи слона. Пора нам забыть раздоры. Они, право, вздорны перед лицом этого татаро-монгольского нашествия.

Аркадий. Мэри с детства воспитывалась у троюродного дяди вашего папеньки в Англии. Она славист, магистр, уже вдова, яхтсменка — два раза через Атлантический океан под парусом туда-обратно махнула.

Василий Васильевич. Н-да, брат! Ну, ты и влип. Хотя, скорее всего, это розыгрыш или мистификация.

Данила Васильевич. Ты думаешь? Вглядись внимательно. Ты же станковый живописец! Что-нибудь у меня с ней есть общее?

Башкиров. Станьте-ка, друзья мои, рядком у зеркала!

Данила Васильевич обнимает Мэри за плечи и подводит к зеркалу. Оба улыбаются, глядя на свои отражения.

Василий Васильевич. Лекало глаз… Разрез рта… Ну, верхняя губа не показатель. Ежели поглядите разновременные фотографии человека неординарной профессии, то заметите, что от десятилетия к десятилетию у него верхняя губа утончается. Это я на проклятом Леонардо обнаружил…

Мэри. Отец попал в большой просак — он умер скоропости… жительно.

Галина Викторовна *(старательно сочувствует)*. Да, да, все мы смертны. Все проходит, как с белых яблонь дым… Ну-с, Мария Сергеевна, прошу чувствовать себя как дома.

Варвара Ивановна *(восклицает в стиле «эврика» и слишком громко для ситуации)*. Я поняла! Вампука! Незримая власть африканской невесты Вампуки! Последний раз Сергей видел Надю черной и потому женился потом на негритянке!

Берта Абрамовна. Тише-тише, Варвара, мы здесь не одни! *(Шепотом, с неожиданным для нее озорством и лукавством.)* И скорее всего последний раз он видел ее голенькой: у артистов гримируют только лицо и руки — не всю же ее сажей мазали!

Варвара Ивановна. Я не люблю, когда ты хулиганишь, Берта!

Четаев *(Галине Викторовне)*. Вы разрешите, я передарю несколько хризантем кузине?

Галина Викторовна. Хоть весь пучок.

Мэри подходит к портрету Надежды Константиновны. Общество выстраивается полукругом позади нее. Смотрят на портрет.

Мэри. Это она, Данила Васильевич?

Данила Васильевич. Да. Писал брат. Познакомьтесь. Если уж мы решили делать из мухи слона, то и мой брат вам какой-нибудь теплый родственник. Можете называть его Васей.

Башкиров *(рассматривает портрет)*. Женщин никогда не распинали на крестах. Что бы это значило?

Фаддей Фаддеевич. Тогда, некоторым образом, махровый матриархат был.

Павел. И в наших школьных заведениях сейчас наблюдается подобное явление.

Василий Васильевич. Станьте чуть правее, Мария Сергеевна: отсюда бликует. Мама была красавица. И я могу понять безумную любовь вашего отца. Когда пишешь портрет, видишь человека иначе. Она, правда, сердилась, когда я смотрел пристально. Но как иначе может смотреть художник, когда пишет? Н-да, а нынче жизнь все чаще подергивается гнусной наволочью — вдохновения нет, да и здоровья…

Маня *(Павлу)*. Он у меня хороший. Его любимая фраза: «Честь и совесть велели мне прожить век на диване — как Обломову».

Мэри. Отец говорил: «Если будешь ТАМ, думай только по-русски». У меня получается? Как это: «Поцеловать столетний бедный и зацелованный оклад…» Забыла… «Печальный остров… туда…» Опять забыла. Он рассказывал, что ваши артисты приехали в Польшу голодные. А у Надежды, Надежды Константиновны, из шубы выползал мех…

Данила Васильевич. Вероятно, «вылезал»?

Мэри. Да-да, конечно! Вылезал! А потом он получил наследство — акции огромной судоходной компании, но с горя разлуки прокутил все пароходы. А когда боши, фашистские захванчики, подошли к Парижу, папа…

Данила Васильевич. Захватчики.

Мэри. Да-да! Конечно! Когда пришли захватчики, он выдрал за Де Голлем и в Англию, и в Алжир, а в Югославии у Тито ему прострелили голову…

Данила Васильевич. Удрал, значит, из Франции, чтобы воевать против фашистов?

Мэри. Да-да! Конечно! Удрал!

Данила Васильевич. И то слава богу!

Мэри. После раны у него получился психический ненормализм…

Аркадий *(в зал)*. Тут не права Мэри. У него, пожалуй, был случай психического нормализма. Оботуров взял Розалинду с панели — язвы империализма. Попал в среду мормонов или баптистов, начитался Гаршина, дружил с духоборами, которые помнили Толстого. Да и Розалинда, как ни странно сейчас это представить, дурнушкой не была. Негритяночки бывают и очаровательными, и бойкими, и лукавыми девушками — как и все их сверстницы любого цвета. Не глядите на ее жвачку и аппаратуру. Она вдова, еще совсем не забывшая свои горести. И если она улыбнется, то это будет как солнце апреля — читайте пьесу «Людвико Сфорца», автор Барри Корнуолл. Эту пьесу хорошо знал Пушкин, когда писал «Каменного гостя». Все смешалось в доме Облонских…

Мэри. Я счастлива встретить здесь много-много не только мертвых родственных душ. Опять неправильно выразилась? Волнуюсь…

Василий Васильевич. Ничего-ничего! Души, правда, не бывают мертвыми или живыми. Тут Гоголь дал маху. Или есть душа или ее нету — третьего не дано.

Четаев *(вручает Мэри хризантемы)*. Я ваш кузен… Володя.

Мэри *(кладет цветы к портрету Надежды Константиновны)*. А я буду вам Маша.

Ираида Родионовна *(просыпается)*. Целуй ее, молодец!

Бравый моряк мальчишески конфузится и бездарно теряет фактор внезапности.

Ираида Родионовна. Целуй моряка, Маша! Вишь, сам он боисся! Только глаз на него не ложи: служилый, не свободной братии, хотя бывалец, ан под присягой живет. Целуй, целуй!

Мэри троекратно целует морячка.

Четаев *(ошеломленный, закрыв глаза)*. Не сводите меня с ума!

Розалинда, отыскивая подходящую точку для съемки, присаживается на короб Ираиды Родионовны и сплющивает его. Отчаянно орет Мурзик.

Розалинда. О! Кэт?! Вери-вери гуд!

Ираида Родионовна. Он у меня смирнай, кастрированный, а кушанием запахло, мы и проснулись. Мурзик мясо не потребляет — сырой рыбки ему подай…

Розалинда возбужденно говорит по-английски.

Башкиров *(переводит синхронно, покатываясь со смеху)*. Мадам, или миссис, очень счастлива тем, что здесь есть кот, она хочет сфотографировать советского кота, это будет первый коммунистический кот в ее ателье… Ну, короче говоря, этот большевистский кот будет отличной рекламой. Все всё поняли? Коллега, тащите большевистского кота на свет божий!

Ираида Родионовна. Не дам! Одноглазый Мурзик-то! Выйдет плохо. А бабушку твою, Марья, голубка залетная, мы с Надеждой Константиновной в сорок третьем хоронили. Степаниду-то Петровну казенный дом помиловал, снарядом ее шандарахнуло в родимом — на Невском проспекте. Сама-то она еще б сто лет прожила — здоровая была вовсе женщина. *(Засыпает.)*

Маня *(Павлу)*. И я до глубокой старости доживу. Из меня, между прочим, мировая бабка получится. Дядя Даня, можно на балкон дверь открыть? Наводнение там, интересно.

Галина Викторовна. Сквозняк…

Данила Васильевич. Открывай кто что хочет!

Павел открывает балконную дверь. Парусами вздуваются шторы. Шум Невы и ветра.

Мэри. Какой простор!.. Вспомнила: «Наводненье туда, играя, занесло домишко ветхий… Был он пуст… У порога нашли безумца моего…» Волны какие! *(Четаеву)*. Что вы так на меня странно смотрите? Общаясь с родной кровинкой, православный христианин должен быть чист, кроток и взор умильный иметь! *(Прыскает.)* Один из наших предков архимандритом был.

Четаев. Я коммунист и безбожник. А как подумаешь, обернуться если, без трепа, ерничества,— туда, назад, в обратную перспективу, в века, в тысячелетия,— предок за предком, цугом — к первому костру, который молния с небес зажгла, а? Жуткое дело, сколько там родных покойников… Да, странный нынче вечерок, и…

Фаддей Фаддеевич. И некоторым образом, пользительный. Однако и выпить давно пора.

Павел. Еще одно такое несознательное высказывание, и я отволоку тебя обратно в отделение. А ты мое слово знаешь! Расходился тут!

Фаддей Фаддеевич *(поджимает хвост)*. Да, сержант, слово твое крепкое… как твой лоб! Только ты со мной не так уж легко справишься! Дон Кихот щуплее меня был, а львов убил кучу!

Аркадий. Я помогу. Я всегда за милицию и закон — горой! И против Дон Кихотов, хотя они виноваты только в том, что не гении, а пьяницы.

Маня. И я за мильтонов! Начальники их подстригаться заставляют — панки всякие лохматые надоели. Паш, а шею ты моешь? Папка — никогда!

Галина Викторовна. Прошу наливать самим себе и самим за собой ухаживать!

Ираида Родионовна. Вино и старухе ноги подымает да глаза протирает.

Данила Васильевич. Леди энд джентльмены! Какой же первый тост? Право дело, растерялся!

Пауза.

Василий Васильевич. С годами вспоминаю маму и папу все чаще, они приходят в часы моих поражений и побед, и я все чаще вижу их во сне. Выпьем память мамы и рядового ополченца Васи Зайцева. Он в атаку роту поднял и в братской могиле под Тихвином лежит. Нет, не мне мать судить!

Данила Васильевич. Ты прав, Вася! Он был и будет мне добрым, честным и смелым отцом. Встанем.

Мэри переводит Розалинде слова Данилы Васильевича.

Розалинда. О'кэй! *(Ведет панораму кинокамерой.)*

Все встают. Гаснет электричество. Комната в дрожащем отсвете уличных фонарей.

Галина Викторовна. При иностранцах пробки перегорели! Этого не хватало! А ведь запасных нет!

Фаддей Фаддеевич. Н-да, некоторым образом, бой негров ночью получается…

Павел *(с балкона)*. Это не пробки. Соседние дома тоже обесточены. Наверное, из-за наводнения.

Ослепительная — ярче тысячи солнц — вспышка — это Розалинда блиц нажала в своей электронике. Что высветит вспышка в этом темном царстве — пусть режиссер голову поломает. Может, Манька Пашку соблазняет, может, одноглазая морда Мурзика из сплющенного короба выглядывает…

Данила Васильевич. Галя… Галина Викторовна, пожалуйста, зажгите свечи. Они на пианино, знаете?

Галина Викторовна. Конечно, знаю!

Аркадий. Прямо Тайная вечеря. Кто же кого предаст нынче?

Галина Викторовна. У кого спички есть?

За Невой возникает зарево.

Берта Абрамовна. Похоже на пожар.

Четаев. Судя по дыму — нефть горит. Первый раз вижу пожар в Ленинграде.

Фаддей Фаддеевич. Попадет пожарным начальничкам: далеко огонь запустили, а нищему пожар не страшен.

Пушечный выстрел.

Варвара Ивановна. Стреляют? От окон все отсели?

Берта Абрамовна. Это с Петропавловки пушка, сигнальная.

Галина Викторовна зажигает свечи на пианино.

Варвара Ивановна. Помню, когда где-то здесь крейсер «Киров» первый залп дал, все стекла вылетели…

Василий Васильевич. Вот как все таинственно сразу стало… Хотите спою вам при свечах что-нибудь старинное?

Все хлопают.

Василий Васильевич *(садится к пианино)*. Из девичьего альбома нашей матушки. Красный бархатный альбом у нее был, автора не знаю, сентиментальщина начала века — какой-нибудь Апухтин или Надсон… Ну как?.. Петь?.. Ладно, попробую… *(Поет.)*

Но что в них есть, людских страданьях?
Зачем расстаться с ними жаль?
Зачем у нас в воспоминаньях
Живет прошедшая печаль?

Когда пройдут уже невзгоды
И прояснится жизни путь,
Зачем тогда былые годы
Нам вновь захочется вернуть?

Варвара Ивановна. Вот какой праздник нынче вдруг выпал. Спасибо, Васенька, спасибо, Данечка! И нашим иностранцам спасибо…

Фаддей Фаддеевич. Ну и впрямь благодать! *(Сморкается.)*

Варвара Ивановна. А пожар как, Берта? Разгорается?

Четаев. Нет, Варвара Ивановна, уже слабеет, только дым и видно на фоне низких туч. Они над городом подсвечены — вот на них дым и видно.

Василий Васильевич. Любой пожар мне Бадаевские склады напоминает. Мы с Данькой тогда на крыше торчали…

Фаддей Фаддеевич. Единственную награду мне родина вручила: за тушение пожаров. Так и тот значок по пьянке потерял. Смешно, а переживаю.

Павел. Будешь сегодня себя вести хорошо,— может, он и найдется.

Маня. Папа, спой еще, мою любимую, которую мама…

Василий Васильевич горестно вздыхает по ушедшей к летчику-испытателю супруге и берет несколько минорных аккордов. Казенным, беспрерывным звоном звонит телефон. Данила Васильевич идет к телефону.

Четаев. Айн момент! Это меня. *(Берет трубку.)* Капитан второго ранга Четаев. Есть. Ясно. Понял. Выхожу. Скажите шоферу — дом с львиными мордами у подъезда. *(Опускает трубку.)* Ну, как говорили когда-то британские морячки: «Кливер поднят!» *(Последние слова произносит по-английски.)*

Мэри. Шип за все уплатил, закончил дела с берегом и поднял кливер?

Четаев. Так точно, Машенька! И откуда знаешь? Бригантина снимается с якоря свободной от долгов. *(Подходит к Розалинде.)* Оревуар, мадам!

Розалинда *(перестает жевать резинку и выплевывает жвачку на пол)*. До свиданья, товарищ!

Четаев *(всему собранию)*. Я холост, денег много. Буду рад оказать любому из вас услугу, коли прижмет кого. Координаты будут… у… Василия Васильевича! *(Подает ему визитную карточку.)*

Фаддей Фаддеевич. Где нет ограды, там расхитится имение; а у кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь; слышал такое, морской волк?

Четаев. Нет, не слышал. До встречи, дорогие соплеменники!

Фаддей Фаддеевич (в *тоне декламации)*. Он будет ждать новой встречи с нами, как, некоторым образом, золотушные дети ждут свидания с бормашиной.

Мэри. Володя! Не уходи! Я падаю в уморок!

Четаев. Когда моряки уходят в океан, их положено провожать, а не падать в обморок.

Мэри. Я провожу вас до машины? Можно, кэптейн, о'кей?

Четаев. Буду счастлив.

Галина Викторовна *(Башкирову)*. Безумно хочу спросить у этой вертихвостки, действительно в Англии кошкам дают противозачаточные таблетки? Академик Баранцев утверждает, что нет.

Башкиров. Я не буду с ним спорить, но ты, родная, просто могла спросить у меня. Дают. А на вертихвостку она, прости меня, не похожа.

Галина Викторовна. А все-таки у нее плечи квадратные.

Четаев и Мэри уходят. От сквозняка гаснут на пианино свечи. Пауза. И тьма. Слышно, как хлопает дверь парадной и стук каблучков Мэри.

Аркадий *(зажигает свечи)*. Чего-то много здесь одиноких мужчин и женщин собралось.

Галина Викторовна. Мужчинам легче. Когда мужчина одинок, у него до поры до времени есть секс, наука или политика. Эта самая политика остается для вас превосходной игрушкой в виде газет, например, до смерти. А когда молодая женщина живет одна, у нее есть только секс, а потом — ничего.

Башкиров. Дорогая, не вещай так безапелляционно…

Галина Викторовна. Что ты знаешь про нас, женщин? Ни-чего, милый! Помнишь, на даче я начала голой жарить котлеты?

Башкиров. Конечно, помню: не сразу такое забудешь.

Галина Викторовна. Да, это тебе безумно не понравилось!

Башкиров. Но, дорогая, кому такое может понравиться?

Галина Викторовна. А это я просто тебя тестировала. Видишь ли, наш век характеризуется развенчиванием целей, но совершенствованием средств их достижения.

Башкиров. Это ты от кого слышала?

Галина Викторовна. От профессора Баренцева. Точно не помню.

§ 2

М э р и и Ч е т а е в на набережной у парапета. Вода очень высоко — на спусках остается две-три ступеньки. Ветер.

Мэри. О, когда я любила моряка, я и думать не могла отпустить его плавать! Я ночами молила бога, чтобы все моря пересохли! Проснусь и молю: «Боже, пусть все моря высохнут до дна!» И он не плавал, пока были деньги, работал всякую случайную работу. Потом уходил в долгий рейс — знаете, самые ценные сорта чая и сейчас везут в Лондон на дрянных деревянных судах. Вокруг Доброй Надежды или мыса Горн. Там хорошо платят — большой риск.

Четаев. И однажды он не вернулся?

Мэри. Да, сэр.

Четаев *(спохватывается)*. Мэри, вы говорите по-русски абсолютно чисто!

Мэри. Когда захочу. Только с рестораном трудно.

Четаев. Да, с общепитом у нас не очень…

Мэри. Нет, я про другое, про вывески. Когда читаешь про себя, вечно получается: «ПЕСТОПАН».

Четаев. Ты начала гоняться на яхтах после того, как погиб муж?

Мэри. Да. Это хорошее лекарство от всего горького на свете.

Четаев. Знаю. И тоже плаваю на яхте, когда есть возможность. Но, конечно, совсем близко от базы — малый каботаж. А если участвую в гонке, то не бреюсь за сутки до старта. Такое глупое суеверие себе завел.

Мэри *(отрешенно)*. Я тоже не бреюсь перед стартом.

Четаев. Видишь этих львов? Ну вот — львиные морды торчат из стенки дома? И на старинных дверях такие. Они в зубах кольца держат — ручки.

Мэри. И что дальше? Что вы этим хотите сказать?

Четаев. Ничего особенного не хочу сказать… Просто мне их жаль было в детстве. Что львы, ну, звери, из стенки вылезти никак не могут. Все хотелось их выковырнуть на свободу… Скоро

вода хлынет на набережную.

Мэри. Я, наконец, вспомнила вас, сэр. Я вас во сне видела. Только вы были очень большого роста, такой просоленный, как рыбаки, в зюйдвестке, руки тяжелые, и я вас испугалась, а вы подходите — очень высокий, нависаете надо мной, обнимаете ручищами и утешаете: «Да это я, я — твоя кровинка, кровушка!..» Вот какой хороший сон видела! А вы не можете сегодня чуть опоздать, Володя?

Четаев. Говорят, русские ничего на свете не боятся, кроме начальства. Оно у меня серьезное.

Мэри. А если я прилечу… совсем, тоже будешь бояться начальства?

Четаев. Да. Теперь уж никуда не денешься. Я же профессиональный убийца, Машенька: с шестнадцати лет воевать учился. На меня уйму государственных денег потратили: нынче научить хорошо воевать дорого стоит. А я научился неплохо. И вот держу теперь над миром меч возмездия. Потому пока и войны нет. Прости, что красиво говорю. Но то потому, что судьба больше никогда не сведет нас.

Мэри. Этот меч потяжелее креста, да, Володя?.. Сигареты забыла, у тебя нет?

Четаев. Подводники редко курят. Хочешь, наверх сбегаю? Машины еще не видно.

Мэри. Нет. Не уходи. Неужели мы так вот никогда больше и не увидим друг друга?

Четаев. Если хочешь правду, у меня первый раз от такой мысли сердце зашкаливает. Опять говорю красиво!

Мэри. Что ж… кто взялся за плуг и оглядывается, тот не пахарь… А я курю, потому что, когда в море на яхте совсем одна, бережешь каждое удовольствие.

Четаев. Ты веришь в бога?

Мэри. Нет… Спаси тебя Господь!

Четаев. Машина идет… Такое, как у нас с тобой… что это такое?

Мэри. Глупости. Теперь твоя очередь. Поцелуй меня на прощание…

§ 3

В квартире Зайцева зажигается электричество. Возвращается Мэри.

Розалинда *(дочери, по-французски)*. Ты уже никогда не будешь женой и матерью, дорогая. Только любовницей. Не надо

было нам сюда приезжать. Выпей виски!

Мэри. Йес, мэм! *(И тут только спохватывается, что переводила слова матери всему обществу, смеется, с горя или от неловкости машет рукой, выпивает виски, подсаживается к пианино, гасит ненужные уже свечи и ударяет по клавишам. Скорее всего это будет «Мы молодые хозяева страны…» или «Распрягайте, хлопцы, коней…»)*

Маня *(морщится, как от зубной боли)*. Господи! А рок вы можете?

Галина Викторовна *(показывает Мане на магнитофон)*. Мы все можем!

§ 4

Роскошная кухня. Берта Абрамовна и Фаддей Фаддеевич. Из глубин квартиры доносится вполне современная музыка.

Фаддей Фаддеевич *(протягивая ноги и держась за сердце)*. Вот… извините, но вроде помираю… Однако хорошо так помирать: в артели, некоторым образом, в семейном кругу…

Берта Абрамовна. Ну, на покойника вы еще не похожи. Отвлекитесь… Хотите, про соседскую собаку вам расскажу? Такая замечательная дворняга у них и вдруг вчера пропала…

Фаддей Фаддеевич. Туда ей и дорога. Мещане! Мещане везде власть взяли. Миром, подлецы, командуют! Интеллигенцию сожрали, рабочим классом закусили, из крестьян кровь высосали! Сколько можно твердить да ахать? Коли так, то им и карты в руки! Умнее, значит, всех иных мещанин, более всего к веку подходит, ежели всех вокруг пальца обвел! Дурак, значит, интеллигент, идиот, значит, рабочий, болван, значит, крестьянин! Туда — в брюхо мещанину — ему и дорога! Пущай в его вонючем брюхе едут, пока он, мещанин, на какой исторической колдобине не споткнется,— тогда всех вас обратно отрыгнет, ежли, конечно, вы в его желудочном соке существовать приспособитесь. Верно я говорю, Берточка? Ах ты моя миленькая, угнетенная, в Биробиджан загнанная! Чего-то дистрофиков среди твоего народа на нечерноземных полях я пока не видел! По Госпланам больше угнетенные-то сидят и о своей оседлой черте слезы льют; по киностудиям бедолаги пропадом пропадают; на сочинских пляжах от солнца дохнут…

Берта Абрамовна. Не надо так, Фаддей Фаддеевич. Хотите на колени стану, только не надо больше! Все мы здесь один народ, одним миром мазаны… Видите, у соседей собачка

пропала, а мы все вокруг переживаем…

Фаддей Фаддеевич. Меня на войну и то не пустили! Война всегда грязь и смерть, но, некоторым образом, и необыкновенная, неповторимая возможность проявить себя каждому! В том числе и тем, кто — как ваш покорный слуга — не приспособлен последовательно карабкаться по ступеням лестниц славы, карьеры и прочая. Война — тот же ковер, на котором определяются подлинные чемпионы. Не будь войны, не пришел бы к солдату его звездный час, и пропадать ему в своем Поганькове или Тараканове, некоторым образом.

Берта Абрамовна. Чур вас, чур! Звездный-то час одному из миллиона! Остальные в землю кишками наружу… И то такое только прошлых войн касается, а не будущей.

Фаддей Фаддеевич. Будет война, будет!

Берта Абрамовна. Не этого боюсь. Не будущего. Мне страшно, что внутри Апокалипсис, в душе ослабевает смысл и свобода, когда и будущего не надо. Это лирика, конечно, и пустая, но мне больше некому в ней признаться. А так все хорошо. У вас мечта есть?

Фаддей Фаддеевич. Чего хорошего? *(Опять хватается за сердце.)* Мечта? Есть мечта: кобылку-шестилетку завести, но стоит дорого — две тысячи рубчиков… Ох, сейчас Кондрат хватит…

Берта Абрамовна. Вот валидол.

Фаддей Фаддеевич. Отстаньте вы с валидолом! Это секретари обкомов да седые чекисты в каждом кино валидол сосут, а он и на детское слабительное не гож, некоторым образом. Пойди в переднюю, милая, за зеркалом бутылку Маня заныкала. Пойди, некоторым образом, да притащи ее сюда, быстро!

Берта Абрамовна. Нет, нельзя вам больше. Может, «скорую» вызвать? Дайте руку, пульс посчитаю.

Фаддей Фаддеевич. Не дам! Знаете, кто у меня в первую посадку следователем был? Тятя этого бравого морячка, свойственник по жениной линии. Жену Аннушкой звали, не дождалась меня со второго срока. Так вот, тятя этого бравого морячка семь месяцев меня в одиночке держал — без передач, сволочь!

Берта Абрамовна. Вы ругайтесь, ругайтесь… За что вас сажали?

Фаддей Фаддеевич. За язык. Язык у меня длинный, к анекдотам прилипчивый, некоторым образом, а то следователь понять не мог, что человек, который одними анекдотами разговаривает, и есть самый уже верный и бессловесный раб. Но правильно делали, что сажали! Нынче вовсе языки пораспустили — вот и жрать нечего. Сажать надо нашего брата,

сажать! Вместо лесополос сажать!

Берта Абрамовна. А вот с моряком-то язык сдержали! Хотелось вам брякнуть, что отец его не в автомобильной катастрофе погиб, а из подписного нагана брякнулся?

Фаддей Фаддеевич. Хотелось. Только он славный, этот морячок, хотя и блестит, как царский червонец. Иди за бутылкой, Абрамовна!

Берта Абрамовна. Да, как вспомнишь… Ни у кого так круто и сурово скулы не выпирают, только у морских пехотинцев, когда они в десант собираются…

Фаддей Фаддеевич. Хватит воспоминаний, боевая подруга! Давай таблетку… Загрудинная началась… Тут таблетка не поможет, тут коньяку стопку или уж укольчик полноценный… Вот, вот она, смертуш-ка… руку протяни — и она.

Берта Абрамовна сует ему в рот нитроглицерин, считает пульс. Слышна танцевальная музыка. Фаддей Фаддеевич очухивается.

Фаддей Фаддеевич. Иголок боюсь… подноготная правда… даже изобретение имею всемирно-исторического значения; чтобы не шприц в человека всаживали, а человека на шприц сажали. Торчит кончик иголки из уютного такого креслица. Ты в креслице бух — безо всякого наличия медперсонала — и полный порядок! А патент не дают, суки! *(Уже притворно хватается за сердце.)* Тащи бутылку, ежели сестра милосердная, богом прошу!

Берта Абрамовна. Я снайпером была. Варя — санинструктором. Муж этой Надежды Константиновны, ну, Зайцев, он на ее руках помер. Но только не от пули в грудь, а от дизентерии. И какая разница? Зачем из такого тайну делать? За родину человек погиб. *(Пауза.)* А у соседей вчера собака пропала, дворняжка…

Фаддей Фаддеевич. И сколько ты лично фрицев шлепнула?

Берта Абрамовна. Тридцать восемь полноценных. Подранков нам не засчитывали.

Фаддей Фаддеевич. Н-да, тогда ты леди железобетонная, не хуже Тэтчер, за бутылкой идти тебя не уговоришь… Ничего, сам доползу… Собаку потеряли! Я вот значок посеял! Поверишь, Абрамовна, в «Вечёрку» объявление хочу дать, авось нашел кто? Где только четвертак взять?

Берта Абрамовна. Найдется значок, найдется! Вы мне верьте: найдется! Где шнапс-то спрятан?

Фаддей Фаддеевич. В Зазеркалье, в передней.

Берта Абрамовна. Принесу сейчас. Пульс уже сто пять всего. Вы сидите, не дергайтесь.

Берта Абрамовна уходит.

Фаддей Фаддеевич. Жену напоминает — такая же непоследовательная… Эх, Аннушка, царствие тебе небесное да вечный, некоторым образом, покой… Тридцать восемь человек евреечка на тот свет своими руками, а? А нынче Варвара-то ее, бедолагу, добренькую, тиранит! От врожденной доброты душевной Берта не огрызается, терпит — благородных качеств женщина… Куда же она запропастилась? Еще, как моя страдалица-покойница, вместо бутылки сейчас «скорую» вызовет — все они дуры набитые…

Возвращается Берта Абрамовна с бутылкой, садится рядом с Фаддеем Фадеевичем, обнимает за плечи и вдруг всхлипывает.

Берта Абрамовна. Простите… Ну почему, почему вы себя губите! Такой светлый разум…

Фаддей Фаддеевич. Цыц! За твой подвиг, Абрамовна, я тоже подвижником буду. Ни капельки больше не добавлю. Чтобы тебя не расстраивать!

Берта Абрамовна *(плачет)*. Пейте. Вам, действительно, теперь только продолжать остается. Пейте и слушайте…

Фаддей Фаддеевич. Сказал не буду — значит, железо!

Берта Абрамовна. Да выпейте вы, выпейте! И я с вами… Ну так слушайте. Давно, когда я училась в шестом классе, заболели мои родители, и я осталась одна в домике, домик небольшой, на станции под Минском. Я очень боялась одна ночевать. И вдруг ко мне пришли молодая женщина и старик. С вещами — они на поезд опоздали. Я их напоила чаем с брусникой и накормила печеной картошкой, я их не боялась — красть-то у нас нечего было. Старик мне ворожил. У него была большая потрепанная книга, и он мне ворожил. Все, что он сказал, я запомнила на всю жизнь. Но самое интересное, что все-все сбылось! И родители выздоровели, и я живой осталась. И еще он наворожил, что я только в конце жизни встречу человека, который засверкает ясным светом и…

Фаддей Фаддеевич. Ладно. Коли так сердечно настаиваешь — пропущу стаканчик. *(Выпивает.)* Помирать мне сегодня нельзя. Если помру — Пашка воспримет это как личное в его конфециональный адрес оскорбление. Бр! Прямо напильником по пищеводу виски ихнее… Ну вот и легче, вот и отпустила жаба в груди…

Берта Абрамовна. Вы хоть поняли, что я вам сказала?

Фаддей Фаддеевич. Никто не знает, о чем думает лошадь или кошка перед смертью. А они, может быть, видят в тот момент своего лошадиного или кошачьего бога — потому и подыхают спокойно…

Берта Абрамовна. Ничего вы не поняли. А помрете не скоро. И случится это летом, на лужайке, среди ромашек… Вы мне верьте, верьте!

Фаддей Фаддеевич. А Варваре ты сопротивляйся!

Входит П а в е л. Он тоже навеселе.

Павел. За иностранцами из «Интуриста» машина вышла. В ноль пятнадцать уезжают — в Псков. Там еще какие-то предки живут. Мотор прихватило, Фаддеич? Черт, мне на дежурство в ночь.

Берта Абрамовна. Ему одному сегодня нельзя. Возьмем Фаддея Фаддеича ночевать. Раскладушка есть…

Павел. Что вы, что вы! Не беспокойтесь! Я ему сейчас такую реанимацию устрою, что пионером запрыгает! Боец рядовой Голяшкин, встать! Смирно! От имени и по поручению Верховного Главнокомандующего возвращаю вам почетный памятный знак ветерана ПВО города-крепости Игарка! *(Прикалывает Фаддею Фаддеевичу знак.)* Это я тебе на день рождения сюрприз хотел. А нынче ты вел себя образцово-показательно! Так что — получай!

Фаддей Фаддеевич *(вытирает глаза)*. Пашка ты мой, Пашка! Нашел! Родной ты мой племяш!

Павел. Никакой ты мне не родной. Ты мне двадцатая вода на киселе. Нет, даже и не на киселе, а на пиве!

Берта Абрамовна. Павел, пожалуйста, выведите Варвару Ивановну, ну, как бы в туалет. И уйдем все по-английски.

Павел *(обижается)*. Я еще не негр, чтобы уходить по-английски. И мне на дежурство пора.

Берта Абрамовна. Врете. Нет у вас никакого дежурства. Это Маня теперь ваше дежурство. Как девица на горизонте — так сразу ложь фонтаном.

Павел. Гражданка Берта Абрамовна, это как вы себе со мной позволяете?! Мой прадед, как выяснилось, мужиков за ребра вешал! Мне новое миросозерцание вырабатывать надо — аристократическое! Конечно, Иван Данилович Калита при помощи подлости и татар Русь объединил, но мешок с деньгами он для раздачи бедным всегда носил! А вы, гражданка, позволяете себе на его наследника!!

Фаддей Фаддеевич. Цыц! Цыц, щенок! Это ты на кого хвост поднимаешь?! На святую женщину?!

Павел. И вам, гражданин Голяшкин, я управу живо найду! Ежели от вас конюшней пахнет и вы из царских конюхов происходите, то это не значит…

Фаддей Фаддеевич *(хватается за сердце и протягивает ноги)*. Пашка, опомнись!.. Это уже, некоторым образом, оперетта без музыки получается… Да кто, кроме Фаддея Голяшкина,

способен был зековскую пайку коняге-доходяге отдать в сорок втором, а ты… *(Срывает памятный знак и швыряет в Павла.)* Ублюдок!

Павел задумывается, открывает кран в посудомойке и засовывает под струю в посудомойку голову.

Фаддей Фаддеевич *(тычет пальцем за спину)*. Это у них, кто состоятельный, кто с жиру бесится, предки вдруг князьями или графьями выскакивают; это они назад глядеть хотят, а не вперед, дурак ты набитый!

Павел *(отфыркиваясь)*. Простите, Берта Абрамовна. Мне пить-то ни капли нельзя — наследственность-то алкоголическая. *(Идет к дверям кухни, с порога оборачивается.)* Варвару умыкну сей момент, а потом давайте квартирный обмен сделаем? И коммуну организуем, а?

Берта Абрамовна. Обязательно, сержант! Пуговицу только застегни! И ремень подтяни! И начнем все новую жизнь — как при военном коммунизме.

Фаддей Фаддеевич *(пытается встать самостоятельно)*. Прости уж ты этого охламона, прости, Аннушка, прости, страдалица моя вечная!

Берта Абрамовна. Да не Аннушка я! Умерла твоя Аннушка давным-давно!

Фаддей Фаддеевич. Тогда все прощайте!

Берта Абрамовна засовывает в сумку несколько банок пива, бутылку «Наполеона», полуметровую колбасу холодного копчения; затем берет Фаддея Фаддеевича под руку и уводит его от нас навсегда под аккомпанемент жесткого или мягкого рока, который доносится из глубины апартаментов.

§ 5

Огни, блеск хрусталя, на пианино бутылки. Все отрешенно танцуют, кроме Мани и Павла,— их не видно. Ну, Ираида Родионовна тоже не танцует, потому что спит. Входит Переводчица «Интуриста».

Переводчица. Господа! Товарищи! Извините! В связи с усилением северо-западного и западного ветра до двадцати двух метров в секунду могут возникнуть некоторые трудности. Прошу наших дорогих гостей поторопиться. Гостиница «Ленинград» на том берегу, а поезд ждать не будет. Я едва приехала — вода на набережной.

Галина Викторовна. Слава тебе господи! Наконец-то они уберутся! *(Башкирову.)* Мы остаемся ночевать здесь. Куда

переться с ребенком в такую кутерьму!

Башкиров. Как прикажешь, дорогая. Данилу Васильевича только затрудним. И не пей больше.

Галина Викторовна *(выпивает бокал шампанского)*. Перебьется.

Сцена бестолкового прощания. Данила Васильевич провожает иностранцев и переводчицу до дверей, возвращается, видит спящую в кресле Ираиду Родионовну, смотрящего ТВ Башкирова и развалившегося в качалке Аркадия, который потягивает пепси-колу.

Данила Васильевич. Уважаемый сводник, мне кажется, комедия окончена. Не забудьте Мурзика.

Аркадий. Простите. Я задумался. Сейчас ухожу.

Данила Васильевич. Ну-с, и где ваша пьеса? Обыкновенный кавардак — достаточно нелепый, достаточно утомительный. Допивайте, допивайте!

Аркадий. Спасибо, я пью… Как бы вам объяснить… Ну вот, случалось ли вам замечать, что между людьми — скажем, между двумя собеседниками — возникает некоторая атмосфера взаимопонимания, непринужденности или, наоборот, какой-то скованности, замешательства, неловкости? И вдруг к этим двоим присоединяется некто третий — и все меняется, возникает новое качество, новая атмосфера, новое состояние…

Данила Васильевич. Случалось. И что из этого следует?

Галина Викторовна. Идите-ка, молодой человек, туда, откуда пришли: имею в виду кладбище. Боже! На кого я похожа! И как накурили! *(Берет баллончик с антиникотиновой жидкостью и начинает опрыскивать квартиру.)* Ребенок отравится!

Аркадий. Весь день сюда входили новые люди. И с каждым входящим менялось все. Затем они уходили. И опять с их уходом все менялось. И я всеми печенками чувствую, что этого достаточно для пьесы. Но точки нет! Клякса какая-то…

Башкиров *(отрывается от телевизора)*. Черт знает что на Ближнем Востоке творится! И все-таки наш век беременен демократией, хотя вокруг одни диктатуры… А если, коллега, мы остаемся ночевать, с вашего разрешения? Гульку будить не хочется.

Данила Васильевич. Конечно, конечно! Утром статью кончим. Эванс по альбедо с ума сходит. *(Аркадию.)* Ну-с, надеюсь, Бернард Шоу, эту фольклорную бестию доставите в ее гнездышко. Вот бабе-яге трешка. Нет. Пятерка. И — точка!

Аркадий *(задумчиво)*. Клякса, а не точка. И если я порядочная, классическая субретка, то пора заложить госпожу. О, быть субреткой — тяжкое испытание! О, какое гаденькое, но

сладостное ощущение от знания подноготной. И это садистско-мазохистское желание все затягивать и затягивать игру… *(Торжественно.)* Данила Васильевич, вы человек умный и, вероятно, догадываетесь, что за все хорошее и приятное в жизни надо платить, а за все дурные поступки — расплачиваться?

Данила Васильевич. Я с вами попрощался. *(Башкирову.)* Ванну хотите?

Башкиров. Спасибо, нет.

Аркадий *(в зал)*. В моей пьесе все будет неожиданно. Занавес. Он не станет плавно и чинно отодвигаться. Нет! Никаких банальностей! Занавес вдруг рвется! С треском! Сверху донизу! И — в лохмотья! И потом все представление актеры путаются в его обрывках… Вот — начало, достойное моего гения! Но где конец? Не может же занавес сам собой потом сшиться — тут технология сцены не позволит… Ладно, это мелочи. Сейчас надо точку ставить по существу. *(Башкирову, очень решительно.)* Эдуард Юрьевич, я вас весь вечер наблюдаю. Вы потрясающий актер!

Башкиров *(протирает очки)*. Откуда вы это взяли?

Аркадий. Вы же отлично знаете, что растите и холите чужого ребенка!

Башкиров. И я вас весь вечер наблюдаю. Вы клинический идиот или просто прохиндей-авантюрист.

Галина Викторовна. Недаром мне кабан снился и сырое мясо! *(Нервно выпивает бокал шампанского. Мужу.)* Эдуард, ты знаешь, что я никогда не лгу?

Башкиров. Да, конечно. Спать хочу. И туфли, будь они неладны, жмут. *(Скидывает туфли.)*

Галина Викторовна. Не торопись здесь располагаться. Собери свое мужество, Эд! Вот здесь, на той постели, был зачат Гуля! Он — сын Данилы Васильевича.

Башкиров. Что? Что это значит?

Галина Викторовна. Я хотела навечно сохранить тайну от вас обоих, но… Эдуард! Теперь, когда Гуля стал прямым потомком Василия Грозного…

Башкиров. Грозный был Иван…

Галина Викторовна. Не придирайся к мелочам! Ты отлично понимаешь, что я ужасно волнуюсь и потому путаю! Теперь, когда Гуля является прямым потомком Василия Темного, я не имею права перед судом самой истории утаивать этот факт! Я навечно останусь тут, а ты должен уйти!

Башкиров. Коллега, что это значит?

На экране телевизора вспыхивает транспарант «ВЫКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР» и раздаются омерзительные гудки.

Данила Васильевич. Что?! Я отец этого ребенка? Я?! Выключите телевизор, черт вас всех!.. Галина Викторовна, не несите чушь и немедленно возьмите свои слова обратно! Завтра я вас уволю с волчьим билетом, я… я…

Аркадий *(выключает телевизор)*. Данила Васильевич, ну, право дело, коли сегодня у вас обнаружилось порядочное количество родственников, то плюс-минус родной сынишка — уже мелочь жизни.

Данила Васильевич. Заткнись, кухаркин сын!

Аркадий. Для вашего блага. Для вашего блага я на такое пошел: ведь без этой дамочки, без ее феерической глупости вы утонете в омуте современности! Она ваша крепостная стена и опора. Без Галочки вы через неделю умудритесь потонуть даже в вашем канареечном унитазе! Бога ради, бога ради! Не сердитесь и не злитесь! Не портите мне впечатление целого вечера! Я с такой завистью наблюдал ваше неизменное хладнокровие и вселенскую ироничность!

Галина Викторовна. Да. Ты его отец. И я вынуждена повторить — теперь уже тебе, Даня! — что НИКОГДА в жизни не лгала, не лгу сейчас и не буду! И никакой мужчина не может изменить честную женщину! Вы можете истерзать наши души или разорвать сердца, но изменить нас — о! Нет! Нет и нет!

Аркадий. Одну секунду! Кто это сказал?

Галина Викторовна. Профессор Баранцев. А что вы тут еще делаете?! Убирайтесь вон! *(Даниле Васильевичу.)* Да, мой глупенький, да, мой любимый, Гулечка — наш сын! *(В коляску.)* Сладенький сыночек, вот ты и узнал своего папу!

Данила Васильевич. Как ты это докажешь? Нужна экспертиза и…

Галина Викторовна. Прими ребенка на руки, и сама кровь в тебе заговорит!

Данила Васильевич. В жизни детей на руках не держал и не собираюсь. Брысь все! Вон, плебс!

Галина Викторовна. Не кричи на меня! *(Сквозь смех и слезы.)* Ты же знаешь мою особенность! Когда на меня орут, то у меня сразу слабнут ноги и я сажусь на что попало. *(Садится на стул. В зал.)* Один раз я села даже в электрообогреватель очень большого начальника. В такой ситуации даже самому разъяренному начальнику ничего не остается, кроме как продолжать со мной препираться: мне же и на самом деле не встать, потому что ноги ватные. Ну, а в результате они сдаются.

Башкиров. Зайцев, вы мерзавец и кукушка! Но любой факт в науке или в жизни следует принимать таким, каков он есть… если нет иного выхода. И я, наивец, почитал вас гением! Но гений

и злодейство? *(Толкает детскую коляску Даниле Васильевичу.)* Получите! И вам я привез из Африки канареечный унитаз! Какой я болван!

Галина Викторовна. Можешь забрать сантехнику обратно! Мы с Даней не нуждаемся в заграничных подачках! После суда я возьму только дачу!

Данила Васильевич. Кто «мы»? Жалкая ростовская мещанка! А я — я! — патриарх всея Руси! *(Становится в соответствующую, величественную позу.)*

Башкиров. Не смейте оскорблять мою бывшую жену! Галя, сейчас я верю каждому твоему слову! Это, правда, первый раз в жизни, но это бесспорный факт! Я ухожу! Прощайте, наперсники разврата! *(Цитирует давешние слова Данилы Васильевича.)* Ах, ему, видите ли, оскорбительно, если прекрасное связано с утилитарным! Да, коллега, вопросы приоритета — грязное дело, но иногда установление приоритета необходимо не только в науке! Возьмите ребенка на руки!

Явление В а с и л и я В а с и л ь е в и ч а.

Василий Васильевич. Обыскал всю квартиру! Куда же делась Маня? А что тут происходит?

Ираида Родионовна *(просыпается)*. Позвал поп кота среди поста, поди, кот, возьми пирога в рот! А кот привел с собой кошурку да и сел с нею в печурку.

Башкиров. Зайцев, я требую: возьмите ребенка на руки!

Данила Васильевич сомнамбулически берет из рук Галины Викторовны спящего невинным сном младенца.

Башкиров. Никаких сомнений! У обоих явственные признаки вырождения. Яблоко от яблони! Банда кровосмесителей! *(Снимает очки, прячет их в футляр, футляр — в карман, близоруко щурится, сжимает-разжимает кулаки. Аркадию.)* Проклятая интеллигентность! Я не могу ударить человека так, сразу!

Аркадий. А вы размахнитесь несколько раз: так Мейерхольд Ильинскому советовал.

Башкиров размахивается и бьет в глаз… Василию Васильевичу. Уходит, победно расталкивая с дороги мебель.

Василий Васильевич *(закрывая глаз рукой)*. Всё! На сегодня мне достаточно. Фингал!

Галина Викторовна усаживает Данилу Васильевича в качалку, утешительно покачивает.

Данила Васильевич. Гуля — мой сын?

Галина Викторовна. Да, мой глупенький, да, мой дорогой.

Данила Васильевич. Какой ужас! Как мы теперь будем заканчивать коллективный труд по Венере?! *(Василию*

Васильевичу.) За что тебя-то Башкиров трахнул? И даже «сорри» не сказал! И ты хорош! Рабская психология! Смерд!

Василий Васильевич. Н-да… у хорошо выношенной пощечины широкие крылья… Не было у тебя, патриарх, ни гроша и вдруг алтын! Не бесись, Данька, это хорошо все! Это счастье твое — поверь! Но мне на сегодня достаточно! *(Уходит.)*

Ираида Родионовна *(капает лекарство из бутылочки)*. Опять братья лаяцца? Кажный всякого арапа загибает…

Галина Викторовна *(становится на колени, говорит вослед Башкирову)*. О! Он даже не взял туфли! И такого благородного мужчину я столько лет обманывала! Но я знаю, знаю, он на меня не сердится!

Аркадий. Мавр сделал свое дело. Пожалуй, пора сматывать удочки. *(Уходит.)*

§ 6

Лестница. На ступеньках сидит Башкиров в носках, взявшись за голову, а Василий Васильевич пытается его утешить. Подходит и Аркадий.

Аркадий. Лифт, что ли, не работает?

Башкиров. Куда без сапог в наводнение?

Аркадий. Вопрос всем на засыпку. Кто из вас умеет торговаться? На базаре или с водопроводчиком — не важно.

Все задумываются.

Василий Васильевич. Я не умею.

Башкиров. И я не умею. И не люблю. Да, не люблю всех, от кого неизбежно и безнадежно зависишь: жен и врачей, а еще погоду. Имею в виду прозрачность атмосферы при наблюдении небесных явлений.

Аркадий. Итак, вы даже потенциально не великие люди. Великие — сильные, они знают истинную цену всему. И потому умели и умеют торговаться. Например, Кафка, которого здесь столько раз всуе поминали, был просто скуп.

Башкиров. А вы сами?

Аркадий. Я? Видите ли, у меня, как человека гениального, много ипостасей.

Башкиров. Я вдруг представил, как приду сейчас домой, а дом пуст. И Гулька не хнычет… Неужели все это со мной случилось? За что так судьба?.. Ка-та-стро-фа!

Аркадий. Когда в моей пьесе финал, занавес дадут рваный: сквозь дыры будущее планеты и человечества просвечивает! Надо иметь символическое мышление, Эдуард Юрьевич!

Башкиров. Слушайте, молодой человек, а не снится мне кошмарный сон?

Аркадий. Нет. Не сон. Хотя как сказать. Ведь иностранки никому никакие не родственники. Мы им с Родионовной с три короба на кладбище наплели! *(Хохочет.)* Ну, финита ля комедия!

Василий Васильевич хватает его за глотку.

Аркадий *(хрипит)*. Отпусти мои гланды, бога ради! Вру я все, вру! Мы искали через фирму «Вольф Поппер Росс Вольф энд Джонс»!

Василий Васильевич отпускает его глотку.

Аркадий *(сплевывает, потирает шею и дальнейшее произносит, отступая от собеседника в направлении выхода)*. И через лондонскую «Тенер Кеннет Браун», отличающуюся аккуратностью… Эта фирма по поручению Инюрколлегии занималась одним полулегендарным делом, где правда и вымысел сплавились так, что уж не разделить. Речь о наследстве гетмана Полуботка, одного из первых богачей Малороссии, главаря украинской оппозиции царю Петру. Будто бы за несколько лет до ареста гетман переправил в Лондон, в контору Ост-Индской компании и оставил там на хранение двести тысяч золотых рублей и миллион фунтов стерлингов. «Кеннет» взялась за розыск, но, увы, внести хоть какую-то ясность не удалось. Научные исследования в советских архивах тоже ничего не дали. Есть наследники — нет завещания. Нет документа о самом вкладе. Только семейное предание… *(Вдруг хлопает себя по лбу.)* Какой-же я болван! Ведь победитель-то по всем швам она! Галина, мать ее так, Викторовна! Я-то ее, Эдуард Юрьевич, за клиническую идиотку почитал, а она в некотором роде София! Родила ребенка от любимого человека, а она Данилу истинно любит, не за блага и престижи! Теперь и в гнездо его влезла, и уж, будьте уверены, из князей обратно в грязи не вылезет… Гениальная женщина! Она! Она после водородной бомбы жить останется!

§ 7

Данила Васильевич идет из комнаты в комнату по своей просторной квартире. За ним идет с Гулькой на руках Галина Викторовна, укачивает сына: «Спи, сладенький мой, спи, мармеладный мой князек, баюшки-баю…» Данила Васильевич входит в кабинет, обнимает глобус Венеры и начинает биться об него головой. Орет кот Мурзик.

Данила Васильевич. У-аааа!.. У-ааа!.. У-ааа!..

Галина Викторовна. Ничего, кот нам на влазины — к счастью… Не надо, милый, биться головой. Она нам еще пригодится. Ты теперь никогда не будешь одинок! Я тебя никогда-никогда не брошу!

Данила Васильевич. Альбедо!.. Альбедо!.. Уаааа!

Галина Викторовна. Перестань, пожалуйста, так подвывать. Можно подумать, ты умирающий марсианин из Уэллса, а не ведущий советский венеролог!

Данила Васильевич. Как быть с альбедо? У-ааа!

Галина Викторовна. Не пугай ребенка, нашего князя Игоря! Его родимчик хватит! К слову. Я делала от тебя два аборта. У частника. И за оба платил Башкирцев. Альбедо я тебе посчитаю сама. Ираиду Родионовну — она мне ужасно нравится — уговорим в няньки. Сейчас возьмешь отпуск на недельку, слазаешь на Эльбрус или слетаешь в Беловежскую пущу, убьешь еще одного кабана — и все пройдет, как с белых яблонь дым…

П о р т р е т Надежды Константиновны Зайцевой-Нездан. Надежда Константиновна на холсте оживает, поворачивает голову анфас, глядит на своего грешного сына, на уносимого в спальню внука и улыбается загадочной улыбкой Моны Лизы.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Начало • 6
Литературная обстановка конца 50-х • 18
Повесть о радисте Камушкине • 35
Критика на критическое послесловие Игоря Золотусского • 93
Нырок в очень далекие времена • 113
Из дневника боксера • 127
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Париж без праздника • 138
Печальная контаминация • 148
Заметки любезного гражданина мира с американским паспортом • 182
Совсем разные письма • 209
О вреде кавычек • 241
Смерть в чужой квартире • 257
И «Окопы» будут напечатаны, и даже это: • 283
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Некоторым образом драма *(Пьеса для чтения)* • 290—367

notes

Примечания

1

Так в печатном прототипе. (*Примеч. верстальщика.*)

2

Так в печатном прототипе. Далее неоднократно: *Белюш.* (*Примеч. верстальщика.*)